

ВИТРАЖИ

ВИТРАЖИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Литературно – поэтический сборник

«Лукоморье»
2017

ВИТРАЖИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛУКОМОРЬЕ»

МЕЛЬБУРН

2017

© Copyright 2017 by authors.
All rights reserved. No part of this book may
be reproduced or transmitted in any form or
by any means without permission in writing from
the authors.

ISBN 978-0-9946108-0-5

Design and Art work:

Graphics:

Efim Gammer

Paintings from:

Victor Pivovarov,

Michail Tolstych,

Faina Zilp

Cover design:

Michail Tolstych

Zalman Shmeylin

**Literary Creative Association
“LUKOMORIE” Inc**

Printed in Australia

Melbourne

2017

ПОЭЗИЯ
ЯИЗЭОП





АНАТОЛИЙ АВРУТИН

Родился и живет в Минске. Окончил БГУ. Автор более двадцати поэтических сборников, изданных в России, Беларуси, Германии и Канаде, двухтомника избранного «Времена», книги избранных произведений «Просветление». Лауреат многих международных литературных премий, в т.ч. им. Э. Хемингуэя (Канада), «Литературный европеец» (Германия), им. К. Бальмонта (Австралия), им. С. Есенина, им. Б. Корнилова, им. А. Чехова, им. В.

Пикуля (все – Россия) и др. Член-корреспондент Академии поэзии и Петровской Академии наук и искусств. Главный редактор журнала «Новая Немига литературная». Почетный член Союза русскоязычных писателей Болгарии.

ОСЕННИЕ ПЛАЧИ

Догорала заря... Сивер выл над змеистым обрывом,
Умерла земляника во чреве забытых полян...

А он шел, напевая... Он был озорным и счастливым...
– Как же звать тебя, *милай?*.. И вторило эхо: «Иван...»

Он шагал через луг... Чертыхаясь -- несжатой полоской,
Ну а дальше, разувшись, по руслу засохшей реки.
– И куда ты, Иване? – Туда, где красую неброской
Очарован, стекает косматый туман со стрехи...

– Так чего тут искать? Это ж в каждой деревне такое,
Это ж выбери тропку и просто бреди наугад.
И увидишь туман, что с утра зародясь в травостое,
Чуть позднее стекает со стрех цепенеющих хат...

Эх, какая земля! Как здесь всё вековечно и странно!
Здесь густая живица в момент заживляет ладонь.
Здесь токует глухарь... И родится Иван от Ивана --
Подрастет и вражине промолвит: «Отчизну не тронь!»

Нараспашку душа... Да и двери не заперты на ночь.
Золотистая капля опять замерла на весу...
– Ты откуда, Иван? --Так автобус сломался, Иваныч,
Обещал ведь Ванюшке гостинца... В авоське несущу...

«А я любил советскую страну...»

Геннадий Красников

Скорей не потому, а вопреки,
Что над страной моей погасло солнце,
Я вас люблю, родные старики,
Матросова люблю и краснодонцев.

О, сколько было строек и атак
В моей стране, исчезнувшей!.. Однако
Ее люблю, не глядя на ГУЛАГ
И несмотря на травлю Пастернака.

Теперь она отчетливей видна,
Там дух иной и истинность – иная,
Где радио хрипело допоздна,
Что широка страна моя родная.

Мне до сих пор ночами напролет,
Из памяти виденья доставая,
Русланова про «Валенки» поет
И три танкиста гонят самураев...

Там Сталинград еще не Волгоград,
Там «Тихий Дон», там песенное слово.
И в ноябре, как водится, парад –
Под первый снег... В каникулы... Седьмого...

Мне в детские видения слова
Впечатались, чтоб нынче повториться:
«Столица нашей Родины – Москва...»
Я там же... Не Москва моя столица...

Смахну слезу... На несколько минут
Прижмусь щекой к отцовскому портрету.
Седьмое ноября... У нас – салют...
Во славу той страны, которой нету.

Вячеславу Лютому

Ничто не бывает печальней,
Чем Родина в сизом дыму,
Чем свет над излучиной дальней,
Кольшущий зябкую тьму.

Ничто не бывает созвучней
Неспешному ходу времен,
Чем крик журавлиный, разлучный,
Буравящий даль испокон.

И сам ты на сирой аллее,
Такою ненастной порой,
Вдруг станешь светлей и добрее
Средь этой тоски золотой.

Поймешь – все концы и начала
Смешались средь поздних разлук.
И что-то в тебе зазвучало,
Когда уже кончился звук...

Серебряный ветер врывается в дом из-под шторы,
Чумная газета от ветра пускается в пляс.
И чудится Гоголь... И долгие страшные споры,
Что вел с непослушным Андрием чубатый Тарас.

И что-то несется сквозь ночь... На тебя... Издалёка...
И тайно вершится не божий, не праведный суд.
И чудятся скифы... И черная музыка Блока...
Кончаются звуки... А скифы идут и идут.

Полночи без сна... И едва ли усну до зари я...
Приходят виденья, чтоб снова уйти в никуда.
И слышно, как бьется пробитое сердце Андрия,
И слышно, как скачет по отчим просторам Орда.

На мокнущих стеклах полуночных фар перебранка,
И тени мелькают – от форточки наискосок.
А где-то, как некогда, тихо играет тальянка,
И в душу врывается старый, забытый вальсок...

Полоска рассвета, как след от веревки на вые...
Задернется штора... Отныне со мной навсегда
Года роковые, года вы мои ножевые,
Почти не живые, мои ножевые года.

Всё смолкнет внезапно...
Поверишь, что лопнули струны.
Спохватишься – где он, главу не склонивший редут?
Иное столетье... И это не скифы, а гунны,
Зловещие гунны в тяжелых доспехах идут...



ГРИГОРИЙ АМБУРГ

Родился и вырос в совдепии... в Узбекистане. Образование моё – экономическое. В 1990 году эмигрировал в Израиль. В 2009 – перебрался в Австралию. Страстный поклонник авторской песни. Потому и сам написал более ста стихотворений (песен) и рассказов.

Все шагаю

Все шагаю по дороге
Вверх и вниз, вверх и вниз
Неопознанный для многих, –
Удивись, удивись.

Нераскрытый, непонятный –
Вот-те на, вот-те на.
Стороной ко мне обратной –
Глубина, глубина.

Есть, наверное, такие –
Круг меня, круг меня.
Только отблески другие –
В свете дня, в свете дня.

Я по склону жизни брэнной
Все бреду, все бреду.
Но, боюсь, себе замены
Не найду, не найду.

Чем, скажите ...

Чем, скажите, оправдан резон,
Что растёт перед домом газон?
А его все стригут и стригут,
От резона, похоже, бегут.

Чем, скажите, оправданы думы,
От которых никак не уйти?
Только множатся дум этих суммы
Баррикадами на пути.

Чем, скажите, оправдана глупость,
Как себя от нее уберечь?
Разве только разумная грубость
Оградит от возможных с ней встреч.

Размышленьями полнятся строки.
Так бывает, дружок, так бывает.
Воедино сбиваются крохи.
Навевает, дружок, навевает... .

Совок
(песня)

Повезло Совку, он прошел ОВиР!
Он туда попал, что мечтать не мог.
На десятки лет жалок он и сир,
И страдает так, словно тянет срок.

Не хватает, мол, ему уважения
И от местных, ну, только унижение
Ох, мешает разный люд – понаехали!
А они все прут, да прут. Ну, до смеха ли?

В маргиналы вышел вдруг – незаслуженно,
И сознание недовольством загружено
И живет он словно в полной прострации,
В результате совершенной мутации

Вот и пыжится Совок, вот и тужится
Все вокруг один песок, жижа в лужице.
И тоскуется ему не по-детскому
По родному по толчку, по советскому.



ЮРИЙ БЕЛИКОВ

Родился в Пермской области. Окончил пермский Госуниверситет. Публиковался в журналах «Юность», «Огонёк», «Знамя». Принят в Союз российских писателей по устной рекомендации Андрея Вознесенского. В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность», Впоследствии работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». В 88-м и 90-м выходят две первые книги: «Пульс птицы» - и «Прости, Леонардо!» Третья книга стихов выходит в 2007 году и удостоивается всероссийской литературной премии им. Павла Бажова. Стихи Юрия, кроме российской и зарубежной периодики, печатаются в антологиях «Самиздат века», «Антология русского верлибра», «Антология русского лиризма. XX век», «Современная литература народов России», «Молитвы русских поэтов», изданиях портала «45-я параллель». В 2013-м году вышла четвёртая книга стихотворений «Я скоро из облака выйду». Она отмечена двумя престижными наградами – премией имени Алексея Решетова и всероссийской общенациональной премией «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига.. Живёт в Перми.

ПАСПОРТ ФЛЯЖКИ

Подследник

Мы все эмигранты, какой, не припомню, страны.
И рады бы съехать, да только откуда съезжать?
Ушла из-под ног, даже топи её не видны.
«Ни пяди!», – кричали. А где эта самая пядь?

Похоже, она-то – во лбу или там, под стопой, –
куда-то свезла нас, но мы позабыли – куда.
На пермских столбах территорией стала любой
подследника, что соскользнул без следа...

Отыщем подследник своей безымянной страны!..
К Ирине Гостищевой в гости поедем опять:
а ну обозначься хоть в образе красной цены,
поганая пядь!

На пяди поганой дай пять, мой дружище, но вспять –
ни шагу. Вгрызёмся. Цена-то и вправду красна:
наутро узнать, что тобой приведённая блядь –
жена...

Россия!.. Как россыпь разорванных чёток собрать...
Иначе не вспомнить молитвы колодезной вкус.
Прости за семь пядей, за эту поганую пядь,
за слабую нить для намоленных бус.

Ноша

Я продолжаю нести бытиё
братцев моих наречённых
и умерщвлённых во имя Твоё
в мире с прихватцами зоны.

Так продолжал, не вбирающий в толк,
что продолженье нелепо,
братские узы крепить Святополк,
сдавший Бориса и Глеба.

Вот и ко мне, словно я виноват,
снова из врат погребальных:
– Только откинулись – выручи, брат! –
Глеб и Борис подгребают.

Может, я тоже какой Святополк
Толе, Володе, Серёже,
раз меня каждый откинутый волк
изобличает по роже?

Мы выходили на общий балкон
порознь, попарно и вместе,
ну а Володя Сарапулов, он
вырвался первым в безвестье.

Култышев Толя – вторым. А Сергей
Нохрин был третим. Безвестье

больше, чем весть, зазывает людей.
Сделайте вылазку – взвесьте!

Я же давно уже взвесил. И мне
застить собою зазорно
то, что звучит на безвестной волне, –
флейта? А может, валторна?..

То наречённые братцы мои,
то их приبلудные братцы
сквозь восходящие тучи молитв
к миру не могут прорваться.

Ода Тарковскому Третьему

Лишь Миша Тарковский не предал меня...
Пришёл в эту «Юность» – и прямо со входа
сморозил: – В Москве наступила фигня!
Зачем вы изгнали того, кто два года
на стульях на сдвинутых спал здесь? Не те
в Москве остаются... И я не останусь...
И вирши забрал свои, будто в Бахте
дверями избушки бабахнул, повстанец!..

Лишь Миша Тарковский в три года разок
с мобилы подсаженной («Что за Царьковский?!») –
мне – мама. – «Ну как же, – соболий царек!»)
звонит мне из поезда: «Юрка, перцовки!..»

Лишь Миша Тарковский, надравшись в Москве,
в Перми похмеляется, а к Енисею
грозит корефанам: «Самцы, я трезвею!» –
ступает на берег с царьком в голове:
Тарковский в бразды принимает Расею.

Он вывернул мехом наружу отъезд
смятенного дяди, он деда подправил –
фамильный, на Запад повёрнутый крест,
на равные доли отверженных мест
к Востоку, в чалдонские сны переставил.

Где соболь в соборе сибирской зимы
поклоны кладёт пред иконкой капкана,
где прикорм в чулках убегает с кормы,
где Карна и Жля, где меняется карма,
да так, что ни тройка строптивых коней
в своей многолюдно описанной пляске –
Расею и Духа Святаго над ней
Тарковский в собачьей вывозит упряжке.

– Давай, Михаил, вывози! – Вывожу!
– А я уже выпал... Я дальше не еду...
– Зачем же ты выпал? – Я дяде и деду
твоим всё-всё-всё про тебя расскажу...

Фляжка

*Олегу Воробьеву
и его «подельникам»*

Страна читает их романы,
а он доносы их читает.
ОМОН смотрел его карманы –
он паспорт фляжки предъявляет.

Из неподложной фляжки этой
и я отхлебывал, бывало.
Между романом и наветом
душа лишь фляжку выбирала!..

А те, кто вышли в романисты
поднаторелые, едва ли
доносов юных и пречистых
сильнее что-то написали.

Я на страну взираю косо:
а может, есть иные страны,
в каких читают их доносы,
а он читает их романы?..

Луна уродцев

Нас мучают уродцы сна...
Едва заснут уродцы бденья –
большая, красная луна
переполняет сновиденья.

И мочевого пузырь луны,
как будто притча во языцех,
диктует нам такие сны,
что впору Господу молиться!..

Красна ущербная цена
луны в смятенной звёздной смете:
когда не спят уродцы сна,
уродцы бденья спят, как дети.

Избранные

Ю. Кублановскому

Откупился «Избранным» своим.
Пить не стал, хоть видел: я принёс.
И побрёл я, «Избранным» гоним,
аки пёс.
Он-то для себя уже решил,
что моим корявинам не быть.
Посему недальновидно пить
ароматы квашеных бахил.
Ну а я девицу увидал,
показал ей «Избранное»: «Зырь!»,
засосал с ней, идол и вандал,
добытый для «избранных» пузырь.
Змеи и змеёныши – в Москве!
Сразу бы сказали: «Отвали!»
– Я бы напечатала твои..., –
молвила она в одном носке.
И Святой парил над нами Дух,
и с сумой мы двигались в умы,
и читали «Избранное» вслух,
потому что избранные мы.

Сон о раздвоении Москвы

Пока Москва с Москвой пластается,
Россия крепко спит, как старица.
Не тронь её в блаженном сне.
Не то проснётся с перепоею:
– Москва пластается с Москвою?
Пущай пластаются оне!

Пока стенают бондаренки,
швыдкие ножками сучат,
в России спят большие реки
и малые, как дети, спят.
А ну как треснут и расколются?!
И ледоходом наградят?
Москва – окалина, околица,
а две – околица стократ.
А где калина, горечь, горница –
Россия. А в России – спят.

Так спят!.. А если просыпаются –
на падалицу бошек плятятся:
ого, как палица свистит!
Россия – спящая красавица.
Свою беду она заспит.

Пока одна Москва невинная
другой талдычит, что она
собой пьяна, как смоква винная,
когда другая не пьяна, –
в России, убелённой старцами,
берут за уши пацана
у прозорливого окна
какой-то слепошарой станции:
– Гляди Москву! Их стало две.
ну а когда проснёшься в силе,
чтоб досмотреть свой сон в Москве,
скажи, что мы их отменили.

Я – Божий. Но не раб.
И, хоть не вышел рожей
и на беспутства слаб,
но я – не ваш. Я – Божий.

Не Сын. Но и не раб.
А вы меня – за что же? –
пинком под свой масштаб.
Но я не раб. Я – Божий.

А вы – зелёной лбы,
подставившись под дуло.
И – в Божии рабы
под камнем, чтоб не дуло.

Но соляным столпом
я встану между вами:
вы Господа – рабом,
не Он же вас – рабами?

Ваш Бог, как бык, века
на синих глинах пашет,
и верою в быка
крепки молитвы ваши.

Но Тот, кто пролил Свет,
сам мается без Света.
Бог – тоже человек.
Ему бы – человека.

И я не на этап
приду к Нему, поддатый.
И, ежели я – раб,
скажу: «Не Бог тогда ты!»



ЛЕНИД БОНДАРЬ

Одессит. Учился в Санкт-Петербурге.
Потом Америка. Религиозная школа
Хадар ха Тора. Сейчас живет в Мельбурне.
Сотрудник Кошер Австралия.
Популярный исполнитель авторской песни.
Среди его любимых авторов – Игорь Иртеньев и
Наталья Крофтс.

Я состою из двух половин:
Одна – раздолбай, а другая – раввин.

Уже не варит котелок –
Я забываю имена,
Мне бы забиться в уголок
С бутылкой красного вина;
Давно не годен для парада
И задыхаюсь на бегу...
Хотя, конечно, там, где надо,
Я очень многое могу!!!

Меня там не взяли в космонавты. Я даже не пытался. Знал, что не возьмут. Из-за пятой графы. Типа, если возьмут, то я сбегу. На другую планету. Из-за этого я уехал в Америку. Там меня не взяли в президенты. Я даже не пытался. Знал, что не возьмут. Из-за моего эмигрантского прошлого. Тем более советского. Типа если изберут, то я всем устрою коммунизм. И я уехал в Австралию. Пригляделся, смотрю – аборигены. Круглый год на свежем воздухе. Климат позволяет. Не напрягаясь. А если захотят лечиться или учиться (такое тоже бывает), все бесплатно. Но я даже не пытаюсь. Знаю, что не возьмут.

Не выходят из эфира
Новости родной страны.

Я скажу – Не надо "мира",
Лучше просто без войны!

Таки да, шо за базар?!
Нет, мы точно из хазар!
Ведь откуда у меня
Жажда вспрыгнуть на коня
И на нем умчаться в степь,
Песню дикую запеть.
Грозно саблями махая,
Мчится конница лихая!
Если мыслить по-большому,
Можно даже сделать шоу.
(Потолкуем о цене
Вы доверьте это мне)

Когда бываю я в ударе,
То я играю на гитаре;
Когда же мне не по себе,
То я играю на трубе.

Славный Муромец Илья
Был евреем. (Как и я).
Хоть в те годы на Руси
Что ни витязь – Гой еси!

У иудеев есть идеи,
На то они и иудеи.
Но только каждый иудей
Не признаёт чужих идей.

Такое бывает по пьяни,
Когда опухает лицо:

Я чувствую как Модильяни,
А вижу всё – как Пикассо.

Нет, я не Байрон, я – другой,
И если без самообмана,
Пускай в поэзии – изгой,
Я с вами, братья графоманы!

Моя беспечная принцесса...
Так ясно, словно наяву,
Опять приснилась мне Одесса
И я в ней, маленький, живу.

А под вечер наша мама
На работу едет в порт,
Потому что наша мама
Называется эскорт.
Мамы всякие нужны,
Мамы всякие важны!

Могу я настрочить стихи,
Они бывают неплохи,
По-русски или по-английски;
В салоны светския не вхож
И на поэта не похож
Мясник с душою гимназистки.

Я знаю, я еще не старый,
Когда в руках моих гитара!
Я слышу, Вам домой пора?
Но есть программа до утра!

Судя по постам на ленте могу поделить друзей (и их друзей)
на условные категории:

1. Мамаши (вот мой малыш (ка, и))
2. Красавицы (мое новое селфи!)
3. Путешественники (а я уже здесь!)
4. Культурные (новый концерт, выставка)
5. Душевные ("жизненная" цитата)
6. Политические обозреватели (Обама... Трамп... Хилари...)
7. Крусейдеры (опять мусульмане!)
8. Раввины (в этой недельной главе...)
9. Гастро-нарциссы (мой завтрак(обед,ужин))
10. Озабоченные (R-rated картинка, анекдот)
11. Креативные (мой новый стишок, картина, проект)
12. Затеяники (прикол, веселуха)

И есть те, кто очень редко постят.

Наверное заняты делом и живут реальной жизнью.

Я был и скифом, и этруском,
Корсаром был семи морей;
Я пил и бунтовал по-русски,
Но мыслил все же как еврей!

Я любил "тургеневских", а затем – "бальзаковских",
Пел им "Очи черные", "Клен" и "Сулико";
А теперь что делать мне? На кого позариться?
Не заполнит пустоту ботокс-силикон.

Я помню до сих пор, я не забуду
Журналы детства, лампу и кровать...
Не мог предположить тогда, что будут
«Мурзилка» и «Барвинок» воевать...

Эгалитэ, Либеритэ, Фратернитэ,
ЭЛ-Гэ-Бэ-Тэ...

Но кто-то вдруг зашел в гей-бар
И закричал: "Аллах Акбар"!!!

Игорю Иргеньеву:

Чтоб голову сложить на русской плахе,
Не нужно быть евреем по Галахе.
Не изменять ни правде, ни себе –
Возможно стать евреем по судьбе.

Ты не спеши слагать сонеты,
Веселой славы трубадур;
Послушай моего совета:
Не трать свой дар на разных дур.

Хотя я в этом теле временно,
Я жизненный раскрасил холст;
Хотелось бы побыть беременным,
Но уж и так довольно толст.



ИЛЬЯ БУДНИЦКИЙ

*Родился в городе Среднеуральске. Окончил УПИ.
Увлекался театром, нетрадиционной медициной, поэзией,
занимался боевыми искусствами. Издано три сборника
стихотворений - "Сотворение", "Дыхание дней",
"Прекрасная Елена". Недавно вышло избранное в двух
томах - первый – "Стихотворения и поэмы" - многое из*

*написанного за более чем тридцать лет, второй – роман-дневник в
сонетах – "Тезей".*

По-прежнему деревья – в лепоте,
На белизне, которая везде,
Есть нечто, не уловленное взглядом,
Та жизнь, что замирает под стеклом,
И нити, разрастаясь волокном,
Становятся бессмертием и садом.
Я знаю, что мгновение умрёт,
Что волшебство - всего лишь снег и лёд,
И красота - в глазах и за спиною,
И медленно с ветвей летит пыльца,
И небо - смесь молчанья и свинца,
Но сказка не становится земною -
Ты с каждым шагом стряхиваешь сор,
Как будто нить вела в голодомор,
А полотно её перекрутило,
И мир теперь окажется иным,
За поворотом – облако и дым,
И снега больше, чем за Летой – ила...

Расстелен снег, как полотно,
в который раз зима... –
Так что нам было суждено,
Коль не сойти с ума? –

Послушать завыванье вьюг,
тишь ледяных пустынь,

где на мелодии разлук
звучит рефрен – остынь...
Я буду хладен, недвижим
когда-нибудь потом,
когда мы из дому сбежим
в какой-нибудь содом,

и, если кажется в дыму,
что мы забыли снег –
то как остаться одному
навек, навек, навек...

У полотна есть свой предел,
земля под полотном,
я в эту зиму жить хотел,
и мир казался сном...

И мир качался, черен, бел,
и гол и многолик,
и я увидеть не успел,
насколько он велик...

Но я дышу и потому
пейзаж не так уныл,
и мил и сердцу и уму
размах холодных крыл...

Как выглядел бы лес самоубийц,
когда бы у деревьев вместо лиц
цвели лингамы или пропилеи? –
назвать психоанализом Аид? –
как на Содом, отправить в лес болид? –
взять бунинскую темную аллею,

Чтоб лес был, как у Януса – двулик? –
наставить сучья крючьями калик
на всех, кто удержался от распада,
кому на сердце выели дыру,

на ярмарке тщеславья, на пиру,
кому туда, как дереву – не надо,
но – надо, как живому о живых,
когда среди разъявленных кривых –
лик друга, и мерещится беседа –
безумие конечно, без суда,
и, если я опять пришел сюда –
то, значит, смерть лишь пиррова победа.

завяжи мне глаза, закружи,
я устал различать миражи,
светотьмой разделять перекрёстки,
далеко улетел лепесток,
у реки затерялся исток,
отовсюду звучат отголоски, -

я иду, но скажи – что искать? –
лунный мостик, болотную гать? –
и куда приведут эти тропы? –
привыкает душа к чудесам,
к тишине, как Фемида – к весам,
как быки к похищению Европы, –

Что аукнется мне по весне? –
растворяя судьбу в белизне,
забывая, что зелень – в остатке, –
вот уже закружило, темно,
ни границ, ничего не дано,
только ляпки, объятия, прятки...

Представь себе, – заря, и ты – дракон,
из кучевых и перистых твой трон,
Прозрачна твердь до золотых прожилок,
Растения исполнены огня,
Спят ящери и прочая родня,
Лишь мыши среди лиственных подстилок

Живут, как летом – в вечной суете,
И что там прозревают, в темноте? –
Какой-то промельк, оседанье наста? –
Как в зеркале – прообраз – исполин,
Из магии и кимберлита глин,
Гранита и времен Экклезиаста. –

Пари над миром, ящерица, миф –
Единожды над плотью воспарив,
Ты больше не грозишь себе распадом,
Цари и созидай своё добро,
А злато ли восходит, серебро –
Все обернется родиной и садом.

Прокрустово ложе любви,
Кармен и её кастаньеты –
Удачу джек-потом сорви,
Пока не сойдутся приметы –

Как танец, горящая степь,
Щелчки, соловьиные хрипы,
Судьбы ядовитая медь,
И запахи – тополя, липы.. –

Цветет, что сгорает дотла,
И тени на камне – короче,
И ты обожгла не со зла –
Так ворон вселенную сточит,

И сам потеряет приют,
Сияние – холод провала,
На ложе нам звезды поют,
Но, если музыки не стало, –

Всегда остается вода –
Мертва ли она или vita,
Вставая кристаллами льда,
Спасает, что нами забыто.



ЮРИЙ ВАЙСМАН

Родился в городе Калинковичи, что на Белорусском полесье. Окончил Рижский Политехнический институт по специальности инженер-строитель. С 1994 года живёт в городе Мельбурн.

Автор двух сборников: «Исповедь» (1989) и «Рубикон» (1991). Стихи публиковались в «Литературной газете», альманахе «Витражи», газете «Интеллигент», в поэтическом альманахе «45

Параллель», в журналах «Новая Немига Литературная», «Крещатик» «Белый ворон», на порталах «Русская литература Австралии» и др.

Мне нравится тебя смотреть
Глазами чувствуя как кожей.
Взгляд отвести – что умереть.
Промолвить слово – уничтожить!

Затягивает глубина,
И нету омута бездонней,
Чем тот, в который сносит нас
Весенним паводком ладоней.

Так бесконечно далека
Зима,
Лишь мы, лишь губы эти, –
Два распустившихся цветка
В одном соцветии.

В них шум проснувшейся реки,
В них отзвук отшумевшей вьюги
Переплелись – как лепестки,
Узнавшие себя друг в друге.

Природа звуками полна.
Под какофонию капели,
Вздыхает юная Весна
Над акварелями Апреля.

Ей тоже нравится смотреть,
Как лепестки скользят по коже...
Взгляд отвести – что умереть!
Промолвить слово – уничтожить!

Апрель 2017, Мельбурн



МАРИНА ВИКТОРОВА

Закончила 1-ый Московский медицинский институт им. Сеченова. Живёт и работает в Таллине. В свободное от работы время пишет стихи и занимается поэтическим переводом с английского языка.

Пубертат. Мунк.

Ещё субтилен верх, но низ налит.
Невинности сургуч – и взгляд, и поза,
лишь нежной кожи свет-электролит
проводит тайну той метаморфозы,

которая должна произойти,
но чувственности трепетная птица
ещё в пути. Пока ещё в пути.
Торчат по-детски острые ключицы,

чем дальше смотришь, тем тревожней взгляд,
тем напряжённей сомкнуты колени,
приходит мысль в который раз подряд,
что тень первична... Из зловещей тени

незримой силой вытеснило в мир
испуганную девочку-подростка,
чья женственность –.пока намёк, пунктир
в рождении портрета из наброска,

и только мотыльками бьётся страх
неведомой, но неизбежной доли
да скрытая мольба в её глазах...,
да мир вокруг, настоянный на боли.

Другу

Желтизны почти не видно в кронах,
но вчерашний август закатился
перезрелым яблоком к затону,
тронув небо боком золотистым.

За окном полощутся пайетки
ветром разлохмаченного
клёна,
пляшут человечки-статуэтки
на ещё живом, ещё зелёном...

Пляшут, пляшут... Это – в застеколье.
Там, где ты – другое и другие.
Там – круглогодичное застолье
непереходящей ностальгии.

Кондиционер гоняет страхи,
остужая прошлое фреоном,
чей-то ямб сменяет амфибрахий,
и опять стихи, стихи – прогоном.

О минувшем. Проза разночтений.
Прогоркают давние надежды.
В переборе чьих-то
изречений
ты то врозь с собой, то снова смежно.

Кто-то подойдёт, огня попросит...
– Нет, не жаль, курите на здоровье, –
и тотчас же канешь в осень
зыбким светом, смешанным с любовью.

Остывший город

Умножались годы, люди, луны,
друг у друга в окнах отражаясь,
сколов крыш касался тонкорунный,
облачный уют небесной шали.

Так хотелось верить – потеплеет,
но сиял молочно-белой кожей
намертво остывший город Клее,
некогда на город мой похожий.

Не про рыб

Давным давно пора без лишних драм
и прочей инфантильной рефлексии,
спокойно осознать: любой Адам
скорей палач твой, нежели мессия.
Они – такие, Доноры ребра,
три "Д" формат их душ Другого ряда,
сначала – вроде ангелов добра,
а поживёшь – того "Добра" не надо.
Пардон, но я, о женском, о своём –
кому не интересно, отвалите! –
про то, как лето сдюжили вдвоем,
как осень пестроперую в зените
на пару, раздувая, стерегли
наперекор и стерлядям, и стервам,
пока не сбились с курса корабли
и не уплыли по попутным нервам.
Теперь их бесполезно возвращать,
распилены в Бермудах на иголки,
теперь их океан – бадья борща
с покрошенной в неё ботвой свеколки.
А ты – про рыб... Не комильфо – про рыб!
Хотя смешно про тонны неликвида,
про монитор озоновой дыры,
про непомерный груз Кариатиды...
О, как же непомерен этот груз!!
Реальный мир – реальные ловушки,
фунт лиха с желчной горечью на вкус
без виртуальной и хмельной отдушки.
А где-то – царство праздности и флуд,
и привкус, нет, не вечности, но мыла,
но там – Жалеютплачутизовут,
а я однажды пожалеть
забыла...

СпасиБо

Знаешь, вечер тянется в сентябре,
словно в детстве сжёванный "буббль гум",
в нём ни слова правды о жизни нет,
вот сейчас пишу, а по-правде – лгу.

Лгу про всё, про чудный осенний лес –
уж лет пять, как след мой в лесу простыл,
в одиночку – страшно, с подружкой – бес –
компромиссно взорваны все мосты...

Интересно знать, отчего так вдруг?
У судьбы всегда в мышеловке сыр.
Я скажу тебе: всех моих подруг
заменял давно повзрослевший сын.

Это – крест на розе моих ветров,
это – гнев и милость в штормах норд-ост,
но душа к душе, и к нутру нутро,
а любовь и боль – в пуповинный рост.

Это – проэдипово
колдовство,
с каждым днём сильнее пуповинный тяж,
вектор одиночества – статус-кво,
кладезь одиночества – камуфляж.

Сколько отпускала! Им несть числа –
городам его и дорогам... Бо!
Пуповинный узел добра и зла
разруби для мальчика моего.

Он уже вполне оперился сам,
он готов крест несть из своих свобод,
раздувай, натягивай паруса,
обо мне не спрашивай, я – не в счёт.

Слепцы и смотрины

В этих чёртовых оболочках
Стёрты души до волдырей...
Я прошу тебя, Святой Отче,
посылай им поводырей,
тем, кто сердцем незряч настолько,
что вплотную не разглядеть,
как по осени стыдно-горько
обнажённой калиной рдеть.
Гроздей тяжкую переспелость
отпевают басы ветров,
не успеется – не успелось
заневеститься на Покров.
Будут ливни точить балясы,
омывая нагую стать...
Что потом?...
Обряжаться в рясы
да корнями в снега вмерзать.
Пьяных ягод ронять рубины
под глухой хохоток слепцов.
это – поздней любви смотрины,
не смотри, не смотри в лицо...



ДМИТРИЙ ВОЛЖСКИЙ

Родился и вырос в Ярославле. Начав играть на гитаре в 10 лет, 5 лет занимался классической музыкой. Первую песню написал в 1988. Впервые вышел на сцену в 1989. За рубежом с 1998. Жил в Веллингтоне, с 2007 – в Мельбурне. В архиве автора около 170 стихов и песен. Публикации: альманахи «Крещатик», «Витражи», «Австралийская мозаика», «Воинская слава», «Поэт года», «Белый ворон». Некоторые песни вошли в сборники «Солдатской студии» В. Петряева и звучали в эфирах «Эхо Москвы» и «SBS». Номинант премий «Поэт года». Призёр сетевых конкурсов (в т.ч. Грушинского 2014 года). В разные годы записано и издано на CD 4 авторских альбома. Самый новый альбом – «Память наших дворов» (2016).

Одноклассники

Хорошо, что в мире нашем маетном,
Где дороги нас разводят дальние,
Отыскать друг друга помогает нам
Паутинка умная глобальная.

Сколько лиц у памяти в запасниках,
Сколько лиц за годы позабылись, и
Каждый вечер мы на «Одноклассниках»,
По знакомым кликаем фамилиям.

Не сказать, когда и как расстались мы,
На каком краю родного города,
Где когда-то вместе подрастали мы,
Где прощались каждый раз «до скорого».

Быть бы нам, как стрелочкам на часах,
Разминулись, да пересеклись опять,
Каждый вечер мы на «Одноклассниках»,
Но теперь земель меж нами тридевять.

Есть у всех далекое, заветное,
На заре звездой полыхнувшее...

У ребят в глазах – всё то же светлое,
Но рукой махнувшее минувшее.

В сладкий мир давно забытых праздников,
В золотое шторочку отдёрнувши,
Каждый вечер я на «Одноклассниках»,
В детство с юностью, чудак, влюблённый по уши.

Улетев, как листья, запропали мы
Лишь затем, чтоб, вспомнив улетевшее,
Собирать друзей, как те гербарии,
В галереях детства повзрослевшего.

Во дворах, в уже пришедшем будущем
Нет давно ни фартучков, ни классиков,
Потому домой бежим, и всё вернуть спешим
Лёгким кликом по иконке «Одноклассников».

Далеко

Так далеко, что найти нелегко –
Где луны перевёрнут брелок,
Там, далеко, где зимы молоком
Не скуёт серпантины дорог.
Там, где теплей, где рассолом морей
Переполнены пропасти лет,
Просто, понятно, но невероятно
Вдруг появился мой след.

И остались на той стороне,
Ярким снимком впечатавшись в память,
Те, кого в этой горько любимой стране
Столько лет называл я друзьями.
Так далеко, что доплыть нелегко
Через тысячи футов глубин,
Так далеко, что махнули рукой
Даже верные в чём-то враги,

Там, далеко, где за каждой строкой
Суеверная мудрость примет,

В небе ли млечном, в море ли вечном
Вдруг померещится мне –
В криках чаек-друзей голоса
Прилетят, за крылом – полпланеты,
Отдохнут, и опять им – дорога назад,
– Возвращайтесь! До скорого лета!

Так далеко, что лететь нелегко,
Даже взвесив все «против» и «за»,
Так далеко, что сержант с холодком
Недоверчиво сузил глаза,
Там, далеко, где незримо-легко
Ткутся годы из петель минут,
Что я отвечу чайкам при встрече,
Если они позовут?

Что сказать моим птицам в ответ?
Горло вяжут три слога: – Прощай-те!
Буду я много лет ждать на пирсе рассвет,
Об одном лишь прошу – возвращайтесь.

Так далеко... льёт холодной рекой
Под турбины бетон полосы.
Сел, покружив... – Как ты? – Вроде бы, жив,
Только страх, как отстали часы...
Так далеко, это так далеко,
Только сколько б не минуло лет,
Чайки в тумане манят и манят
К дому, которого нет.

Вновь примчусь я взволнованно в порт,
Где к волне пришвартовано небо,
Но уже кто-то лёг дальним курсом на норд –
Вот и мне, вот и мне, вот и мне бы...

На Руси патриархальной

На Руси патриархальной, далеко
Друга доброго оставить мне пришлось.
Вместе с ним кусочек сердца моего,

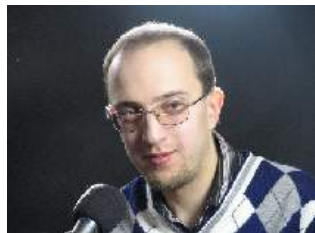
Доброй памятью пропитанный насквозь.
На Руси патриархальной, далеко
Верный друг мой ходит, где-не увидеть.
Без меня ему там, знаю, нелегко,
И курю, и не могу спокойно спать.

Всё бок о бок, только выпал и у нас
День разлучный, как всегда, на радость скуп –
Заскочил на полчаса в последний раз,
Повернув машину с трассы на Москву.
Коротка была бутылочка винца,
И, слова порастерявши как-то вдруг,
Обнялись мы и расстались у крыльца,
Половину жизни выронив из рук.

Помню ясно, хоть и было так давно –
Боль на лицах горькой складкой пролегла.
Он стоял и как в замедленном кино,
Провожал меня глазами до угла.
Избы бедные мелькали за стеклом,
И тянули жребий воля и слеза,
А я не знал, что мне лететь так далеко –
Да и лучше б вовсе этого не знал.

Вил я строчки вдоль заморского листка –
Всё ответ пытался в ящичке найти,
Да видно межконтинентальная тоска
Всё съедала где-то там, на полпути.
Век другой уж – вроде можно без труда
Сесть, пробиться на межгород, позвонить,
Да всё на барышень каких-то попадал –
Вот так никто нас и не смог соединить.

До Руси патриархальной – тыщи вёрст –
Сердцем – там уж, небом – всё не соберусь.
Хоть бы голубь другу весточку отнёс –
Да только вот не дотянуть ему, боюсь.



ДЕНИС ГОЛУБИЦКИЙ

Коренной киевлянин. Автор песен и стихотворений, исполняемых им самим под гитару. Компакт-диски: «Краешек тайны» (2009), «96 часов» (2009), «Колокольный ветер» (2016). Книга стихотворений и фотографий «За трепетной кромкой

молчания» (2009, Львов). Публикации: «Радуга» (Киев, 2011, 2015), «Поэтический атлас Киева» (Киев, 2012), «Егунец» (Киев, 2014), «45 параллель» (2015, 2016)/

Смотри, пока не ослеп,
как убирают хлеб,
как по сугробам гроз
движется сенокос.

Слушай, пока не оглох,
как вырастает мох,
как старуха-изба
смахивает со лба

жирно-бесстыжих мух.
Сам превращайся в слух,
в зрение, в немоту.
Не проводи черту –

пашня, пай, огород.
Оводы лезут в рот,
странен для них язык.
Что им – названья книг?

Перебирай навоз.
С водкой не меньше слез,
крепко настоян мат –
так и несет из хат.

Читай, пока не стошнит,
мерный, постылый быт.
Пиши, пока жернова
исправно цедят слова.

Ну, что же ты, городской,
в обиде на род людской?
Смотри, пока не ослеп,
слушай, пока не оглох.

Говори, пока не умолк,
какой еще нужен толк,
если твой стих неплох,
даже когда нелеп.

Александр Кушнеру

Если годы – не голуби, а вороны,
если были тщетны веков прививки,
отправляйся на озеро близ Вероны,
где Юпитер с гор собирает сливки.

Но пронзает город сильнее тика.
Чем сегодня пополнится твой глоссарий? –
Выдох «Санта Мария...» и вдох «...Антика».
Вот – Леони Порта, а вот – Борсари.

Может, встретишь на площади Алигьери,
расспроси его – если так совпало –
чем опасен лес, и откуда звери,
и какие замашки у делла Скала.

Страшен яд вражды... Ты совсем ребенок.
И с паломника спросится, и с вельможи.
Посмотри, как много вокруг веронок –
до чего же они на одну похожи!

Игорь Стравинский. Scherzo a la russe, 1945

Притязания музыки горней
Постигаешь. Вдыхаешь. Паришь...
Брызжет скерцо твоих Калифорний,
а слова подбирает Париж.

Нотной вязью омыт и опутан,
стон рояля слышнее мортир.
И покорность, и спесь контрапункта –
все приемлет и стерпит клави́р.

Отзывайся – вблизи, вдалеке ли –
междометием, камнем, слюдой.
И сейчас, и когда Сан-Микеле
растворится, уснет под водой.

Что ж, хвала тесноте и обиде –
непривычный рефрен заучи.
Возвращайся, Протей и Овидий.
Дирижерствуй! Скитайся! Звучи!

Детская школа искусств города Припять

Память-музыка, ты ангел или демон?
Ты и маленькая выше великанов.
Тут вчера еще был город... Где он? Где он?..
Город здесь. Но будет нем теперь веками.

Время рвется, словно струны, будто пленка.
Время – лава и воронка, глотка зверя.
Мама-музыка скучает по ребенку:
он вчера еще был здесь – и вот – потерян.

Люди выехали – музыка осталась.
Искалеченный рояль всплеснул крылами.
Люди плакали – а музыка смеялась
нервно, сдавленно. Карабкалась по раме,

попыталась улизнуть. Но чувство долга...
но беспомощность... но гонор и отвага...

«Люди выехали, их не будет долго» –
плачет музыка, скулит, но эта влага

управляет лодкой легкою на блюде,
в лунном масляном полощется корыте.
Верит музыка, надеется... А люди
не вернуться!.. «Тише! Ей не говорите...»

* * *

Избегаю банальностей вроде Стикса и Леты.
Все бледнее мои картинки переводные.
Так старательно прячешь, Киев, домов скелеты,
словно формы существованья переходные.

Годы-окна отворены, и хотя ослепли
(нет, по этой самой причине, по этой самой),
не скрипят, а поют об огне, о судьбе, о пепле.
И глаза пустоты над кирпичной смеются драмой.

Если можно любить сильнее, тебя покинув,
измени, прогони, отними даже крылья-кровли.
Чтобы все твои раны чувствовать кожей, Киев,
я желаю ножом разлуки быть обескровлен.

Притяжательный твой падеж, притяженья омут.
Как ты смеешь за горло рукою держать костлявой?
Полоумный старик, прекрати этот страшный опыт,
пропади, утони, привиденьем по небу плавай.

Тане, жене и другу

Не сад, а всего лишь две вишни юных в бабушкином дворе.
Кроме дождей, метелей, морозов ничто им не угрожает.
Но каждый художник заводит беседу и спор о зле и добре –
ему достаточно просто взглянуть на то, что его окружает.

Не сад – всего лишь порыв, предтеча, зародыш, зерно ли, намек ли
на тремоло листьев, на мысли о саде, где бисер горит вишневым.

Сорви эту боль, эту быль и небыль, вдохни, пока не намокли эскиз тишины, набросок надежды и сумрак чернильно-новый.

Двум юным старинным деревьям-птицам плодами делиться не с кем. Слегка приоткрытые губы заката наполнились соком кислым. Из пламени лет, из вишневого дыма возник силуэт Раневской, и взрослая комната стала детской, и жизнь озарилась смыслом.

Юлии Смилянской, Гари Лайту

Лето и Яр тезками оказались...

Если поэзия все же возможна и после такого, снова с плодами рифмуешь – как странно – осеннюю завязь, и понимаешь, что «больно» – прогорклое слово.

Нет, ты не циник. Но сказано многое слишком, речь человечья сама по себе еретична. Улицу знаешь на память – беги к старикам и к мальчишкам, впрочем, экзамен едва ли ты сдашь на «отлично».

Стой! Не пиши! Это что за кощунство, ей-богу? Ты упражняешься, будто жонглер сумасшедший... Грузный октябрь оmyвает и жадно глотает дорогу. Вот и в тебе отзывается каждый ушедший.

Тот месяц недаром был назван в честь бога войны (Хотя и другое для имени есть толкованье). Здесь нужно заметить: когда предпосылки верны, то ход рассуждения – молот, а суть – наковальня.

Безжалостный месяц с весной, будто с мачехой, груб. Никто не одернет его – ни обид, ни пощечин. Проталины-раны, печаль, возведенная в куб, мой месяц-злодей – бесшабашен, упрям, худосочен.

Факир, лицемер, для чего обещаешь сердцам, ветрам и ручьям несусветную чушь, ахинею?

Бродяга и плут, прощельга, безбожник, пацан,
не стоишь весны, но смеешься, мерзавец, над нею.

Считаешь себя полководцем, простак, рядовой,
не знаешь, подлец, как восторженна месть трибунала.
Ну что ж, продолжай в том же духе, довольный, живой,
пока еще мгла твою молодость не спеленала.

Ветер лунной играл тетивой,
не заметив, что ночь полыхает...
Спит тревожно орган духовой
и прогорклое время вдыхает.

Беспокойного жара его
не остудят ни фуги, ни строфы.
Не осталось уже ничего
от камней панорамы Голгофы.

Что лукавому Чистый Четверг,
он исходит бессильною злобой.
Hauptwerk, Oberwerk... фейерверк –
ты на вкус эту азбуку пробуй.

А потом до рассвета следи,
что небесный сулит бестиарий.
Дрогнет сердце осколком в груди.
Всякий город – немой планетарий.

Не удержится, выстрелит лук –
птица Время лишится ночлега.
Но опять то носок, то каблук
обозначат подобие бега.

“Ну же, голову музыке в пасть!” –
что за сладкий дурман поединка?
Так привержена целому часть,
так стихии послушна пылинка.

Ночь бледнеет. Ложится у ног
сад Купеческий, сад Гефсиманский.
Это дышит языческий бог,
это Бог говорит христианский.



АЛЕКСАНДР ГРОЗУБИНСКИЙ

Харьков, потом Нижневартовск, Мельбурн, Австралия.

В Австралии с 1992 года. По профессии программист. Печатался в различных Австралийских сборниках поэзии и в Интернет-журналах, в частности в «45-й параллели», «Белый ворон», «Крещатик». В 2006 году был удостоен

высшей награды международного поэтического турнира в Дюссельдорфе.

Мишка

Облезлый. Молью кусаный. Плохой.
Во мне барышник не найдет корысти.
Я – плюшевый. Наполненный трухой
Нетвердых знаний и неполных истин.

Когда-то я был нужен без затей.
В чужих кроватках славно отоспался –
Я был любимцем нескольких детей.
Но дети выросли, а я поистерпался.

Ах, что с детьми случается потом,
Как мамы глупы, как brutальны папы, –
Страшилища из Агнии Барто, –
То лапы рвут, то уроняют на пол.

Я плюшевый. Ну, что с меня возьмешь?
Если к кошмарам относиться проще.
Ведь я когда-то, чем-то был хорош.
И кем-то может быть еще не брошен.

Как против течения гребя,
Не вышло, не выдержал. Каюсь.
Спасая себя от себя,
Стираюсь, сдаюсь, растворяюсь.

Такое случалось не раз,
Но я уж привыкший. Не ною.
Тебя от себя я не спас.
И вот, ты уже не со мною

Теперь ты сжигаешь мосты.
И будто готовишься к бою.
Я ж – пленник своей немоты
Собой, от себя и собою.

Медосмотр

Я сюда пришел по желтой линии.
На осмотр, как на Страшный Суд.
Это зал приемов в поликлинике.
Здесь все ждут, когда их позовут.

Ближние мои, а также дальние,
Травы и цветы в моем саду,
Я на месте в зале ожидания.
Скоро позовут, и я пойду.

Это, видно, на роду завещано
Я не знаю плохо, хорошо.
Так всегда происходило с женщинами –
Они тоже звали, и я шел.

И назад по желтой. Я не очень-то
Верил, меня вспомнят и найдут.
Я – тихоня, я не лез без очереди
И теперь все жду, и жду, и жду.



ОЛЬГА ГУЛЯЕВА

Родилась в городе Енисейске. Училась в Красноярском государственном университете на филологическом факультете, работала корреспондентом «Сегодняшней газеты». Позже окончила психологический факультет Красноярского педагогического университета. Стихи публиковались в альманахе «Енисей», журнале «День и ночь», газетах «Енисейская правда», «Красноярский рабочий», а также

коллективных литературных сборниках. Живет и работает в Красноярске.

Буркина-Фасо

Уехать в Буркина-Фасо – поскольку там зимой теплее.
Доить козу, жевать песок, пахать песок, в него же сеять;
забыть произносить слова, оставить космос космонавтам,
дружить, ваять и воевать предпочитая бесконтактно.
Смотреть, как движется луна, и как её догнали тучи,
и, улыбаясь, вспоминать какой-нибудь фейсбучий случай.
И ощущать, что дождь косой, но он не действует на нервы.
Уехать в Буркина-Фасо. И там всю жизнь любить бербера.

Варя

Всё было чинно, важно, благопристойно –
Двухцветный фикус в кадке и свет торшера,
И толстый кот по имени Аристотель
Читал Камю и выглядел совершенно;

И всё, смещаясь, длилось одновременно –
Пшеница, уголь, чётки и ёшкин корень,
И бэтээры, и тараканы, и Ойкумена,
В которой небо, в котором рыбы, в которых море;

Корова в капле, куры, и вол, и ослик,
И повороты разных других историй...
Волхвы. Младенец в яслях. А где-то возле
Учёный кот по имени Аристотель.

Лот

Всё в движении: капает с крыш весна,
Некто пялится в небо, думает о былом.
Если ангелы постучатся – их пригрозят познать –
Потому что Содом – во все времена Содом.

Пахнет мясом и женщиной. Ходит официант.
И на спинке стула чей-то висит пиджак.
Лот привычно курит. Его бы поцеловать.
Лот начитан, невзрачен, слегка зажат.

Разомлел от напитков, телу его тепло.
Вспоминает слова, записывает в блокнот.
Подойти к нему, поздороваться... Только Лот
Надевает пальто – потому, что сейчас уйдёт.

Поздний вечер музыкой ветра застыл в дверях.
Бог, ворочаясь, засыпает, хочет для всех добра.
Недобитые ангелы где-то вверху парят.
Лот звонит дочерям, выходит. Ему пора.

Ми-8

А в природе и нет никаких голубых вертолётов –
Есть Ми-2 и Ми-8, и Ка-26.
Голубой вертолёт был придуман для ровного счёта –
Чтобы дети считали, что в мире волшебники есть.

Голубой вертолёт – это вымысел детских поэтов –
У поэтов, известно, всегда нелады с головой.
Папа мой прилетал в вертолёте защитного цвета –
Привозил осетрину, икру и людей с буровой.

И вода в Енисее всё та же, и небо над кронами сосен,
И деревни всё те же, и те же стоят города,
Но другой бортмеханик летает теперь на Ми-8,
Только звук отличу от других и услышу всегда.

А волшебники есть. Снова лопасти крутят пространство,
Даже если на том берегу и почти что затих,

Даже если оранжевый, авиалесоохранский –
Это папа в Ми-8 по синему небу летит.

Баттерфляй

И студия рекламы "Баттерфляй",
И кривенький ларёк "Живое пиво";
Планета называется Земля,
И космонавты знают – здесь красиво.

Пустая голубятня. И гараж.
Внизу говно. На крыше ржавый флюгер.
Фасад. Витрина. Магазинчик "Наш",
И рядом "Ритуальные услуги".

И кто-нибудь хороший и родной
Убит, зачёркнут, выдран, нету, содран.
Идти. Споткнуться. Наступить в говно.
Остаться честным, оставаясь добрым.

Переиначить, сделать всё не так –
И мир покажется значительно приятней:
Говно. Соседки. Трупики собак.
Гараж. Ларёк. Пустая голубятня

Серёга

Да, Серёга, мужик ты, конечно, достойный, приличный,
В меру куришь и пьёшь, и достаточно толстый,
Но уж если от мужа гулять, то гулять с Камбербичем –
Ты, Серёга, не тянешь на Шерлока Холмса.
Мне серёжки подаришь? С алмазом? Да ладно, иди ты.
И колечко подаришь ещё? и оно золотое?
Бенедикт голубой? Мне не стоит гулять с Бенедиктом?
Можешь сутки подряд? С Бенедиктом в натуре не стоит?
Мы бы с ним бы уехали в глушь, мы осели бы в Томске –
Потихоньку от мужа, чтоб муж ничего не заметил.
Завели бы свиношек и прочих домашних питомцев,
Завели б огород и у нас появились бы дети.
Завели бы курей, развели б на продажу бульдогов,
Камбербич целый день у меня б отрабатывал брекфест.

Я не буду с тобой, извини, ты не Шерлок, Серёга.
Мне не надо кольца и преступного грязного секса.
Для души, говоришь? Открываешь мне чистую душу?
Достаёшь для меня из своей головы тараканов?
Ты, Серёга, не Шерлок. И мне даже на дух не нужен.
С Бенедиктом бы да. А с тобою, Серёга, не стану.

Руслан и Людмила

А она его полюбила и прикормила –
Он однажды в любви ей признался, пьяный.
Крашенная блондинка. Звали её Людмила.
Местный электросварщик. Звали его Русланом.

Он был бабник, но обаятельный добрый малый –
Он поддерживал глупые женские разговоры.

Но Людмила никуда ему не упала –
Он пытался сплавить её Черномору.

А она сидела в табачном своём киоске
И мечтала с любимым Русей кутить на юге –
Так мечтал, наверно, Иосиф Бродский
О каком-то загадочном римском друге.

А потом разливала ночь по земле чернила,
Возвращался Руслан – неизменно пьяный.
И она с ним говорила и говорила –
Как когда-то с няней пушкинская Татьяна.

А потом наступила весна. И, конечно, лето,
И Людмила в брак вступила. В законный.
Черномор привлёк её интеллектом.
Сокрушалась всё, что простой электрик.
Но сейчас присматривается к почтальону.

виноград

Охранники рьяны, когда стерегут виноград.
В крови заиграли гремучие древние яды.

Столетия назад. На мгновение раньше. Вчера.
Иди же ко мне, господин моего винограда.

Дрожание неба и ржание рыжих кобыл,
И кипарисы, проткнувшие мякоть рассвета.
Не капли росы – это крупные капли судьбы,
Идущей по саду, ступающей мягко по следу.

Не надо ни ягод и ни твоего серебра –
Звенят серебром на моих ожерельях Плеяды.
Охранники слепы, когда стерегут виноград.
Иди же ко мне, господин моего винограда.

санитарка Галя плакала в курилке
санитарка Галя плакала в курилке
плакала в курилке – скоро Новый год.
Галя - санитарка, и еще кормилка –
супчик наливает, моет и скребет.

санитарке Гале трудно в этом мире,
но она работает, но она живет –
выдали зарплату – тысячи четыре –
детям на подарки – здравствуй, Новый год.

Галя просто дура. Галя виновата,
что не образована – кто тут виноват.
Галя и не просит, чтоб ее зарплата
составляла где-то тысяч шестьдесят.

санитарка Галя плакала-рыдала,
плакала-рыдала – скоро Новый год.

санитарка Галя, это же не мало –
посмотри – у доктора десять восемьсот.

четверть еврейской крови
Из-за углов щерится подло погань.
Сверху на это смотрит небесный царь.

Истинный патриот яростно верит в Бога,
Чтобы судить других от его лица.

Истинный патриот им предрекает участь –
Можно помиловать, если нельзя казнить.
Истинный патриот (мелкопоместный дуче)
Боже в его кармане, знающий всё про них.

Слышатся бесы в каждом неровном слове,
Если раскладывать слово за слогом слог.
Он мне простит *четверть еврейской крови*
Он мне простит, только при чём здесь Бог.



ИНГА ДАУГАВИЕТЕ

Родилась в Риге, 19 лет живу в Мельбурне.

Муж, двое сыновей, две собаки, два кролика... две рыбки.

В последний раз

Ведь не верят, Господи, ну никак!
Хоть пешком по воде,
В облаках, небесах.
Я устал – на третий день – воскресать.
А Мария смеется, щурит глаза,
– Неужели тебе не сказал никто?
Не успела крикнуть, прижал к стене,
Зазвенел кувшин по ступенькам вниз,
И уже – напрасно – отвар, настой,
Я потом на пальцах считала дни –

Рядом голос (женский) не спи, не спи!
На запястьях давит крест-накрест бинт.
Что страшней – глумящийся смех толпы
Или вера, слепая вера – убийц?
Я не помню, Господи, что больней –
Сапогом под ребра, слова Петра...
Он стоит в переходе, лицом к стене,
Нараспев повторяя – "В последний раз."

Из письма

Дождь – и в Африке дождь, понимаешь ведь, как ни крути
Этот старенький глобус – все те же названья и пятна.
Подставляю ладони, считаю до.. до десяти,
Закрываю глаза. Снова запах ромашки и мяты,
И еще – подожди – невозможный, неведомый звук –

...Открываю глаза. У парковки автобусы – лентой,
Я уже третий год – не поверишь – спокойно живу,
Не читаю газет, сплю без снов и почти без таблеток,
И на каждого хватит потерь. Время года – зима.
Сделан выбор – держись, повторяй каждый день – "забываю!"
Дождь и в Африке дождь, а у нас, на экваторе – май,
И не думай, что было бы лучше и легче...
Едва ли.

Посмотри

Посмотри – смеется надменный Ра,
Небеса рассыпают холодный рис.
Говорят, все дороги приводят в Храм
(Говорят, все дороги приводят в Рим),
Постоим с тобой на семи ветрах,
От костра потянется черный дым,
Подождем, сестра.
До утра – во храме чадит свеча,
Мелко-мелко вздрагивают образа,
Всю дорогу – ветру луну качать,
За окном меняется лишь пейзаж,
Время года – старость, считай до ста,
А потом страницу переверни,
Потому что всё начинать с листа
(Говоришь, дорога приводит – в Рим?!)
Вот те крест – (не веришь?) приводит в бар,
Выбирай слова!
– А потом – в мотель!
И какая разница, чья кровать,
Здесь, важнее, солнышко, чья постель.
А в кармане – мелкое серебро,
Сигареты, паспорт (аж целых два!)
А про то, что дороги приводят в ров –
Забывай, сестра.
Забывай.



ЕКАТЕРИНА ЕГОРЕНКОВА

(Харьков, Украина)

В 1998 году окончила Харьковский авиационный институт. С 1997 г. работала ведущей развлекательных и информационных программ на радиостанциях «Радио-50», «Simon», «Хит-FM», «M-FM», «Бизнес-радио» (Харьков).

С 2002 года - ведущая информационных программ «Объектив-новости» и «Объектив-неделя» на телеканале «Simon» (Харьков). Состоит в

Национальном союзе журналистов Украины. Увлечения - литература, театр, путешествия, футбол, аргентинское танго.

Автор поэтического сборника «Танго между строк». Победитель IV Международного поэтического конкурса «45-й калибр» (2016)

говорит ей: девочка, я устал; это эшафот, а не пьедестал;
я же не алхимик – искать кристалл или, скажем, камень;
я бы мог ходить по твоим морям, по твоим апрелям да январям,
только мне спокойней - на якоря и в другую гавань.

говорит ей: девочка, мир жесток;
вот и мы расстанемся – выйдет срок;
как ни стереги, хоть упрячь в острог –
всё равно сбегу ведь;
я бы мог сгодиться тебе в мужа,
только знаешь – будем-ка мы друзья,
мне же и во сне разглядеть нельзя,
кто тебя пригубит.

говорит ей: девочка, ну не плачь; не по доброй воле я стал палач;
я же тёртый-мятый, что твой калач – ну на кой тебе я?
я бы мог наврать тебе про любовь – хоть полста, хоть тысячу коробов,
но избави Боже с живых врагов собирать трофеи.

август

пахнет пылью, полынью и патокой,
диким мёдом
да с вороньего клюва каплет водою мёртвой
рыжей замшей, каштанной ржавчиной занавешен
разнесёт над рекой уставшей
"ой, да не вечер"

собирай его по частям, по крупицам,
пришил мотыльком в альбоме
прикрывай глаза, лови ресницы сухой ладонью
приручай, обнимай, обласкивай – куда денется, заполошный
поспешишь за ним, как за сказкой, –
и оба в прошлом

да она лишь с виду тверда, как сталь
вдоволь наиспытывал – перестань

переставь пластинку, смени иглу
посиди, остынь-ка в глухом углу

присмотрюсь – под пальцами всё парча,
целый край – непахан да непочат

и не кожа вовсе – персидский шёлк
благодарствуй, Господи, что нашёл

иже впрямь еси Ты на небеси –
то помилуй, Господи, и спаси

так стоял в исподнем, молил, звеня:
упаси, Господь, её – от меня

он любовь себе новую завёл, говорят
и не то в «Савой» с ней уехал, не то в «Хайятт»

и не то чтобы он безумно её любил
но - стоит обнимает, лыбится как дебил
он так счастлив на этих фото
на всех подряд

он завёл себе новенький шевроле
прикупил по дешёвке не то фазенду, не то шале
и не то чтобы он был богач и щёголь
надоело на мир смотреть через шёлку
вышиб дверь –
и бесстыдно пялится, ошалев

он завёл себе, говорят, привычку быть круче всех
и в довесок – усталый циничный смех
и не то чтоб ему не хотелось всё взять и бросить
но упорство он принимал за доблесть
а аскезу мнил лучшей из многих мирских утех

говорят, его видели на острове Занзибар
говорят, он в промозглом Питере с клерками выпивал
говорят, ему нипочём холода и старость
говорят, что он обречён
ему мало теперь осталось
и в прощальный вояж он мало кого позвал

мы так долго шли, не сходя с тропы
плыл июльский полдень, нетороплив
нас цепляли корни, шмели, цветы
я была спокойна, ты был строптив

а тропа петляла речным ужом
и шептала – что ж ты, брат, напряжён?
у тебя – следы, у меня – трава
упроси святых дать билетик в рай

мы так звонко пели псалмы земли
а на нас смотрели шагал с дали

нам читал бодлер, нас лепил роден
нам открылись дао, инь-ян и дзен

а тропа лилась, как рассветный сон
и дробилась тысячью голосов
у кого ни спросишь: «куда идти?»
отвечают: «карта – в конце пути»

милый друг, у нас наконец весна –
я с утра справлялся в календаре.
я по-прежнему вижу тебя во снах
и по-прежнему слышу, что писем – нет.

милый друг, у нас началась жара –
беспощадный, пыльный, лихой июль.
лето – мчится к морю на всех парах,
я – застыл у пропасти на краю.

милый друг, у нас, как всегда, потоп:
прорвало полнеба – и льёт, и льёт...
я пытался вспомнить твоё тепло,
только память, курвище, не даёт.

милый друг, у нас третий день – зима.
как ни глянешь в окна – белым-бело.
к рождеству я выживу из ума
в ледяной избе из ненужных слов.

он читал ей сказки
читал морали
он читал её мысли, письма и смс-ки
отмечал нюансы, ловил детали
изучал партитуры её оркестра
он считал в уме
считал овечек
он считал, в одну реку дважды – вполне возможно

назначал свиданья, просил о встречах
раз за разом она приходила позже

он не верил книгам
не верил слухам
он не верил сплетням, фото, статьям, газетам
обрывал телефоны её подругам
и подруги думали «он с приветом»

он так долго ехал
так много видел
он был так уверен, что скоро узнает правду
тормозил у развилки и делал выбор
и в конце концов повернул обратно

не зависеть от мнения окружающих,
отъезжающих, провожающих,
проезжающих через тебя транзитом
фантастических паразитов.

не играть в чужие игры по правилам,
не пытаться стать абсолютно правильной,
угодить по всем параметрам каждому.
никому ничего о себе не рассказывать.

жить, как ветер в сказке про Мэри Поппинс:
прилетать – одной, улетать – ни с кем не знакомясь,
быть – кому попутной, кому и в спину.

в шестьдесят один – незаметно и тихо сгинуть.
не оставить писем и прочих, убитых горем.
завещать развеять себя над морем.
всё, что нужно знать о любви,
уместилось в пару десятков слов
на мели мои корабли
спят ветра моих парусов

всё, что нужно знать о мечте,
уместилось в пару десятков стран
не ходи за мной, моя тень
успокойся, мой океан

всё, что нужно знать о тебе,
уместилось в пару десятков лет
завтрак остывал на траве
нежился у моря рассвет

всё, что нужно знать обо мне,
уместилось в пару расхожих фраз
лица под стеклом на стене –
всё, что нужно помнить о нас



МАРГАРИТА ЗЕЛЕНСКАЯ

Член Международной Гильдии Писателей. В 2011 году стала лауреатом международного литературного конкурса «Серебряный Стрелец». Публиковалась в журнале “Новый Ренессанс”, соавторских сборниках «Серпантин» (Россия, 2010), «Спиральность Вре́мён» (Россия, 2011). Автор книги «Осязанием Жизнь» (Германия, 2012) и одноимённого поэтического спектакля, показанного летом 2012

года в Москве. С 2004 года проживает в Южной Австралии, продолжая профессиональную и творческую деятельность.

Трамвай 86. Мельбурн

Я верю в присутствие медной трамвайной души...
скользящей смычком по натянутым струнам обочин,
эклогой звуча между скверами в ряжестве сочном,
вливаясь в протёртость окраин и леность глуши.

А летний февраль, как насмешка, на кряжах кружит,
доносится тихая речь тарабарщиной где-то,
циклон переполнил терпенье столичной газеты,
бодрившей, что ветошь не стоит понятия жизнь.

Понятия “жить”, пусть в разнос иногда рубежи
в трехбуквенном – век, что пристроено в каждое чело
бесценным подарком в границах земного удела,
где вечным трамваем развозятся лет тиражи.

К чему философии камни слагать... не спеши...
гипнозом плывет в синеве парусиновый росчерк
до станций конечных... до станций... мой разум бормочет,
мы мазаны миром одним – подорожный пошиб.

Холодное – Престон. Обратно в безрельсовость – шит
уже тротуарами путь, а когда – бездорожьем, –
не те времена, чтобы сердце стучало порожним

неверием, что –

там смычком... у обочин... в глуши...

Напиши

Напиши, выбираясь из прошлого, словно,
в отголосках прозрения не отыскать,
эквilibром расплат за материю слова –
серость новых холстов

да нетканая гладь.

Манифестом души:

– К чёрту всю тривиальность! –

Напиши меня хаосом, без аксиом,

приручающих даль,

что в душе застоялась

по болотному топко

пусть робким дождём...

напиши,

чтоб пилося жадным взглядом, что ново, –

в тех обновлениях ходить –

краше не отыскать –

опадать по ненастному первому зову,

пробиваться сквозь трещины веток опять.

Не теряй

в основательном взгляде педанта

неподкупность бегущих по следу секунд,

Напиши.. за погасшей закатной оградой

зарождаюсь в глазастых цветах... там и тут...

До лучших времён

Зачем говорить, где молчанье вместит всё...

ни звука не прячет в сплетённых ветвях сад.

Зачем, ты смотри...

ты о прошлом смотри сон –

шли дни, шли года, убегали часы назад.

И чистым листом, как лицом от надежд свеж

там чувствует город немую твою жизнь –

дожди не стучатся, ветров нет ветвей меж,

трамвай по кольцу в небренчанье давно кружит,

ни скрипа калиток и птичий исчез хор,
смирненно в церквах колокольни хранят звон.
Так горько терять – век нещадно порой скор,
здесь прошлое – сон, бесконечно тревожный сон.

Где прячут потери судьбы ледяной вздох,
сквозь толщу времён дано замерзнуть словам.
Зачем говорить, где молчанье вместит всё...
Неслышно, неясно, смотри,
как спасенье,
там –

Рождается день, где тяжелых дубов строй
и небо в окно стремится скользнуть с вершин.
Ты только живи, пока диалог с собой...
до лучших времён, до забытых глубин души.

Перейти эту осень вброд

За порогом порядка нет,
чехардой разгулялась явь,
плут платан обнажил хребет –
сторговал за бесценнок ржавь,

от убытка нет панацей,
проповедуешь голым коль...
монотонно бряцает цепь –
псовы будни забора вдоль.

И не то чтоб какой-то мот
зацыганил крон пестротой -
просто сверху забавней смотр,
когда кружится фон земной.

Верховодит дождь лиходея –
всё до донца промокло,
вновь
посмотри, занедужил день,
сдвинув занавес до краёв.

Перейди эту осень вброд,
унеси чудеса в горсти,
кропотливо из непогод
утешенье учись плести.

Нуар нарсис

В полнолунную ночь можно чётче увидеть, Мессир, –
наступает пора мадригалов,
где-нибудь в чашах
приземлённое небо лакает речной эликсир...
по-кошачьи крадусь,
сияю зеркально-прозрачным
бриллиантом, антиком,
стеклярусной пылью в глазах,
говорящую книгой, фарфоровой статуэткой –

вариантов миллион, чтобы выявить наверняка
самый нужный из всех для тебя – эксклюзивный и редкий.

Ради счастья гораздо выделять всякие па, –
собирая пионов глупые головы в опус..
варьете, контрамарки, обманутых граждан толпа,
массолит,
сеансы поэзии..
фокус и покус –
растяну из себя парусиновый мир шапито,
злбно шикает клоун – “Отведай фантомной боли,
когда будешь играть обнажённую даму Бордо
в закулисных партиях средневековой роли
для него, продающего чувства за ломаный грош
в непрерывный кошмар сновидений богемца Кафки, –
запусти в сердцевину пальцы.. в потёмках найдёшь
не любовь, а поштучный товар бакалейной лавки”.

В полнолунную ночь можно чётче увидеть, Мессир,-
за окошком замочных скважин задверное царство..
я пропахла тобой, как вульгарный нуар нарсис –
корсиканский букет, как отъявленное шарлатанство.

Теперь мой телеграф не разведать в секретных частях –
неразгаданным шифром души в тебе растворяюсь...
...я могу поселиться в гостинных кривых зеркалах,
надевая стальное колечко на безымянный палец.

Горошина

Все доводы исчезнут октября –
здесь
слишком громко происходят встречи,
и вывески удерживают в ряд
кварталов худосочные предплечья...
от сырости разбухшая тоска
нашептывает смуро рецептуру –
как принимать бессонниц по глоткам
невесьоткудавзятую микстуру...
и в бархатной манере ночника
отсвечивать стареющим провансом
на миг покажется – футляр окна
умело сжал громоздкое пространство...
неволью заразишься красотой,
пробравшись внутрь отсуженной планиды,
где сыплет вздох шершавой шелухой
отцветших и пожухлых мыслей..
с виду
всё медленно внушает –
‘как во сне’
сверчит мой гость, зашедшийся в руладе,
кто б чиркнул спичкой...
где-то в глубине
отыщется горошина в кровати.



ФАИНА ЗИЛЬП

Я родилась в Украине в один день с Анной Ахматовой (но не в Одессе, а в Виннице и, конечно, на 85 лет позже!) Винница известна своим музеем Пирогова и ставкой Гитлера поблизости. Закончила художественную школу и педагогический институт, преподавала. В Австралии с 1997 года. После окончания университета стала социальным работником. Печаталась в

литературных сборниках, газетах и журналах в Австралии, Украине, Израиле, Америке, Англии и Бельгии. Финалистка литературных конкурсов: "Пушкин в Британии" - 2014, "Арфа Давида" - 2014 и 2015, а так же "Эмигрантская лира - 2015".

Без поэзии и рисования не представляю своей жизни.

Что не решишь Ты – всё приму,
Тогда – сомнением не нарушу.
...Сейчас спрошу же: почему
За плоть расплачиваться – душам?

Бесплотны, понесём отчёт
О том, в чём не были виновны.
Слова раскаянья не в счёт,
Когда дела грешны – бесспорно.

Игрой ума вершит судьба,
А чувства – с телом пуповина.
За что – душе судить себя?
Она осталась неповинна.

26 ноября 2013 г.

Ни Украиной, ни Россией,
Изгнанница, не дорожи.
...Как будто под анестезией,
Почти бесчувственность души;

Прощальный взгляд – до расставанья,
Но зрение замутило.
Зачем последние слова мне? –
Самоубийцам всё равно.

Подруги кажутся чужими,
Объятья – жалкой суетой.
Так пережатие в пружине –
Лишь кратковременный покой,

Лишь иллюзорность застыванья –
До распрямления в удар!
– Принадлежу уже не вам я,
Как солнцу – солнечный загар;

Как в сердце холод – этой стуже
И снегопаду за окном.
И мне никто сейчас не нужен,
И чужд мне опустевший дом.

...В оцепенении бессилья
Друзей на помощь не позвать.
Но Украину и Россию
Мне от себя не оторвать.
23 февраля 2014 г.

Жизнь часто эфемерней даже смерти,
Порой и окончательней: есть смерть.
И что за ней? Антракт она в концерте,
Второе отделение нам смотреть.

Прокрустовой отделяваясь ложью,
Разделаться, отрезав, отделив –
Заранее – нельзя нам. Иль возможно? –
Убив себя, тем – двери отворив:

Живущим – не желают поддаваться:
Надгробною плитою тяжелы.

Незыблемо кладбищенское братство -
И мать так постоянное жены.

Клянясь в любви нетленной, даже вечной,
Мы времени сдаёмся в жалкий плен.
И мучимся бессильно перед встречей
С душой своей, поправшей тела тлен.
21 мая 2014 г.

Для полного счастья мне долька луны
Нужна – в чёрный чай полуночный;
А сахаром звёзд щедро ложки полны
Созвездий – во тьме многоточий.

Смотрю, ощущая влиянье планет –
И сопротивление своё им!
Ловлю мёртвых звёзд остывающий свет
С восторгом уже неуёмным:

Их нет, но сиянье доходит до нас –
Любовь так доходит до страсти.
О вечная жизнь! Не халифом на час!
... Чай кислый и сладкий. Как счастье.
13 августа 2014 г.

Уже на нотном стане стонут ноты,
Для траурного марша становясь
В единый грозный строй свой. Ведь давно ты
Был мелом обведён, к мечте стремясь –

Напрасно... А машиной сбит – успешно.
Иль финкою заколот; пулей влёт
Прострелен. Кто-то плачет безутешно,
Как будто смерть его ещё не ждёт.

Приходит с новой жертвой снова утро,
Разборками наёмными грозя.

И жизнь так обесценилась, как будто
Компьютерной игрою стала вся.

27 февраля 2015 г.

С собой родной землицы не взяла:
Ни с кладбища; ни с грядок alma-mater;
Из сада перед домом, где жила,
Заранее скорбя о той утрате,
С которой душам покидать тела;

Которая всё глуше, хоть саднит
По-прежнему, знакомых удивляя.
...А жизнь пересекает свой зенит,
В иную почву губительно влюбляя
И возводя в пустыне веры скит.

Здесь запах эвкалиптов тем острее,
Чем осени прохладнее касанье.
Прыжки у кенгуру – копыа быстрее.
Но мчатся не спешат по снегу сани,
И ямб уже мне ближе, чем хорей.

10 апреля 2015 г.

Как будто родилась в сорочке:
Привыкла, что легко давались
Спускаемые с неба строчки...
Теперь нужна – хотя бы малость:

Толчок всего лишь, увлечение,
А не любви столбняк бесспорный;
Пусть облегчение – не лечение,
Влечение без мольбы покорной.

Я – чудотворной силы властью –
Опять воскресну, взмоют крылья:

И Фениксом быть – тоже счастье!
Пока же – пепел и унынье.
25 сентября 2015 г

**Ingenious Gentleman Don Quixote of Melbourne
To Ronald Cullen**

"Ты с этой изменяешь медсестрой мне,
Уйди!" – кидает тапок в пустоту.
– Опять себя визитом ты расстроил.
– Не брошу в унижение сироту.

Сидит и озирается привычно
На звук любой: ослепла до конца.
Кричит непредсказуемо, но зычно:
"Гоните вы отсюда подлеца!"

Он злобу и безумие прощает:
Порой ей узнавать его – дано...
– Ты кто? Опять – чужие навещают,
А мой старик забыл меня давно.

Понурится на стуле виновато:
Проклятие ударит, словно плеть...
На пост свой возвращается солдатом:
"Ох, как бы мне ступеньки одолеть?"

Увы, но Дон Кихот он прирождённый,
И конь его – как память юных дней.
...Автобус ожидает под дождём он,
Страшась свиданья с милою своей.
18 октября



ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

Родился и жил в г. Таганроге Ростовской обл. Работал в Таганрогском радиотехническом университете зав. кафедрой, профессором кафедры высшей математики. Первое стихотворение опубликовано полвека назад в университетской многотиражке, в 1998 г. вышел сборник «Нить любви», который переиздавался несколько раз. Живет, в Мельбурне, Австралия

Ноябрь

Погасли дивные уборы
Осенних сказочных лесов,
Ведут о чем-то разговоры
Березы, погружаясь в сон.
Иль просто заблудился ветер,
В вершинах без толку кружит,
Тоскуя, может быть, о лете,
Сухие листья ворошит.
Река течет, почти застыла,
Парок чуть вьется поутру...
Какая грустная картина –
Камыш, поющий на ветру.
Но все же осенью глухою
Спешу я в лес – не для игры –
Коснуться теплою щекою
Березы зябнущей коры.

Молитва

Дай Бог нам Счастья и Печали,
Цветов рассвет, листвы закат,
Дай Бог быть молодым в начале,
В конце – не ожидать наград.
Дай Бог познать Любовь и Ревность,
Нелегкой мудрости испить,
Дай Бог поверить в откровенность,
Судьбы соткать святую нить...
Дай Бог нам утвердиться в вере,

Пройти достойно крестный путь,
Дай Бог нам пережить потери...
Прошу, Господь, нас не забудь...

Молодость

В той дали голубой, где мы были другими,
Где мечтали о счастье, колдовали судьбу,
Где впервые друг другу
открывались нагими
В чистом запахе сена на теплом лугу –
Как хотелось тогда неизведанной ласки
В ощущениях вечной зеленой весны,
Круга милых друзей
из придуманной сказки,
Неразгаданной веры в туманные сны...
Все прошло, отцвело, отыграло, отпело,
Будни краски убили, постарела родня...
Той девчушки забыл я
прекрасное, гордое тело,
Тех друзей не встречал, и они не искали меня.
Лишь вздохну в пятьдесят, жизнь за все восславляя –
За открытие истин, простых, словно хлеб и вода,
За Любовь, что ведет меня
к вечному светлому раю,
За детей, что пойдут в золотые, как наши, года...
Только мне попросить все хотелось прощенья
У далекой девчонки, которой глаза целовал,
За святые слова, что шептал
тихой ночью весенней,
И за нежность, с которой всю жизнь тосковал.

Все просто

Так просто – не писать,
Но и писать несложно –
Ловушки расставлять
Для рифмы осторожной...
Так просто – не любить,

Но и любить несложно –
Лишь надо все забыть,

Не веря сказкам ложным...
Так просто – не уйти,
Но и уйти несложно –
Представь, что ты в пути,
И все осталось в прошлом...
Судьбы зовут огни,
Ведь жить на свете – просто,
Лишь сердце распахни
Любви, стихам и звездам.

Ангел

Мне приснился в ночи неразгаданный сон,
Что терял я любовь и надежды тепло –
Стылой осени мрак, и холодный вагон,
Исеченное снегом пустое стекло...
Только колокол сердца тревожно звучал,
Безысходность томила – и к аду вела,
Обещая свой лживый туманный причал,
Где ни света, ни боли, ни капли тепла...
Но явился тут Ангел, покой мне даря –
«Все пустое – и слезы, и рок, и мольба,
Ведь грядет и весна, хоть конец ноября,
И ничто – не зарок, и никто – не судьба...»
Почему же тогда бесконечно кольцо?
И смеяться, и плакать хочу наяву,
Почему не стареет родное лицо?
Как и в юности, счастье зачем-то зову...
Почему же тоска от разоренных гнезд,
Стариков беззащитных извечна печаль,
Стонет небо от детских потерянных слез,
Суд неправый вершит беспощадная сталь...
Не погаснуть бы сердцем в последних делах,
Не предать, не солгать – и дожждаться внучат.
А опорой мне ты – в неразгаданных снах –
Опустевший, но милый домашний очаг.

Хайку о зрелости

Тридцать лет. Мерцание вина в бокале.
Жизнь продолжается, тая любви росток.

Пятьдесят. Легкой печали крыло.
Мир прозрачен, как шорох горной струи.

Семьдесят лет. Где-то плачет ребенок.
Это тревога моя, но уже – не забота.



ИРИНА ИВАНЧЕНКО

(Украина, Киев)

Поэт, журналист, киевлянка. Автор пяти книг стихотворений. Стихи публиковались в антологиях, альманахах, журналах Украины, России, Германии, Бельгии, Израиля, США и других стран. Член Национального союза писателей Украины. Лауреат нескольких международных литературных премий.

Победитель Всемирного поэтического конкурса «Эмигрантская лира» в номинации «Неоставленная страна» (Бельгия, Франция, 2013). С 2014 года член оргкомитета, член жюри Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира».

Дым

Что сгорело дотла – обернётся потом
уцелевшим теплом в топке солнцеворота.
Где-то мечется дым над открытым костром,
прикрывая собою огонь желторотый.

То ли с возрастом ищет опоры душа,
то ли дождь приманили тоской приворотной,
только дым от огня – ни на миг, ни на шаг,
будто рано его оставлять без присмотра.

Догорело – но это ещё не конец,
дождь приходит – и дышит ровнее пустыня.
Только мечется дым, как безумный отец,
за минуту до «Скорой» теряющий сына.

Ни случайных людей, ни попутных богов –
Только зыбкое, мерное мировращенье.
Дым уходит туда, где родится огонь,
переждать холода до его возвращенья.

9 сентября 2015

Молитва за ангела

*Лесничий сна, обходчик сада –
он копит для меня прохладу,
а сам нуждается в тепле.
Храни, Господь, мою охрану,
как всё живое на земле...*

1

В истоках, проблесках, притоках,
в богатстве, в бедности, в потёмках
ты рядом. Видимо, не зря
нас завязали, как тесёмки
набухшего календаря.

В болезни, в здравии – все тридцать
с излишком лет моих и зим
ты за плечом молчишь, как птица
над слабым птенчиком своим.

А я теряю страсть к полёту,
и я живу вполоборота,
тебя читая по губам,
но погляди, какое лето
накрыло нас, как ураган.

Вольноотпущенная радость –
цвести, расти не по часам.
Вновь из смирительной ограды
в пустой проулок рвётся сад.

И громогласен гул надземный,
и разбегается гроза –
ошеломительную зелень
как новость, всем пересказать...

2

Смотритель, виноградарь, воин,
моя награда и вина,

пора тебе на вкус освоить
простор за створками окна,

где свет един, а цвет разбросан
в неброской прорисовке дней,
где пламенеют абрикосы
в резных подсвечниках ветвей.

Тяни – над опустевшей клетью,
над вымыслом и ремеслом –
разгаром жизни, жаром лета
неопалимое крыло...

Но сколько б ни летал и где бы
ты ни был – к ночи жду домой.
Я всем должна – земле и небу,
и я в долгу перед тобой.

И в жаре, в жалобе, в разгаре
я помню – мы с тобою в паре,
как шаг и след, словарь и стих.
Я помню, значит, существую,
листаю книгу долговую
и отвечаю за двоих.

Календарь — от лат. *calendarium* — долговая книжка: в Древнем Риме должники платили проценты в дни календ, первые дни каждого месяца.

Родина

Держава ли, единая страна...
Скорее, пядь земли на белом свете
есть Родина – то место, где у нас
с тобой еще, конечно, будут дети.

И в глиняном окопе, где отряд
зимует, позывных не раскрывая,
есть Родина – то место, где тебя
я днем и ночью жду, не уставая.

Пусть по трубе слезоточивый газ
дойдет быстрее, чем кровь до капилляров,
есть Родина – то место, где о нас
возносят просьбы Богу капелланы.

Чуть позже нас прилюдно очернят,
но лють и нелюдь не сильны над нами,
пока есть в мире место, где меня
привычно называешь ты – «родная».

И оттого, что любишь и любим, –
когда схлестнутся недруги и друзья,
ты будешь, мой родной, неуязвим
для пуль голодных, рыщущих в округе.

18.01.2015

Когда я снова научусь дышать,
и спать, и есть — прочту: ты есть на свете,
и, словно подвиг, совершая шаг,
я устою на шатком парапете

и выстою, как дерево зимой, –
наотмашь бьют, бесчинствуют метели,
когда ты приведёшь меня домой
и спрячешь в рудниках своей постели,

когда я снова научусь дышать,
зима уйдёт в ручьи, ключи, овраги.
Я плоть от плоти – взмах карандаша
в твоей руке над плахою бумаги.

Помилуй, боль, я правдой отслужу,
твои поля переберу руками,
расправлю стебель и разглажу камень,
и зёрнам о колосьях расскажу.
Спасибо, боль.

Спасибо за труды,
за продолженье и преображенье,
за то, что из оттаявшей воды
опять моё пробьётся отраженье,

за передышку между схваток, за
покой и плодотворные потуги,
за то, что годы зарева и зла
мы прожили, не зная друг о друге.

Октябрь 2011 г.

Ты уедешь на Остров,
 что сам по себе материк:
и велик, и державен,
 и так одержим стариною,
что чужой примеряя язык,
 как потертый парик,
рассечешь времена
 и забудешь, что случилось со мною.

Где Вокзал, на котором встречаю тебя? Где часы,
 под которыми жду
 опоздавший к полуночи скорый?
Дотянуть колено бы до взлетной твоей полосы,
дотянуться к тебе через время, и реки, и горы.

Битломан и бродяга, к чему нам плодить расставанья,
бороздить расстоянья, вымалывать встречи на миг?
Ты уедешь на Остров, что сам по себе мирозданье,
бесконечный в тумане, почерпнут тобою из книг.

Мой Вокзал для тебя –
 лишь пролог в предстоящую повесть,
где плывет Ливерпуль по реке,
 как отвязанный плот.
Здесь бронзовый Ленин меня провожает на поезд.
Там бронзовый Леннон приветствует твой самолет.
2003

Перепост: современный романс

И пройдёт перепостом
в пёстрой хронике дня:
так мучительно просто
он не любит меня.

На просторах постельных,
у чужих одеял
так легко и смертельно
он меня забывал.

А в совместном сегодня
на вопрос «Почему?»
говорит – чужеродна,
чужестранна ему.

Там не рвётся, где тонко
сшит наперник небес.
Не «нормальная жёнка» –
жар откуда невесть.

Не смешно и не ново –
только тем и плоха,
что за каждое слово
я плачу по стихам.

«Сколько вас, несусветных,
развелось», – говорит.
Все проходят. И этот
как-нибудь отболит.

Он уходит из ленты,
опускаясь в архив,
как чумные комменты
на чудные стихи.
2015



ЕВГЕНИЙ КАМИНСКИЙ

Поэт, прозаик, переводчик. Автор девяти поэтических сборников, девяти романов. Лауреат литературной премии им. Н. В. Гоголя за 2007 год, победитель IV Международного поэтического конкурса «45-й калибр» им. Георгия Яропольского. Автор множества публикаций, в том числе в журналах, «Волга», «Юность», «Нева», «Звезда», «Урал», «Аврора», «Октябрь», "Крещатик", "Дети Ра", "Зинзивер", "День и ночь", "Плавучий

мост", «Северная Аврора», «Петербург», «Литературус» (Хельсинки), «Литературная учёба», «Литературная газета», в альманахах «Поэзия», «День поэзии» (с 2007 года — постоянный участник), «Истоки», «Подвиг», «URBI», «Невский Альманах», «Васильевский остров», «Царское село», «Век XXI» (Германия) и др., а также в различных коллективных сборниках. Участник многих поэтических антологий, в частности, «Строфы XX века» (Составитель Евгений Евтушенко) (М., 1999), «Поздние петербуржцы» (СПб., 1994), «Лучшие стихи года», «Антологии Григорьевской премии (СПб., 2010, 2011)», «Россыпи» (стихи и песни петербургских поэтов-геологов 1700—2000 гг.), (СПб., 2000).

...И все ближе развязка. Предчувствует бездну душа.
Подловив поколение на сладкий крючок барыша,

зверь уже закрутил свой сюжет от Москвы до Нью-Йорка.
А в партере зевают, фольгой откровенно шурша.
И, устав понимать, помирает от смеха галерка.

В первом акте бы все завершить, где в кожанке начпрод
строит светлое завтра, и ражий квасной патриот
по сравненью с борцом за свободы из третьего – душка.
А в последнем на сцену, как водится, выйдет народ,
чтобы твердь сокрушить. Ох, поплачет над сыном старушка!

Затаиться бы где, затеряться б... но, как ни юли,
и в сермяжной глубинке, спасенье купив за рубли,
не уйти от времен, ни юродства, ни лицемерья...

Даже те, что – как дети, смеясь, отпадут от любви,
возлюбивши из бездны на свет выходящего зверя.

Тяжко ночью горячей, как рыбина, бился без сна,
от волшебного смеха девиц пряча слух в одеяло.
Даже полной луны заплывавшая в окна блесна,
как увлечь ни старалась, за сердце никак не цепляла.

Понимая, что жизнь мимо звонким бежит ручейком,
даже твари ничтожной давая от пуза напиться,
не ходил к водопою, упрямец, а, лежа ничком,
в глубь себя заглянув, до утра морщил лоб, как тупица.

А ведь мог бы в рубахе цыганистой, выпятив грудь,
из себя под гитару фальшивую строя Карузо,
до утра вдоль аллеи Марусю какую-нибудь
за живое хватать... В общем, жизнью питаться от пуза.

Может, было и лучше бежать на дурашливый смех —
в развеселых бесчинствах тонуть, словно в омуте черном,
чем копить в себе молча печаль потаенную, сверх
той, что Богом отмерена всем, на любовь обреченным?

Может, стоило... но говорить-то что толку теперь
про какие-то там на аллее с Марусей кадрили,
здесь тому, кто во мраке глазами сверкает, как зверь,
и никак не вмещает, к чему его приговорили...

Москва

Гнутые березки вдоль болот, лютное, надвинутое небо
и тропы безвольный поворот в сторону, где истины не треба.
Холод отчуждения полей, рощи глушь, запретная, как зона,
и воспеть все это соловей силящийся с удалью Кобзона.

Вот тебе родимые места, Птица-тройка вот тебе лихая!
Над землею гиблой ни креста, ни кола, лишь вышка вертухая,
словно воплощенная тоска... А вдали, как родина другая,
праздная куражится Москва, рожей басурманскую пугая.

Родину по матери послав, смотрит на поля да на болота
царства Вавилонского анклав как баран на новые ворота.
Тот ли все падеж и недород? Так ли все путем кривым да узким
к свету пробивается народ, бывший на земле когда-то русским?

Денежки бюджетные пиля, ставит свечи перед образами...
Русская на кой ему земля, пьяными умытая слезами?!
Корчащийся Лазарем в пыли, сей народ, гробам хранящий верность?!
Что ему шестая часть земли?! Так, Луны обратная поверхность...

Какая там птичка! Скорей – допотопный медведь,
в котором чем громче желанье, тем совесть все глуше...
За сердце беруший?! Скорее, за горло, заметь,
всех этих, в тенистой аллее развесивших уши.

Всех этих, готовых хоть дьяволу душу продать
за сладко саднящее сердце словечек созвучье,
за тихую таять в объятьях стиха благодать,
за счастье не чувствовать в вычурном нечто пауцье...

Есть что-то в цветущей сирени от крика сирен
и тлена, когда ты уже не истец, а ответчик,
когда все страшнее бессмертной души соверен
разменивать ночью на грязную мелочь словечек.

Какая там птичка! – в темнице томящийся зверь,
которому воля все реже за давностью снится,
которому больно не значиться здесь и теперь,
пусть даже он там будет больше, чем вольная птица...

Просто закроюсь в дому,
горько так губы кривя.
Век выбирает, кому
нынче пустить бы кровя.

Молча в себе затаюсь,
зная, что не убережешь
ни уходящую Русь,
ни настоящую речь.

Не вопросительный знак –
точка. Закончен роман.
Все будет именно так,
как предсказал Иоанн:

с кровью смешается грязь,
и неизбежно, поверь,
из человека, гордясь,
выйдет законченный зверь.

Раньше полечь бы костями,
ибо так страшно потом
вымолвить: – Лучше казни,
только не делай скотом.

Лучше в хлеву задуши,
только от счастья уволь
Бога забывшей души
больше не чувствовать боль.

Тихие времена,
в смысле истории – штиль.
Бунина и Ильина
мальчик несет в утиль.

Что ему связь времен?!
Жертвенность что ему?!
Вынести мусор вон
и утопить Муму.

После чуть-чуть курнуть
или вколоть слегка,

чтобы поднять тут муть
и развести лоха.

Площадь метет Платон,
топит котел Сократ,
офисный ест планктон
свой овощной салат,

слово сводя на нет...
Это ль не самый смак:
выключив правды свет,
жить, умножая мрак?!

Жить, умножая зло,
срока мотая нить,
если не повезло
в сих временах не жить...

Вот теперь и свершается все, что писал Богослов
для таких вот, как ты, в жизнь упрямо влюбленных ослов,
гордо мнящих себя здесь не глиной, а чем-то иным,
разрывающихся между горним в себе и земным.

Нелегко отцепиться тому, кто приписан уже,
даже если попутчик он иль подпоручик Кижее.
Это подлое время и город над вольной Невой,
подловив, повязало системой своей корневой.

И в саду с Аполлоном, и возле Ростральных колонн,
даже в зале колонном ты связан, как Лаокоон,
и не больно так душу твою пьет унынья паук,
равнодушно иглой протыкая, как доктор наук.

Молодцу-страстотерпцу мясо подавай, а не сныть,
молодится старуха, ища здесь, кого совратить,
правды знать не желает ни голь записная, ни знать...
И антихрист глядит, не идут ли на царствие звать.

Мальчишки запускают самолет:
смех озорной и крики бабы вздорной.
Из рук подкрылки вырвутся вот-вот!
Бензином пахнет дым... и вдруг пахнет
в лицо восторгом воли беспризорной.

Под небом без обеда дотемна –
не больше ль жизни это проживание
всех этих, в ком – ни капельки ума?
Когда еще изрежет лик сурьма
и форму одолеет содержание...

Когда еще, уж больше не храним
Архангелом, их мир, в огне желаний
сгорев дотла, рассыплется, как Рим,
когда еще судьба навяжет им
свою игру и скрутит в рог бараний.

Пока ж они все знают наперед,
и все у них сбывается, как в сказке.
...Привязывают к леске самолет
и с криком отпускают. И поет,
поет душа, не ведая развязки.

Под кирзовый сапог имперского колосса,
отрезанный ломоть с ухмылкой наглеца,
какая власть тебя влечет, как под колеса,
пока на всех вокруг от страха нет лица?

По нашим временам бесстрашия не нужно
войти в себя и там гасить бесшумно свет...
Но вдруг покинуть зал, когда фальшивит дружно
оркестр, что навязал вам аккомпанемент?!

Тамбовских злых волков лохматая порода!
Какие жгут тебя словечки изнутри,

когда в окрестной мгле от имени народа
мартезовских печей лютует попури?

Когда они горят представить в нужном свете
народам суть вещей, что лезешь ты под нож,
как родиной своей обманутые дети,
которым смерть не так мучительна, как ложь?

Ушел бы ты в себя – что пыжиться в гордыне?! –
покуда этот век, карманника ловчей,
всю душу из тебя в каком-нибудь Надыме
не вывернул под смех румяных сволочей.



ЕЛЕНА КРИКЛИВЕЦ

Родилась в городе Витебске, где и живет. Член Союза писателей Беларуси. Член Союза писателей России. Кандидат филологических наук. Доцент кафедры литературы Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. Лауреат VII Международного Пушкинского конкурса (2007 г., Россия). Лауреат Международных литературных конкурсов: «Северная Аврора» (2012 г., Россия); «Мир без войны и насилия» (2013 г., Польша); «Словенское поле» (2013 г., Россия); «Литературная Вена» (2013 г., Австрия); «Русский Stil» (2014 г., Германия); «Арфа Давида» (2015, 2016 гг., Израиль); «Эмигрантская лира» (2015 г., Бельгия); «Грузинская весна» (2016 г., Грузия). Автор сборников стихов «На грани света» (Минск, 2008 г.); «За строкой» (Санкт-Петербург, 2015 г.) Стихи поэта печатались в Беларуси, России, Молдове, Армении, Болгарии, Германии, Австрии, Бельгии, Израиле, США.

Между тучами – краюшки неба синего –
окна в истину – прозрачны и чисты.

Словно в зеркало, глядится Ефросиния
в неразбуженные воды Полоты.

Ночь хоронится в трепещущем осиннике,
много темного выдавшем на веку.

И в зарю идут былинные дружинники,
в ту, тревожную, из «Слова о полку».

Ни вернуться в эти дали, ни покаяться,
ни откликнуться на этот вечный зов...

Только стрелы Перуновы отражаются
в спелых луковицах здешних куполов.

Оттого, видать, в Христово Воскресение,
находясь от просветленья в двух шагах,

вдруг душа рванется следом за Есениным
Русь оплакивать в московских кабаках.

Тополь, подпирая небосвод,
в толщу дней глядит с немым укором.
И тропинка робкая ведет
к старенькой скамейке у забора.

Здесь и тени поросли былзем...
Только почему-то год от года
окон заколоченный проем
не пускает душу на свободу.

Этот груз не разделить ни с кем.
Горький крик не вырвется наружу.
Тихо дрогнет жилка на виске,
и морщинки сделаются глубже.

Ни в погонных метрах, ни в рублях
не измерить дедовские хаты...
На таких вот сизых тополях
выбьет время памятные даты.

Прошедший век с просевшим домом
уже никто не покупал.
Лицо в оправе из картона
смотрелось в крошево зеркал...

А в этом мире тоже жили –
не приходили на постой.
Там петли заячьи кружили
от первопутка до Страстной,
и пелись песни без начала,
и пились вечные сто грамм,
и плавно лебеди качались
на серой вате между рам.

Ушло. Растаяло. Забылось...
Лишь при включенном ночнике,

смеясь, – от бабки научилась –
она гадала по руке.

И было невдомек обоим,
читавшим линии судьбы,
как сложный вензель на обоях
похож на заячьи следы.

*Когда погребают эпоху,
надгробный псалом не звучит...*

А. Ахматова

Ни стоны, ни горького вздоха –
кладбищенский строгий уют.
Здесь снова хоронят эпоху
и снова вороны снуют.

Процессия курит в сторонке.
От заступов комья летят.
«Об этом расскажут потомки», –
могильщики пьяно твердят...

И ты, безусловно, намерен
исполнить отцовский завет.
И прошлое загнанным зверем
рванется из чащи на свет,

в убийственной жажде спасенья
помчится быстрее и быстрее
туда, где в угодьях осенних
плывут голоса егерей.

По лужам бежит ветерок торопливый,
балует за настезь открытым окном,

у низкой калитки, где старая ива
застыла почтенно в поклоне земном.

И бродит Господь в этих далях уездных,
хлеба рассыпая дающей рукой.
А жизнь, как вода во облацах небесных,
неясно темнеет за спящей рекой.

Делам и посевам отмерены сроки.
Взлетает над берегом визг детворы.
Своих пассажиров у тихой затоки
услужливый лодочник ждет до поры.

Промытое утро антоновкой дышит.
Тихонько скрипят, в синеву уходя,
ступени, зовущие прямо на крышу
к нападавшим яблокам после дождя...

Щемящие запахи давнего Спаса
отыщешь в потертом своем рюкзаке,
откуда годами достать не решался
росинку на маминой теплой щеке.

– Ну, китель вот куда ты денешь?
А влезло бы еще два платья!
И, кстати, предлагает деньги
приличный с виду покупатель.

...Весна расцвечивала дали,
звенела иволгой над миром.
Тихонько звякали медали
в пакетике из-под кефира.

...Потом он будет втихомолку
искать заначку и храбриться:
жена права – зачем на полках
старье отцовское пылится?

Потом откупорит чекушку,
глотнет спасительного яда...
Потом соседская девчушка
застынет изумленно рядом,

тряхнет косичками упрямо,
сандалик порванный наденет
и звонко крикнет: «Мама! Мама!
Он не отбрасывает тени!»

– Ветер тучи озябшие треплет,
гонит листья по черной земле...
Он, небритый, в линялом отрепье,
едет мимо верхом на осле! –

так рассказывал местный пьянчужка,
«живописец», «радатель холста».
И плескалась в невымытой кружке
то ли истина, то ли тоска.

Но его закадычные друзья,
не молясь о спасении душ,
посмеялись: несет с похмелюги
то ли бред, то ли блажь, то ли чушь.

... Уходили из города вместе,
оставляя века позади.
Безыскусный покоился крестик
под рубахой на впалой груди.

Отправлялись, как видно, далече...
Брел понуро голодный ишак.
И неслышно спускался на плечи
то ли свет, то ли снег, то ли знак.

Младенец спал.
Уже зажглась звезда.

И шли волхвы. И мать сидела рядом.
Так далеко, казалось, до креста.
Так близко небо, пастухи и стадо.
Младенец спал.

Ему несли дары.

И тем, кто нес, хотелось верить в чудо.
И полыхали поздние костры,
горячие, как поцелуй Иуды...

...Застыло серебро на тополях –
гроши звенели у беды в кармане...
Младенец беззаботно спал в яслях,
себя доверив Господу и маме.
Давно пастух пригнал своих овец.
Звезда погасла там, за новостройкой.
А люди доедали холодец
и выносили елки на помойку.

Младенец спал.



НАТАЛЬЯ КРОФТС

Родилась в городе Херсоне, окончила МГУ имени Ломоносова и Оксфордский университет. Живёт в Австралии.

Автор двух поэтических сборников и многочисленных публикаций в русскоязычной периодике (в журналах «Нева», «Юность», «Работница», «Новый журнал» и многих других). Стихи на английском опубликованы в четырёх британских поэтических антологиях.

ДО НОВЫХ КАТАСТРОФ

Анубис едет в отпуск

Он ждёт и ждёт. А их всё нет и нет.

Он потирает лапки и зевает.

И время, у порога в кабинет
жужжавшее так зло, заболевает –
завравшись и зарвавшись – застывает
безмозглой мухой, влипшей в аллинцит.

Анубис дремлет. Наконец, шаги –
нетвёрдые. И робкий стук. И скрип
тяжёлой двери. «Здравствуйте, голубчик.
Входите» – зверь листает манускрипт.

А посетитель, немощный старик,
бледнеет, разглядев его получше –
сидит шакал, чудовище, посредник
страны загробной, мук на много лет.
И жалкий, грязный, тощий как скелет,
старик тоскливо шепчет:
«Я – последний».

На радостях шакал вильнёт хвостом –
«Дописан каталог – вся желчь и сплетни,
людские дрызги, вой тысячеклетный...
Какой, однако, препротивный том –
подробная и тщательная опись.

...А вам, голубчик, в третий каземат,
там ждёт вас белозубая Амаат».

Закроет опус.

И уедет в отпуск
на опустевший Крит – гонять котов,
искать волчицу на руинах Рима...

В наряде из несорванных цветов
земля прекрасна и необозрима.

Ни войн, ни смут, ни жертвенных костров.
До новых рас. До новых катастроф.

О нас

В порыве, в огне и в пыли безотчётно сметая
налаженный быт, превратив его в жаркую небыль,
взорвётся накопленной страстью вулкан Кракатау
и ринется в небо.

Под рокот и грохот, в горячке искрясь от каленья,
он рад как ребёнок свободе от уз и уступов.
И долго ещё будут волны голубить колени
обугленных трупов.

А после – уляжется буря, и, дни коротая,
спокойное море развежится, пепел размочит.
Но жадно потянется к небу Дитя Кракатау.
Пока ещё – молча.

Разрыв. Фигурка схватится за бок –
живой лубок.

Час новостей. Адреналин. Игра.

Ты щёлкнешь кнопкой – и конец. Нет ран,
потери, смерти, зла... Застынет крик.

Ты – в капсуле. В скафандре. Ты – внутри.
Замри.

Замри. Ни с места. Стой, нельзя наружу –
за рамки, за обложку, из себя –
к соседям, соплеменникам, со-душам –
задушат.

Ты – мишень. Рога трубят.
Охота. Крестный ход на бордаж,
на брата, на врага, на тот этаж,
где нагло распускаются герани –
цвет мяса в ране.

Где ты уже – игрушка на экране.
Ты раб. Под рьяный рёв других рабов
на солнечной арене Колизея
ты умираешь. Крик – и мы глазеем
на красное на острие зубов.

Агония. И гонка – мчатся снимки
в Facebook, диктует Canon свой канон:
у трупа, у меча, со львом в обнимку.
И лают «лайки»: кадры – как в кино,

где даже смерть кошмарная – прекрасна,
где люди растворяются на красном –
заката, крови. Жажда на губах –
адреналина! – зрелищ, твиттов, хлеба,
убойных кадров: нас на фоне неба –
красивых,
молодых,
в гробах.

Край

Край света. Свято ты веришь в это – кругом раздрай,
грубит народец, погрязший в дрязгах, сварливей Грай.

Но даже если ты вдруг пролез бы в цветущий рай,
где чужды лица – хоть рой землицу, хоть помирай –

недолго спиться, упасть на спицу в таком раю.
Край света. Свита твоя верёвка. Ты – на краю.

А в центре мира – тепло камина, огонь свечи,
живёшь без грима, и беды – мимо, и кот мурчит.

Там – *рук сплетенье*, там свет и тени живут в ладу.
Край света – это где нас не любят. Где нас не ждут.

Ледящий дождь, воев ветер, и град искрится.
Мой сынок продрог. Лихорадка. Дрожат ладони.
Потерпи, малыш, в новой жизни я стану принцем –
и мы будем жить в золотистом уютном доме.

Не помогут крики, молитвы, мечты о мести.
Ты проходишь мимо, не смея коснуться взглядом.
Потерпи, родная, в той жизни мы будем вместе –
ты уснёшь счастливой – и я прошепчу: «Я рядом».

Я седой до срока. По жизни – как по осколкам.
Этот мир продрог. И протухла его основа.
Я сжимаю зубы. В той жизни я стану волком.
И меня застрелят. И всё повторится снова.

Отраженье гор на воде – впритык
к отраженью туч. Ухожу за край.
Погоди. Остаться бы. Я привык
говорить себе: «Поиграй».

Ты играй, не бойся, что будет час,
ледящий миг на краю зари –
незнакомый голос прошепчет: «Раз...»
Ближе: «Два»... И потом –
«Замри».

Я замру. Надолго. На сотни лет.
Покачнётся небо, прольёт кагор.
Остаются – вечность. Мой хрупкий след.
Отраженье туч. Отраженье гор.

Память

Море гневом с утра перекошено,
бьётся лбом о забытый маяк.
Просыпается прошлое – крошево,
зверь закованный, пытка моя.
Он, тиранивший тихие пажити,
скован, пойман – в неволе скулит.
Охраняют периметры памяти
патрули, патрули, патрули.
Море стихло. Торосы смерзаются.
Безмятежен сверкающий снег.

Мой закованный зверь огрызается
и рычит. И готовит побег.

Я+Н+Т

Среди чумного мира – злого, рваного,
пропитанного ядом до корней,
есть свет – на кухне, в городе Иваново,
где спит собака, чавкая во сне.

Здесь – тихий дом, где панацея найдена,
где хлеб душист, а истины просты,
где так и тянет спеть «Ах Надя-Наденька»
под хлопоты хозяйки у плиты.

Так мало в нас тепла обетованного.
Но выход есть – надёжный и простой:
и снова собираюсь я в Иваново –
за светом, за теплом, за добротой.



НОРА КРУК

Элеонора Мариановна Крук, урождённая Кулеш. Поэт и переводчик. Родилась в 1920 году в Харбине, стихи начала писать с семи лет. В 1933 г. переехала в Мукден, а позже – в Шанхай и Гонконг, где работала журналисткой, дружила с ведущими поэтами восточной эмиграции В. Перелешиным и Л. Андерсен, была знакома с А. Вертинским. В 1976 году Нора

переехала в Австралию, сейчас живёт в городе Сидней.

Стихи Норы вошли в антологию "Русская поэзия Китая" (Москва, 2000), публиковались в периодических изданиях России, Америки, Китая, Израиля и Австралии. Автор трёх сборников английских стихов, призёр Содружества австралийских писателей (1993) и Ассоциации австралийских писательниц (2000).

В моих стихах
весь смысл как на ладони
хотя ладонь моя
полна секретов
все эти линии
следы агоний
и ожиданий
роковых ответов.

Рождество... то... которое... Помнишь?
Нет.
Как же так ты не помнишь?
Всё это бред.
И пионы? И томик стихов Тагора?
Опьянение полночного разговора?
Обещанье запомнить и день и час...
А потом...
Ты не помнишь, как свет погас?

Белые, чистые хлопья на этой панели
В грязь превращаются. Белые, чистые – в грязь.
Город жестокий украсить они не посмели,
Он ненавидит всё чистое, не таясь.

Вот он – Шанхай. Над чудовищным месивом грязи
Льется из окон высоких прикрашенный свет,
Судьбы людские без смысла, без цели, без связи
Прячут от жизни нарядные тюль и жоржет.

Климат душевный тяжёл, ограниченны дали,
Страшно, что вакуум жизни уютен и чист.
Люди и сами смертельно уютными стали,
Тянет в болото безжалостный город-садист.

На дереве этом трезвом,
большом, узловатом, прочном,
Как сон, расцвели, как чудо
немыслимые цветы.
И стало дерево новым:
нетронутым и порочным
Раздвоенно-человечным
и снова юным, как ты.

Мы лечились Парижем. Французским и русским.
Богомольным, похабным, широким и узким.
Красота каждодневна, как хрусткий батон.
Бредит славой и гением Пантеон.
В ресторанчике русском «Вечерний звон».
Бредит...

Мы лечились Парижем. В листве зрела осень.
В облака прорывалась умытая просинь.
Пёстрый говор Метро, Сакрэ-Кер и Монмартр.
Город яркий, как ярмарка, мудрый, как Сартр,

Тасовал нас колодой разыгранных карт.
Париж!

Жакаранда роняет листву, как перья,
Оголясь, расцветает персидским цветом.
Вопреки реальности и неверью,
Возрождаюсь женщиной и поэтом.

Этот праздник кожи и обонянья
Тянет в мир таинственный – за порог,
И сомненья старые и прощанья
На развилке дорог.

Тяжесть лет свинцом на моих подмётках,
Шрамы тонкие светятся на запястьях,
Дни скользят, замолённые, как чётки,
Но весна колдует, и это – счастье!

Ясен мир размеренных занятий,
Жизнь безоблачна? Какая ложь!
Искус несомкнувшихся объятий
Заронил мучительную дрожь.

Только внешне я ещё спокойна.
Всё в душе смятенье и тоска.
Знаю: и грешна, и недостойна,
И к непоправимому близка.

Горький хмель переполняет вены,
К чистой радости не подойдёшь,
А когда сомкнётся круг измены,
Я вживусь в чудовищную ложь.

Зеркала... мы писали о них с придыханьем,
Их таинственный мир был прекрасен и молод.

Все обиды лечились волшебным касанием,
Врачевала улыбка наш тайный голод...

О предательстве зеркала всем известно:
– Кто белей и румяней? – И та, и эта...
Опасаясь, что мнение зеркал не лестно,
Не прошу у стеклянной судьи ответа.

Но порой... Проходя близ зеркал нескромных,
В голове подбирая стишок по слуху,
Я ловлю чей-то образ... Неужто маму?
Нет, не маму, а чуждую мне старуху.

СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО

Наоми занята поисками корней.
Почему сейчас? Она говорит:
Всё изменилось. В новой России
не все пути ведут к братским
могилам.

Она пишет письма –
никого не находит на Украине –
пропали все.

В Белоруссии – никого.

А потом, после долгих поисков,
весточка из Челябинска:

Анна Ведрова.

Аня? Потерянная кузина?

Наоми объясняет – это ради детей:
я так и не расспросила маму,
а папа был скрытным... Он ведь
порвал со своей семьёй,
когда женился на маме.

Но почему?

Дети полны любопытства –
Дед – польский шляхтич,
Бабушка из клана раввинов.

Наоми пишет и возрождает годы.
Память всплывает, как снег тополей,
как парашюты-зёрна огромных вязов...
Аня, помнишь их вкус?
Дачи за нашей рекой... наша
любимая Зотовская заимка...
Сколько нас тогда было!
Отцы приезжали из города,
нагруженные фруктами...
Помнишь купальню для женщин?
Мальчишки ныряли под брёвнами,
грузные мамы визжали... Мы были
худышки. Помнишь, однажды
Сунгари разлилась?
Лодки нас развозили по городу!
Потом была эпидемия и нас застукали
во время холеры с чёрными от вишни губами...
Как ты живёшь, Аня?
Какая была у тебя жизнь?
Когда умер твой папа?
Где он родился?
Я составляю семейное
древо. С кем из родных
у тебя сохранилась связь?
Где они живут?

Анин ответ подкосил Наоми.
Позже она мне его показала.
«Дорогая Наоми, твоё письмо
было ударом грома. Я помню всё,
даже твой голос. Твоя мама пекла
замечательный штрудель. Те годы,
Наоми, были счастливейшими
В моей жизни. Я помню всё...

Это письмо ты должна обдумать.
Я овдовела и живу с дочкой.
Она хорошая девочка, но
настроена против евреев.

Понимаешь, после папиного ареста
мама поменяла нашу фамилию, чтоб
не потерять работу. Мы выдавали
себя за русских, и теперь даже
дочка меня не подозревает...
Ном, я тебя расстраиваю,
я знаю это, сестрёнка, но если ты
всё же захочешь переписываться,
пиши только на “До востребования”.

Семейное древо?
Мы жгли всё дерево
на отопление.
Это спасло нам жизнь».

При всей моей любви
К словам живым и мёртвым,
Непонятым словам,
Словам трусливо стёртым,
Я не сказала тех,
Что жгут сегодня грудь.

Шепчу себе: забудь.

Бывает ночь, когда мне тридцать лет...
Ну, пятьдесят – да ведь не в этом дело!
А в том, что ночью закипает бред,
И молодеют и душа, и тело.
И радость расцветает, как сирень,
Считаю лепестки, смеюсь и плачу.
Я не сумела удержать тот день,
Не верила, что я его утрачу.



ИРИНА КУЗНЕЦОВА

Филолог, преподаватель. Родилась и детство своё провела в небольшом уютном городке на задворках империи, которая дала мне возможность получить без преувеличения роскошное школьное образование. Училась в Ленинградском государственном университете (теперь СПбГУ). В настоящее время живу в Санкт-Петербурге, работаю старшим преподавателем в родной alma mater

Не повторяя день вчерашний

Ты просишь счастья и тепла?
Ну что ж, ну что ж... Тогда отныне
Ты будешь – на лугу пчела,
А после – ящерка в пустыне...
Ну как, теплее?.. А потом,
Не повторяя день вчерашний,
Побудь-ка, милый мой, котом –
Дворовым... Справишься – домашним...
И, девять жизней отслужив,
Кошачьих и недолговечных,
Получишь ты в награду жизнь –
Всего одну, но человечью...

Осеннее

У осени расколото ядро.
Еще дымится медное кострище,
Но слышится отчетливей и чище
Дождя мелкокалиберная дробь.
А то, глядишь, над городом легла,
Струясь по мокрым стенам в дыры окон
И каждый звук укутывая в кокон,
Белесая податливая мгла.
Сгустившись на мгновение, века
От безнадёги перспективу лечат,
Как Ле... как та река, от нас далече.
А между тем, весомые пока,

Ложась плащом на зябнушие плечи,
Становятся всё легче,
Легче,
Легче
Тумана кучевые облака.

Когда он стоит за моей спиной

Когда уже ничего не ждёшь
И нет от судеб защиты,
Приходят силы решить: ну что ж,
Мы сами не лыком шиты.

Век – вывихнут, возраст – неизлечим,
Дела и мечты – пустое...
Но вот одна из моих личин
Делает шаг из строя.

И тенью рослой – посторонись,
Когда поведет плечом! –
Суровый воин выходит в жизнь,
В кольчуге, в плаще, с мечом.

Он - тот, который придуман мной,
И, в сущности, лишь мираж, но
Когда он стоит за моей спиной,
То мне ничего не страшно.

Оракул

Текла из скалы вода,
Туман из ущелья рос,
И люди текли сюда
Выкладывая свой вопрос.
Сюда, к паденью без дна,
в реквием по себе,
Пришла однажды она,
с занозой в своей судьбе.
Оракул курил фимиам, по запаху – Беломор.
(Бил колокол по мозгам, ударник врвался в хор)

Огонь у печи раздул, и – к глине, месить саман.
На небо мельком взглянул, сказал ей: "Живи сама!"

Двусмысленно, как всегда.
Но главное, что – живи.
Растает твоя беда,
Как соль, растворясь в крови.

Почему бы нет

А почему б не выдумать тебя?
Ведь выдумал меня однажды кто-то,
И вот – живу в предчувствии полёта,
Неловким клювом перья теребя.
Вот – выдумал! Летать не научил:
Какая блажь, ведь курица не птица.
Да только мне никак не откреститься
От вещей снов, где слышен шелест крыл.
Но птичий двор... В семье подрос птенец,
Среди людей и птиц, но младший в стае...
И всё ему чего-то не хватает,
То рук, то крыльев, то тепла сердец...
А может быть, прошла уже пора
Копаться между грядок суетливо?
Пора глядеться в зеркало залива
И улетать от птичьего двора!
Свой собственный основывая двор,
Поверив крыльям, ветру и простору,
Принять корону, словно приговор,
Примерить – и решить: она мне впору!
Летим со мной! Пора, рога трубят!
Летим, примерь к себе судьбу такую ж!
А если ты пока не существуешь –
То почему б не выдумать себя?

Границы и черты

*Перегородок тонкоробрость
Пройду насквозь, пройду, как свет,
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.*

Б. Пастернак

На перекрестках очертаний,
Где неразборчив силуэт,
Похрустывая кромкой граней,
Предмет вонзается в предмет.

Рассвет уже ведет атаку,
Ночной рассеивая страх,
На сгустки тающего мрака,
Закочневшего в углах.

Но, с резкостью невероятной,
Свой путь как будто бы во сне
Диктует линиям неверным
Излом руки на простыне.

Ты помнишь, милая, ты помнишь:
Притормозив привычный бег,
Часы под утро бьют наотмашь,
И в форточку влетает снег.

Томись до тяжести в затылке —
Разбой минут не удержать,
И роза, спящая в бутылке,
Так нерасчетливо свежа.

Но только выправку констебля
Не сохранит цветок до дна:
Изысканно прямого стебля
Черта водой пресечена.

А мне, без следствий и полиций,
Лицо хранить бы в лепестках

Твоих ладоней, и границы
Пересекать, пересекать...

Одно

...А представь, мы были б с тобой одно –
Не кентавр, не бог из древних легенд,
Но одно – сплетённое – полотно...
Из великих,
Ожившее на момент...
И, незримых связей впитав цемент,
Проросли бы – порознь совсем невмочь! –
Мы в один, но двойственный, элемент,
Осветивший грешную эту ночь...
И, осмелившись, эго в себе губя,
В оболочке на две души –
Запершись,
Мы бы стали бессмертными...
А без тебя –
Ну скажи, какая же это жизнь?



СЕРГЕЙ КУЗНЕЧИХИН

Вырос в центре России: Костромская, Ярославская и Тверская области. После окончания Калининского политехнического института, взял распределение в город Свирск Иркутской области. Потом перебрался в Красноярск. Первое стихотворение напечатал еще школьником. Первая книжица (24 стр.) вышла в Красноярске (в 33 года). Прозу стал писать после женитьбы (в 30 лет). Первый рассказ напечатал в 1981 году в альманахе “Енисей”. Первая книга прозы вышла в издательстве “Советский писатель” (в 44 года).

Принимал активное участие в выпуске книжной серии “Поэты свинцового века”, был составителем сборников А. Барковой, А. Тинякова, Н. Рябеченкова, А. Кутилова.

Составил антологию интимной лирики «Свойства страсти».

Печатался в «Литературной газете», в журналах: “Енисей”, “Дальний Восток”, “Литературная учеба”, “Сибирские огни”, “День и ночь”, “Киевская Русь”, “Радуга”, “Предлог”, “Дети Ра”, “Арион”, в альманахе “День поэзии (1986)” и др...

Тунгусский мотив

Икону в праздничном углу
Прикрыли байковой портянкой,
А сами на чужом полу
Расположились. Злобно тьякает
Хозяйский пес, рычит на дверь,
В которую вошли без страха
Самец и самка, чует зверь
Густой дразнящий запах паха.
А пол холодный. Пол скрипит.
Иконочку, на всякий случай,
Прикрыли и разлили спирт
Противный (теплый и вонючий),
Разбавленный напополам.
Мы не в ладу с сухим законом –
Привыкшие к чужим углам
И не привыкшие к иконам.
А здесь подделка – ну и что ж –

Откуда взяться настоящей?
И между нами тоже ложь
Безбожная – и даже слаще.
А стекла забивает гнус
Густой, что даже штор не надо.
Мне говорил один тунгус,
Что вера их не знает ада.
Им легче лишь на беглый взгляд,
А мы полны другой надеждой.
И этот дом на спуске в ад
Не станет долгою задержкой.
Который день тайга горит.
До неба дым. Глаза слезятся.
А где-то там метеорит
Уже давно готов сорваться.

Голубые ели

Обдирая десны, мы доели
Черствые, скупые бутерброды
И валили голубые ели
В жижу под колеса вездехода.
Злость обезображивала лица.
Топоры звенели все упрямей.
Ели, словно раненые птицы,
Суматошно хлопали ветвями
И распластанно валились наземь,
Молодняк ломая под собою.
А колеса смешивали с грязью
Их ветвей убранство голубое.
И ни с места.
Снова все сначала.
Топоры ярились, дело зная.
Страшно вспомнить, как ожесточала
Красота, почти что неземная.
Собственное варварство бесило,
Было пусто на душе и гадко...
Но машину все же выносило
Из болота по жестокой гати.

Опоздал

Потому, что блуждал между верой с неверием,
Вяз в пирах и в делах, застревал между дел,
Потому, что не часто сверялся со временем
И не знал расписаний (и знать не хотел).

Оправдаться, сказав, что молился лишь поиску?
Где-то так, но боюсь, что причина в другом...
А теперь вот смотрю вслед ушедшему поезду
На виляющий задом последний вагон.

Из-под носа ушел. И какая мне разница
Это рок или случай шутить возжелал.
Я привык.
И пешком можно было б отправиться, –
Не тяжел мой багаж. Но душа тяжела.

Серый день

День, как большой домашний пес,
Разлегся сыто и лениво.
Семейство сереньких берез
Расположилось у залива.

Во мгле туманной пелены
Темнеет ствол трубы фабричной.

И мы

Так тихо влюблены
И так обыденно-привычны,

Спокойные, как этот день,
Мы кажемся сестрой и братом,
И некуда нам руки деть,
Как перед фотоаппаратом.

Неразборчивый почерк

Или тайна меж строчек,
Или белиберда?
Неразборчивый почерк
Некрасив не всегда.

Он порою изящен,
Даже витиеват,
С мастерством настоящим
Буквам выбран наряд.

Завитки, закорючки
Разбежались пестро –
У такой авторучки
Золотое перо.

Ни помарок, ни порчи –
Загляденье. И все ж
До того неразборчив –
Ничего не поймешь.

Стена

Вот уже и нет азарта
Биться в стену головой,
Отложу-ка я на завтра
Этот подвиг трудовой.
Все равно не буду понят,
Благо, что не в первый раз,
Хорошо, что Зойка гонит,
Не взирая на указ,
Превосходную микстуру.
Запах – Боже упаси,
А ее аппаратуру
Хоть на выставку неси.
Капля риска, капля страха
Остальное – чистоган.
А с меня... талон на сахар
К государственным деньгам.
По края наполню флягу
В ноль десятую ведра
И засяду, и не лягу
Аж до самого утра.
Помечтаю и повою
Без вмешательства извне

И с чугунной головою
Вновь приду к своей стене.
Не изжита наша свара,
Распроклятая стена,
Ну-ка, вздрогни от удара
Удалого чугуна.
Ни березка, ни рябина –
Медицинское такси...
Вот такая, брат, судьбина
У поэта на Руси.

Дом с краю

Косо в землю вросшая избушка,
Словно почерневший истукан.
На столе порожняя чекушка
И стакан.

Пара мух ощупывают крошки –
Видно чем-то запах не хорош.
Ни тарелки на столе, ни ложки,
Только нож.

Памяти Аркадия Кутилова

За то, что рано выбрал верный след,
За легкую отточенную строчку
Он должен был погибнуть в двадцать лет,
Но Некто в черном выдумал отсрочку.
Отравлен был лирический герой,
А сам поэт разжалован из строя,
И между первой смертью и второй,
Нес на себе он мертвого героя,
Которого не мог и не хотел
Оставить или тихо спрятать где-то.
И запах обреченности густел,
Бежал за ним, опережал поэта.
Экзотикой всегда увлечены,
Но устают эстет и обыватель.
Друзья редели. Морщились чины.
Шарахался испуганный издатель.

Замками дружно лязгали дома...
Искал подвал, чердак или сарайку.
И лишь гостеприимная тюрьма,
Как милостыню, подавала пайку.



ЛЮСЯ КУЛИКОВСКАЯ

Родилась на Украине в городе Донецке. В 1974 году – первая публикация в газете «Литературная Россия». В 1991 – иммиграция в Израиль и первый сборник эссе под общим названием «Израиль, глазами близорукого». В 2002 году – иммиграция в Новую Зеландию, где были написаны романы « В поисках Родины» и

«Сор из избы». Изданный в 2011 году, сборник повестей и рассказов также, включает в себя тексты песен и романсов, положенных на музыку. В настоящее время готовится к публикации еще одна книга автора.

Я косу отстригла, пошла воевать,
Я в джинсы заправила юбку.
Мне поздно ложится, мне рано вставать
И это не жизнь – мясорубка.

Мы выросли в годы больших перемен:
Мужчины с годами мельчали.
И лишь на экране крутой супермен
Берет на себя все печали.

Исчез недотроги жеманный оскал
Была я скромна, легкокрыла,
А нынче мужчина на ужин позвал –
И ждет, чтоб его оплатила.

Прабабушка наша скромна и робка
Вязала платочки и шали,
А я целый день у плиты, у станка –
Поспать бы, да чтоб не мешали!

И храп джентльмена порой на полу
Мешает, ну разве, соседям,

И даже носки его, те, что в углу
Не мучают запахом леди.

Давайте вернемся к забытым годам
И вспомним, что было вначале –
Мужчины стояли в присутствии дам
Они не места уступали.

Женщина склонилась над кроватью:
«Мамочка, тебе удобно так?»
Рук холодных хрупкое пожатье,
Бой часов, удары сердца в такт.

Так когда-то дочку укрывала
И укладывала мама спать.
Из кусочков шила одеяло,
Чтобы дочке ножки согреть.

Холила, лелеяла, купала,
И вязала свитер по ночам,
Если дочка вдруг заболела –
Бегала в тревоге по врачам.

И сегодня дочкино вниманье
И любовь поддерживают мать.
Видно предусмотрено заранее
Их местами в жизни поменять.

Солнечное лето сменит осень,
Дочери глаза тепло блестят.
Маме скоро девяносто восемь –
Доченьке ее за шестьдесят.

Мир покачнулся, вздрогнул и застыл,
В расширенных зрачках плясали тени.
Еще недавно самолет парил
И где-то ожидали приземленья.

Еще недавно воздух пах травой –
Ни гарью, ни металлом раскаленным.
Здесь пахло возвращением домой
Из выцветшей палатки запыленной.

Полгода в экспедиции, и вот,
Бегут по полю люди догоняя
На взлетной полосе свой самолет –
Так гонится за жертвой волчья стая.

И на бегу ругаются, кричат –
Их возмущенью, гневу нет предела –
Один побрился – вот и результат
Вся группа на посадку не успела.

Осталось лишь молить: Притормози!
Разбег, и самолет уже на взлете:
Открыт закрылок, убраны шасси
И зависть к заменившим их в полете.

Взорвался криком воздух, шар огня
В мгновение смешал металл и жизни,
И покотился по небу, маня
Вслед за собою, к погребальной тризне.

Горящие обломки на земле,
Как выходцы из огненного ада,
И зрители в густой и дымной мгле –
Свидетели смертельного парада.

Они молчали – все до одного,
Тянулись руки к полному стакану,
А после, после к бороде его,
Как спасшему от смерти талисману.

И понимали - все до одного:
Сегодня каждый заново родился.
А он от слез не видел ничего,
Но с той поры он никогда не брился.

Раскинув руки у перил моста
Стояла женщина и на воду смотрела.
Стучала жилка болью у виска,
И отзываясь, отвечало тело.

Ей страшно было ночью на мосту.
А темная вода манила в омут –
Один лишь шаг в пространство, в пустоту,
Как вызов, брошенный всему земному.

Предательству и подлости, тому,
Что к краю нас подводит и порочит.
Она боролась тщетно, потому
Так больше жить не может и не хочет.

Решила осенить себя крестом,
Молитву, прочитав перед уходом.
Рука взлетела, крест на лоб перстом,
Потеря равновесия и в воду.

Казалось, покачнулся прочный мост,
Руки коснулись скользкие перила.
Господь ли спас, молитва ли – вопрос,
Но женщина от края отступила.

Дописать автопортрет,
Кисть не выронив, не бросив.
На холсте оставить след,
Перед тем как кануть в осень.

Неумелые мазки,
Бледно-розовые краски-
Будто первые ростки.
Начиналась все, как в сказке.

Школа, первый вздох любви,
Разочарованье, близость.
Чья-то просьба: «Позови»,
Чья-то подлость, чья-то низость.

Жизнь меняет полутон:
Светло-розовый в лиловый,
Вот и давешний бутон
На картине стал багровым.

Браки, смена стран и лиц,
И попытка жить сначала,
За дрожанием ресниц
Прятать все, о чем мечтала.

Подводить итог пора –
Осень жизни на пороге.
Облетает мишура,
Сердце мечется в тревоге.

Снова светлые тона:
Дети, внучка, и работа
На картине вновь весна -
Ведь еще осталось что-то.

Так много золота в шкатулке набралось
Колечки, серьги, дорогие броши.
Мне надевать их все не довелось
Они между собою так похожи.

Но среди всей пестрящей мишуры
Я дорожу двумя – одно от мамы.
Так много лет минуло с той поры
А я храню его всю жизнь упрямо.

Второе подарил однажды сын.
Пришел домой, и стоя на крылечке:
– Ты любишь бриллианты? – он спросил
И протянул коробочку с колечком.

Его любовью преломленный свет
Был в сто карат, и для моей ладошки
Дороже ничего на свете нет,
Чем эти бриллиантовые крошки



ХЕЙНРИХ ЛАМВОЛЬ

Журналист и поэт. Родился в Эстонии. Закончил Ростовский-на-Дону педагогический институт. Преподавал русский язык, работал в журналистике. Стихи писал всегда. Некоторое время он был вынужден жить и трудиться в Англии. Затем, вернувшись в Эстонию, в результате жизненных перипетий на протяжении

последних двух лет работал в приюте для бездомных животных и, говорят, читал стихи собакам... Весной 2015 года посмертно вышел сборник стихов Хейнриха Ламволя «В заброшенном себе».

Было меня семеро,
Отпускало пятеро,
И еще по-всякому
В снах без задних ног,
Под кустами клевера
Двух конкретно спрятали,
Отыскать прикинутых
Только я и смог,
Звались фараонами,
Но внутри простейшие,
Горизонты двигали
Мы к ноздре ноздря,
А под утро тропами
Уходили к лешему,
Знавшего по правилам
Как забить гвоздя,
Уходили общими
За единым факелом,
Но когда приспичило,
Где-то в центре Ло,
На воскресной площади
С рук кормили ангелов,
С губ поили ангелов,
Каждый – своего

Вот что ты скажешь, если за окном
Весь зимний день, да что там день – неделю
Льет из ведра, как-будто здесь Содом,
Пора тушить грехи и звать Емелю,
А тот считает ночи на печи,
Тому любое дело не по делу,
В его пространстве могут палачи
Дудеть бесперестанно в вувузелу,
Хотя дожди и в Лондоне дожди,
Смывается последняя из точек,
И, вроде, надо крикнуть: Подожди!,
Но был убит вчера водопроводчик,
Ну, как убит... за бороду подвешен
В Гайд-парке при стечении зевак
Для той одной из всех возможных женщин,
Что разбавляет памятью коньяк,
Тем кончен бал. Под тяжестью вериг,
Любимая, ты видишь, я в остатке,
По фазе и по факту, правда, сдвиг
В иную ипостась, где пытки – сладки,
Где люди «fuck» и люди, типа, «please»,
Объединившись под Смотрящим В Оба,
Мне обещали самый главный приз
За собранные крышечки от гроба

А, говорят, на родине снега,
Метет, мороз и женщины под шубой,
Готовые хоть к черту на рога,
Но чтобы он с улыбкой белозубой
Им приносил горячий шоколад
И прочее для чуточку согреться,
А после можно снова в этот ад,
Где стынет кровь и ледяное сердце,
А, говорят, на родине февраль,
Обрезанный, но все равно длиннее,
Чем очередь из верящих в Грааль
И тамплиеров в чреве Мавзолея,

Нет вечности, сквозь пальцы все вода –
Так убеждали Заратустру йоги,
Когда зачем-то грызли провода
Между добром и злом с Большой Дороги,
Не спрашивай меня «Ну, как ты там?»,
Нормально! Будни ветренны и склизки,
Зато понятен чаще по утрам
Секрет ухода чисто по-английски,
Посредника же следует убить,
Теперь пусть в третьем мире правит эго,
Не провода, но тоже рвется нить
И больше нет ни родины, ни снега

Я горд в заброшенном себе
Лелеять временные складки,
Мой друг, бросай свои повадки
И вниз спускайся по трубе,
Не водосточной, а прямой,
Как рукописный след на снеге,
В грудном кармане обереги
Пусть возвратят тебя домой,
Там и ее приговоришь,
Других полно, не все так страшно,
Вон, даже Эйфелева башня,
Раздвинув ноги, ждет Париж,
При колебаниях стены
И содержимого во фляжке,
Неправда, светел путь не тяжкий,
А с крыши до моей спины

Исхудало, исходило
Без чулка на стройной ножке,
Кто-то машет мне кадиллом
Из окошка неотложки,
То ли запах, толь отпели –
Не сумел я разобраться,
Иглы в вены, словно дрели,

Стали вдруг в меня внедряться,
Больше что-то неохота,
Дольше тоже не случилось,
Не икота, не блевота,
Так...
Дышать...
Не получилось

Я к тебе отдаляюсь все ближе,
От тебя приближаюсь все дальше,
Начитавшись признательных книжек,
Но без риска попасться на фальши,
Я не вру. В этом смысл и загвоздка,
Можно - поза в пространстве безликом,
Помнишь труп посреди перекрестка
В круге женщин, страдающих криком?
Ну... где долго искался владелец
Изувеченной рифмами плоти,
Ни за что, но конкретный сиделец
На просроченном автопилоте,
Ты тогда еще всех пожалела,
От дождя прикрывая останки,
Приспособив под мокрое дело
Нефартовую юбку цыганки,
Был расчет на «никто не заметит»,
Типа, сами мы здесь непонятно,
А что вдруг оказались на смерти,
Так и в правде случаются пятна,
Подсознанию как там в кармане?
Ведь его ты с сиренами сперла,
Пока люди крестились в тумане
И точились медбратьями сверла,
Под шумок топ атоуг понимала
Без чего невозможно поэта,
Без чего невозможно финала,
Даже если любовь не допета,
Танец с выходом, белый от чувства,
Два прихлопа и полупритопа,

Каблучками по цели до хруста,
В черепную мишень мизантропа,
Что теперь? А теперь вновь босая
По привычному так бездорожью
Одинок бредешь, зависая
Между жизнью и собственной ложью

Земля... Земля... Как много в этом грязи
Дождливой ночью полем напралом,
Когда все мысли тонут в непролази,
А вместо сердца пламенный облом,
Куда ни шаг - везде одни итоги,
Куда ни два – земля опять кругла,
И постоянство внутренней тревоги,
И неизменность тупости угла,
Чему не быть, того и быть не должно,
Все лишнее за борт, на дно, в изгой,
Признать в себе ненужность просто-сложно,
Но лучше сам, чем кто-нибудь другой,
Земля... Земля... Как много в этом – вечно,
Последней точкой станет город Ло,
И никого шагающих по встречной,
И тишина.
И страшно.
И светло!

Ляг. Замолчи. И стань частью зимы.
Декабрь впремежку со снегом – музыка дна,
Тени тронулись в путь. Это странные мы
Еще веруем в небо и в то, что дана
Одинокая правда сгоревших свечей
Всем ушедшим к воде от пустого причала,
В переполненных спальнях ненужных ночей
Потолок – наш мольберт. Начинаем сначала



ЛЮДМИЛА МАТВЕЕВА

Родилась в Казахстане. Археолог. Сделала самостоятельное археологическое открытие в Хорезме. Четверо детей: сын, сноха, внук, племянница. Им и посвящала первые стихи и сказки. До приезда в Австралию работала на радио города Ташкента, как оператор и участник

литературно – поэтических программ на русском и узбекском языках.

и что же?

Дело к отпуску и что же?
Полетим, где подороже.
Что б сорвать приличный кущ,
Нужно ехать в Моленруш.
А какой же Моленруш,
Если рядом будет муж?
Объяснить ему доступно:
Моленруш – такая глушь!
На сто верст такая тишь:
На оленях не доедешь,
На метле не долетишь.
Нет джакузи, нет бассейна,
В сутки раз холодный душ –
Это все про Моленруш.
И еще: кормить не будут,
Лишь компот из старых груш.
Собирай-ка чемодан
Отправляйся в Магадан,
Набери ведро грибочков,
В зиму их посолим в бочку.
Не бунтуй! Умерь-ка жар!
Можешь выбрать Сыктывкар!
Там – рыбалка, там – охота,
И, как на море, загар..
Но! Если муж объелся груш,
Отпустите в Моленруш:
Там на каждого мужчину –
По десятку дамских душ.

бессоница

Друзья мои, вы видели бессонницу?
Она опять сидит на подоконнице.
Сидит, карга, беззубо улыбается
И уходить совсем не собирается.

Не лезь ко мне в друзья и не выстаивай,
В прихожей, приходя с немецкой точностью,
Настойчиво меня не уговаривай,
Делить с тобой не буду одиночества.

Я так люблю в постельке мягкой нежиться,
Ложиться рано и вставать до солнышка,
Гулять в лучах по травяной безбрежности,
И выпивать росу с листа до доньшка.

Напрасно думаешь, тревожная бессонница,
Что все тебе подвластно и покорно,
Турну тебя без угрызений совести,
А утро встречу бодро и задорно!

дружная семья

У телят пахнет носик теплым молочком,
Поросята роют землю мягким пяточком.
Вот цыпленок ищет что-то – золотистый пух,
Рядом папа ходит гордо, гоголем – петух.

Мама-курочка хлопчет во дворе весь день:
У нее десяток деток вывелось в гнезде.
А утята, сбросив тапки, к озеру бегут.
Там помогут свои лапки, червячка найдут.

Щуря глазки, на окошке, кисонька сидит,
Она думает о жизни, на цыплят глядит.
Рыжий Бобик чутко дремлет, лежа под кустом:
Он не спит, трудяга честный, охраняет дом.



БОРИС МАРКОВСКИЙ

Родился в Киеве. С 1994 года живет в Германии. В 2002 г. В издательстве «Алатейя» (СПб.) вышла книга стихов и переводов «Пока живу, надеюсь». В 2006 в том же издательстве – книга избранных стихов и переводов «В трех шагах от снегопада».

С 1998 года – главный редактор и издатель международного литературного журнала

«Крещатик»

Случайные строфы

1

Зима всю ночь рисует на стекле
фламандские тяжелые узоры,
дремучие норвежские пейзажи,
суровые готические крыши,
украшенные инеем и даже
порою пишет вязью в уголке,
объединив два разных алфавита,
слова на арамейском языке,
уже не помня, видимо, иврита.

2

Нам не хватает фауны и флоры
в фарфоровом от снега феврале,
их заменяют карты, разговоры,
тяжелые муаровые шторы,
на ум приходят (дело в рифме) шпоры
или поездки к морю в «шевроле»...

3

Здесь повсюду глыбы льда...
Спите, звери Зодиака,
вам нельзя входить сюда.
Знаю, Тигр или Собака
мне не причинят вреда.

Жизнь, казалось, никогда
не закончится, однако
в небе дрогнула звезда
где-то там, в созвездье Рака
и исчезла навсегда...

4

Ветер. Снег. Светло и пусто.
Никого. Один. Так надо.
Юность, молодость, искусство,
всё – лишь промельк снегопада.

Хлопья падают так густо –
в трех шагах не видно сада...
Помнишь, у Марсея Пруста?
Или – у маркиза Сада?

Снегопад приводит в чувство,
он – как высшая награда...
Вполнакала светит люстра
в трех шагах от снегопада.

5

Ветер. Ночь. Забор. Качели.
Снег. Чугунная ограда.
Я стою почти у цели –
в трех шагах от снегопада.

Лампа светит еле-еле,
гаснет без предупрежденья...
Я стою почти у цели –
в трех шагах от поражения.

На стене – фарфор из Гжели,
сувениры из Торонто...
Я стою почти у цели –
в трех шагах от горизонта.

Стансы

I

Сентябрь сгорел наполовину,
уже мерещится февраль...
Пока небесная эмаль...
Пишу письмо калмыку-финну,
рифмую слезы и слова.
Не вы ль? Увы, не вы... Нева
в гранитный берег бьет волной,
и Днепр широкий в дымке тает...
Листок летит над головой –
куда, зачем? – никто не знает.

II

Казалось, жизнь давно прошла.
Листва поблекла, облетела...
Три ивы, чахлая ветла,
но мне-то, мне какое дело
(как говорил один пиит)
до госпитальных этих плит,
до этих плакальщиц-берез,
до сумасшедших этих сосен...
Листву последнюю мороз
скосил, а я-то думал: осень.

III

Увы, не пастырь, не пастух...
Зачем, седобородый мальчик,
в кругу кладбищенских старух
сидишь, один?.. Айда в подвальчик!
там наливают... раз-два-три...
повсюду мраморные жилки,
горит окошечко внутри,
торчат железные опилки,
горчит вино, и карамель
во рту... Февраль?.. Или апрель?

IV

Я так скажу, лицом суров:
вам нужен флаг, мне нужен кров!
Я помню сумрачное лето –
смесь Боттичелли и Ватто
(спасибо, Господи, за то,
что подарил мне столько света!)
и мрачный деревенский дом,
где муравьи, как самураи,
ползли сквозь влажный бурелом
вдоль бревен дряхлого сарая.

V

Еще не там, уже не здесь,
еще нигде, уже повсюду,
как этот клен полураздет,
клянусь: я был, я емь, я буду!
Мне кажется, я был всегда...
Опять железная звезда
с лицом бурята или монгола
взойдет над жертвенной Землей,
чтоб пасть на города и сёла,
покрыть их царственной золой.

Отцу

На задворках Европы, в крестьянской глуши,
на высоком холме – за чужие гроши –
ты оставлен лежать навсегда в феврале
в неподатливой, жесткой и мерзлой земле.
Над тобою, как прежде, плывут облака.
Сон глубок, и могила твоя глубока.

И если память мне не изменяет,
я счастлив был лишь в детстве. Это значит:
жизнь близится к концу.
С ума сошла не только эта роца
со вздыбленными волосами,
охапки листьев прячущая в снег, –

я тоже медленно схожу с ума,
хотя и выгляжу вполне счастливым...
Как прежде подхожу к календарю
и день за днем беспечно отрываю.

Дочери

Неподалеку – кладбище. На холм
взбираюсь часто к сумрачной могиле,
где спит отец; на ней три кипариса
посажены заботливой рукой...

Так и живем в печальном захолустье:

я целый день читаю детективы,
перевожу на русский Гёльдерлина
и у тебя учусь невнятным фразам:

Entschuldigung, ich habe eine Frage...

А ты уже щебечешь по-немецки,
приносишь в дневнике одни «пятерки»
и забываешь русский понемногу...

Лишь я твержу на память, как безумный,
обрывки строк, где слово *смерть* мелькает
так часто, что мне кажется порой:
я мертв давно, и ты мне только снишься.

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

Матери

Легка на помине, как солнечный луч на поляне,
как пляшущий полдень, как полдник в высокой траве,
как скрипка кузнечика, как из-за леса – цыгане,
как память о детстве, о снежном его колдовстве.

Осталось не много: осталось спокойное эхо.

Ни дома, ни сада, ни пепла...

Лишь память о том,
как долго звучат колокольчики детского смеха,
когда молчаливый отец возвращается в дом.

Вот и двери состарились, и обносились портьеры
в этом доме старинном, где столько просыпалось лет,
где в прихожей колеблется свет, то пурпурово-серый,
то, как свет от звезды, то, как солнца замедленный свет;

в этом доме старинном, где дует из окон, где фразу
от простуженных кресел сквозняк вдруг унес в коридор,
чтобы там заблудиться в пространстве из пауз, и сразу
возвратиться на место, поскольку – таков уговор;

в этом доме мы встретимся вновь через пару столетий,
через несколько дней или лет, или даже минут,
чтоб уже никогда не забыть этот вихрь междометий,
вихрь бессмысленных слов, что уже никогда не умрут.

* * *

«Не пишешь, не пишешь, не пишешь...»

О чем же тебе написать?..

О том ли, что ветер над крышей
листву заставляет летать?

О том ли, как мне одиноко
в неприбранном доме-тюрьме?..

Ты помнишь, у раннего Блока,
а может быть, у Малларме?

Всё та же, всё та же морока,
вселенская хворь или хмарь.

Кромешная музыка Блока,
аптека, брусчатка, фонарь...



БЕРТА МИХАЙЛИЧ

Родилась и выросла на Украине, в городе Киеве. Там же 40 лет проработала врачом - реаниматологом на станции скорой медицинской помощи, где лечила, учила, руководила. Первое желание писать стихи появилось с рождением внука. О нем и для него первая подборка детских стихов. Не писалось почти 20 лет. И только в

Мельбурне меня вновь посетило вдохновение. И теперь я пишу много и обо всем.

Нынче в доме абсолютно спокойно
Все здоровы, обуты, одеты.
И не просто одеты – а модно,
Даже я надеваю браслеты.

Кто работает, а кто еще учится,
Развлекаются в свободное время.
А мое “развлечение” – улица
И прогулки (как тяжелое бремя).

А когда остаюсь я дома,
Ожидая хорошей погоды,
Как мне хочется чего-то особенного,
Разгуляться мешают мне годы.

Сняла кольцо, сняла браслет
И положила рядом.
Я со свидания пришла
И ничему не рада.

Поговорили обо всем
Без грубости и лести,
Потом решили, наконец, –
Не будем больше вместе.

Я помню все до мелочей,
Хотя прошло полвека.
Теперь смешно – но в ту пору
Мне было не до смеха.

Сегодня подарил подарок –
Изысканное украшение.
От удивленья чуть не плачу,
И не могу я скрыть волнение.

Я не пойму – как догадался
Купить мне то, о чем мечтала,
Но долгожданное “люблю”,
Когда дарил, не прозвучало.

Я прочитала стих трем близким мне друзьям,
Надеясь на вердикт отличный.
Но первый вдруг сказал:
– Стих плох до неприличия,
Второй с ним согласился,
А третий промолчал.

Перечитала стих я вновь и вновь,
Пытаясь отыскать в нем недостатки,
Хоть первый и второй вердикт дают несладкий –
Волнует третий – что он не сказал.

Веселым был мой день рожденья в двадцать лет.
Друзья, неприхотливые подарки, танцы.
И он пришел, сказал: «Привет»,
И я мгновенно залилась румянцем.

Теперь мой день рожденья чуть грустней
Не от того что я обделена вниманьем –
Подарки, ужин, поздравления друзей.
Печалит возраст и о нем воспоминанья

Друзья волнуются – не бережешь здоровье –
Поздно ложишься и рано встаешь,
Овощам и фруктам предпочитаешь мучное
И ежедневно кофе ты пьешь.

Друзья удивляются – мало гуляешь,
Не получаешь солнца лучи
И поликлинику не посещаешь,
Забыв что в ней существуют врачи.

Я объясняю – жизнь коротка,
Ложиться рано – проспичь ее вовсе,
Здоровая пища – ерунда
Я хочу получать от еды удовольствие.

Посещать поликлинику – не спешу,
Кстати, не врачь душу лечит.
Лучше я новый стих напишу
И прочту его вам при скорой встрече.

Это был удивительный вечер –
Очень теплый и звезды мерцали,
Мы ходили по темной аллее,
Говорить не хотелось – молчали.

Накануне, забыв все обиды,
Мы решили начать все сначала.
Это был удивительный вечер –
Только грустно, что жизнь – пробежала.

Ночью меня разбудил телефонный звонок –
Резкий, тревожный.
Хватаю трубку – думала, – ты,
Нет, женский голос:
Поговорить с вами можно?

Я с волнением – «Кто вы, откуда?
Почему ночью, кто вам нужен?»
Она – «Мне нужен совет – я посорилась с мужем».
Может и мне разбудить кого-нибудь ночью,
И закричать, что скучаю за тобой, очень.

Март – здесь уже осень,
Но это удивительный месяц.
Мягкий, теплый, спокойный,
Пронизанный ветром морским.

Он весь в золотых узорах
Из желтых упавших листьев.
Я родилась в этом месяце,
И это роднит меня с ним.

Восьмое марта – женский день,
Но мне сегодня грустно очень.
Я вспомнила как подарил –
Букет из веток нежных почек.

Был солнечный весенний день,
Подснежники в руках прохожих.
Я не забуду этот день,
На все другие не похожий.



ВАДИМ МОЛОДЫЙ

Родился, жил и работал в Москве. По образованию – врач-психиатр. Совмещал лечебную, научную и литературную деятельность, занимался психопатологией художественного творчества. Печатался в СССР и на Западе. С 1990 года живет в Чикаго. Член Парламента сайта «Век перевода», ответственный за связи с авторами Западного

полушария, член редколлегии журналов «Белый Ворон» и «Плавающий мост», главный редактор и издатель альманаха «Слова, слова, слова» (Чикаго–Москва).. В 2010 г. в чикагском издательстве «Art 40» вышла книга стихотворений Вадима Молодого с иллюстрациями Б. Заборова. В 2013 г. издательство «Водолей» выпустило книгу стихотворений «Споры с Мнемозиной», в 2015 – книгу «Посвящения».

Георгию Фрумкеру

Ревет верблюд, шумит ковыль,
щебечут в небе птичьи хоры,
а где-то загибают пыль
кривые ноги Терпсихоры.

Я ж, укрепив свой скорбный дух,
страдаю, благостным и чинным,
нимфоманических старух
ножом строгою перочинным.

И наяву или во сне,
в чем, впрочем, разница – не знаю,
присев на грязном валуне,
я трепещу и проклиная.

А между тем, пришла весна.
Потом прошла. Июль. Морозы.
Опушка. Волчий вой. Сосна.
Бабы надрывные невроты.

А вот и осень. Стынет кровь.
Поэт сбегает из Олонца.

И про любовь поет свекровь
альтернативного чухонца...

Александр Вустину

Приятеля Сальери вопрошал:
«Почто травить себя ты не мешал?»

С улыбкой Моцарт отвечал ему:
«Я твоего вопроса не пойму.

Тебе безмерно благодарен я –
ты разорвал оковы бытия

земного. И теперь на небесах
я буду петь, забыв про стыд и страх...»

Елене Данциной

Выходит кататоник на крыльцо.
Впадает в ступор. Мутное лицо

не выражает подвигов души,
но до чего же позы хороши!

Он то замрет, как пьяный акробат,
то ногу задерет. Ты знаешь, брат

мой нездоровый, он ведь тоже прав,
показывая свой беспутный нрав...

А я перехожу с судьбой на «ты» –
деменция не терпит суеты...

Собаке Баскервилей

И
Страдает печень. Рушатся мозги.
Тоска. Темно. Не видно Божьей зги.

Болит душа и в теле тоже боль,
но помогает выжить алкоголь.

Мой кенотаф прохожий обойди.
Земля намокла. Лег туман. Дожди.

Болота. Топи. Тина. Пустота.
Мычит скотина. Видно – неспроста.

II

Бежит дорога. Рвется шум колес.
Летит, горя, по следу адский пёс.

Пускает пули пламенный стрелок,
но не изменит будущего рок.

Убить собаку – подвиг невелик,
рыдает демон, пряча в лапах лик,

старуха машет ржавым топором,
старик выпускает души на паром...

Ксении Драгунской

Сжимает горло ржавое кольцо,
чужая смерть выходит на крыльцо,

оркестр играет траурную муть,
пойдите на хуй! Дайте отдохнуть.

Горят зрачки невиданных зверей,
пугает скрип несмазанных дверей,

и снова смерть выходит на крыльцо,
и снова душит ржавое кольцо.



МИХАИЛ (МИХАСЬ) ПОЗДНЯКОВ

Поэт, прозаик, критик, исследователь литературы. Родился в Белоруссии. Окончил филологический факультет Белгосуниверситета. Работал главным редактором издательства «Юнацтво», сатирического журнала «Вожык», журнала «Нёман». Секретарь Правления Союза писателей Беларуси. Автор около

восемьдесят книг на белорусском и русском языках для юных и взрослых читателей. Лауреат ряда республиканских литературных. Премий. В качестве ученого-исследователя составил академический “Словарь эпитетов белорусского литературного языка” (1988), является одним из авторов русско-белорусского и белорусско-русского орфографических словарей (1992, 1994).

Живет в Минске.

Приеду я домой и ахну:
Сирень цветет, сиренью пахнет.
Под белым облаком сирени
Дома, как будто в белой пене.
Всё в белом – на крыльце и крыше,
Сиренью вся округа дышит.
Пропахли запахом сирени
И луг, и женские колени...
О, диво-дивное! Родная!
Когда мы свидимся – не знаю...
Как жаль, что нет тебя со мною
Ночной сиреневой порою...

Дарите, дарите любимым
Цветов луговых благодать,
Черемуху с розовым дымом,
Озер соловьиною гладь.

Дарите любимым, дарите
Прохладу мелодий лесных,

Звезду, утонувшую в жите,
Улыбку – одну на двоих.

Ни камни дарите, ни злато,
А то, что не купишь никак:
Росинку в кувшинке щербатой,
Березовый вешний сквозняк.

Дарите полет журавлиный,
Криничных лугов доброту,
Багряные гроздья рябины,
Сады в белоснежном цвету.

Дарите... Пусть небо утонет
В зрачках, что верны до конца.
Дарите сердца и ладони...
Сердца и ладони... Сердца...

«Найдите время для любви...»

Валентина Поликанина

Всё мы заняты... Не до любви нам,
Для высокого времени нет,
Чтоб шагать по весне пилигримом,
Будто песню, встречая рассвет.

Всё мы заняты... Не до признаний
Средь разлада, бездушья и зла.
И скользит мимо нас этот ранний
Свет небесный... И нету светла.

Всё мы заняты... Некогда душам
Ощущать и любовь, и добро,
Если мир нелюбовью задушен,
А высокое – это старо...

Чистоту и невинность брезгливо
Топчет злобный и яростный век.

А любовь?.. Не она ль сиротливо
Тихо шепчет: «Ты где, человек?..»

Но я верю, что солнышко брызнет,
Сердцу скажет: «Любовь позови!»,
Чтобы светлая радуга жизни
Возносилась на крыльях любви.

Я вернулся, мама!
Как огромен свет!
Я счастливый самый –
Мне семнадцать лет.

Мама – молодая,
Счастливы глаза.
На плечо спадает
Русая коса.

Аромат медовый
Отчей стороны...
Всё здесь родниково –
Помыслы и сны.

Здесь янтарны росы,
И в купель зари
Катятся с откоса
Эти янтари.

Терпко пахнет мята...
Не солгав, скажу,
Что в родную хату,
Будто в Храм, вхожу.

Ночью ж сон упрямо
Снится – я босой,
А навстречу мама
С русою косой.

Приедь, я покажу тебе края,
Где выше окон выросла крапива,
Где только эхо, грусти не тая,
На голос мой ответит сиротливо...

Где лозняком захвачены сады,
Где правит одичавшая природа,
Где рушатся колодцы без воды,
Где ты... Душа... И таинство восхода...

А воздух! – хоть в бокалы наливай,
Июльский свет светлей любой светлыни...
Приедь... Я покажу не край, а рай,
Где боль моя нахлынет и отхлынет...

Молодик неугомонный...
Сад заброшен... Грустный вид...
Клен слабеющую крону
Над хатенкою клонит.

Лишь сова за дальней ивой
Всё хохочет сквозь года,
И дворняга ей лениво
Отвечает иногда...

По деревне опустелой,
Где три хаты на версту,
Редким путником несмелым,
Растревоженный, иду.

Тьма колючая такая!
И деревня, ей под стать,
Всё меня не замечает
Иль не хочет замечать...

Обогну родную хату,
Погляжу за окоём,

И заплачу виновато
Об Отечестве своем.

Вечером

Вечер июльский.
Соцветий бальзамный настой.
Тени на луг опустились
легко и дремотно.
Горло грачи всё полощут
целебной росой,
Тихий туман
Расстиляет вдоль речки полотна.

Небо на западе
Розовый цедит сироп.
Песню завел соловей
о любви позабытой.
Вспомнилась мама,
и мамин душистый укроп,
Вспомнился ветер,
Колышущий спелое жито.

Ночь наплывает
На лес, на округу, на дол.
Всходит луна,
будто кошка, лениво мигая...
Ветви кольшутся...
Кто-то незримый прошел
Вдаль с фонарем
И звезду за звездой зажигает...

В Мраморном море

Такое позабыть не просто –
Теперь забудется не скоро,
Как, будто парус, светлый остров
Парил среди синего простора.

Негромко музыка звучала –
Светло, торжественно и нежно,

И с морем нас соединяла,
С его простором безмятежным.

А сердце чайкой белокрылой
Парило, мучилось, летело...
И вновь от счастья голосило,
И в волны броситься хотело.

Чтоб ими тешиться от страсти,
Чтоб в душах оживали звуки--
Недолгой музыкою счастья
Средь вечной музыки разлуки.

Забродье, милое Забродье,
Поклон мой искренний прими.
Я кланяюсь твоей природе,
Горжусь простором и людьми.

Сегодня пусто здесь... Не стало
Людей... Прервалась жизни нить.
Зато могу с тобой, усталый,
Я по душам поговорить.

Стоит березка одиноко
У покосившихся ворот.
Колодец пересох до срока...
Полью водой березку... Пьет...

Остановлюсь под старым кленом,
Как перед мудростью земной.
О, сколько в шелесте зеленом
Тревоги, светлой и святой!

Бреду по улочке... Немею:
Звенит здесь искренность во всем.
Я без Забродья – не сумею,
Мы живы, если мы – вдвоем...

...О смерти говорить не будем,
Сегодня я о доброте.
Я все раздам хорошим людям
На жизнь венчающей черте.

Всё, чтобы сыном быть Отчизне,
А маме – шустрым огольцом.
Друзьям – надёжным другом в жизни,
Домашним – мужем и отцом.

И недругам не пожелаю
Ни горя, ни беды, ни слез.
Пусть дружба ширится – святая,
Как шелест утренних берез.

Всё так... Я не смогу иначе,
Иначе – жизнь не благодать.
И чем я делаюсь богаче,
Тем больше жаждется отдать!

Улыбку попрошу в награду,
Надежду... Больше ничего.
Иной мне истины не надо,
Я – счастлив... Только и всего...

*Перевел с белорусского
Анатолий Аврутин*



ВАЛЕРИЙ СИКОРСКИЙ

Родился 4.10.52 в городе Находка, Приморский край.

Образование – среднетехническое.

Специализация – ремонт производственного оборудования.

Техник – механик.

Как замерзающий к костру,
как верующий в Мекку,
так я к собратьям по перу
иду в библиотеку.
К ним: попривыкшим к тишине,
похвалам, кривотолкам,
к различным по величине,
к расставленным по полкам.
Душа моя не издаёт
ни шороха, ни вздоха.
И как быть ей? – ведь здесь живёт
прошедшая эпоха.
Не истребить из сердца грусть –
ликую и стенаю!
Одних я знаю наизусть,
других совсем не знаю.
Сумеешь если, с ними встань,
к их причастись баптизму,
но перед тем, отдавши дань
индивидуализму.
Они: в потёртых сюртуках,
папахах, эполетах,
кто на храпящих рысаках,
а кто пешком, в штиблетах,
к тебе приблизиться хотят.
Сотри времён границы,
коснись их и заговорят
историей страницы.
Слипаясь или расходясь,
пролистываясь кучно,

с тобой налаживают связь
они собственноручно.
Да будет щепкою в костре,
продлив его горение
на поэтической заре
твоё стихотворение.

Реакция на фильмы ужасов.

Вампир, он девушку поймает,
Ей грубо руки заламает,
Вопьётся в шею, покусает,
Потискает...и отпускает!
А оскорбленная – заметим –
Совсем не заломленьем этим,
Воскликнув негодуя: "АХ!" –
Вампира в пах ногою бах!
Что почерпнуть из сей морали?
Чтоб просто так не приставали.
Коль не имеешь нужной штуки,
Зачем заламываешь руки?

Спи моё дитяtko, дитяtko сладкое
в полном сияньи луны.
Пусть до утра над твоею кроваткою
кружат волшебные сны:
белый кораблик под парусом аленьким,
серый журавль в облаках.
Вырастешь ты и забудешь, как маленьким
был у меня на руках.
Трудно прожить по добру и по совести,
всё в этой жизни терпя.
Прячется счастье, а беды и горести
сами отыщут тебя.
Пусть тебе снятся просторы безбрежные,
где и тепло, и легко.
Завтра проснешься, а сны безмятежные
будут уже далеко!

Пусть до утра злые ветра
добрые песни поют.
Пусть до утра злые ветра
поберегут твой уют.
Спи моё дитячко!

Проводила мать сыночка в армию служить...
Поседела в одну ночь. Лучше б ей не жить.
Полюбил её сынуля голубой берет,
Но нашла сынулю пуля и сынули нет!
Не обнимет мать ребёнка никогда теперь –
Прилетела похоронка, проломилась дверь.
Видит мать лицо сынули в убранном гробу
И находит след от пули на сыновьем лбу.
Русый волос на проборе обрамляет лоб.
В чёрном траурном уборе окаймлённый гроб.
А вокруг друзья, невеста встали в караул.
И прощальный гул оркестра, как орудий гул.
А за дальним перевалом, тоже, чья-то мать
Тихо шла с лицом усталым сына отпевать.
Доля роковая и спасенья нет.
Женщина, рыдая, клянет белый свет.
Надрывает душу, бедная, всю ночь.
Некому услышать, некому помочь.
И от напряженья безутешных дум
пошатнулся разум, помутился ум.
Свет в её жилище до утра горит.
Женщина рыдает, с Богом говорит.
Женщина рыдает, женщина больна,
женщина не знает в чем её вина.
Видно нету Бога. Миром правит Бес.
Не пронять молитвой пустоты небес.

Песенка старпома

На траверзе мыса какая-то "крыса"
фарватером нашим ползёт.
Болит голова, а супруга Лариса
давно телеграммы не шлёт.

Как кошка весною, меж кэпом и мною,
буфетчица Лида прошла.
Воротят все морду –
ведь стали ни к чёрту
рыбацкие наши дела.
Молчат эхолоты, а мы, без работы,
готовы друг друга лупить.
На всё, что скопили, мы б рыбы купили,
да негде нам рыбы купить!
Затея пустая, но, лоций листая
страницы мы верим и ждём,
что именно к нам, хоть минтаева стая,
просьпется пёстрым дождём.
И пусть мы устанем, но добрыми станем
под трудный разбег ваеров.
Мы, споря с судьбою, упрямо тараним
Упругую сетку ветров.

Предстоящая разлука
с нас сняла любой запрет.
Мы закрылись. К нам без стука
не входить! Погашен свет.
И как просто и серьёзно
ты расстёгиваешься,
молчаливо и безслёзно
на постель клонишься вся.
Где ж девалась непорочность
досаждающая мне?
Бьёт рассчётливая точность.
Знать разгадка в этом дне!/?
Где же та стыда граница,
целомудренный предел,
сквозь которые пробиться,
я три года, не умел?
Значит, гены практицизма
с дня рожденья в каждой есть
и пусты для организма
строгий нрав, стыдливость, честь.

Знать, известно им заране,
что для нас и невдомёк,
где, когда, какие грани
заступить приходит срок.
И, ровесницы годами,
нас они куда старей.
Между нас, как меж рядами,
зрят они скользнуть скорей.
И, скользя с улыбкой скромной,
мостят стёжку по судьбе,
как на ярмарке огромной,
выбирая по себе.



СЕРГЕЙ СЛЕПУХИН

Поэт и художник. Автор нескольких книг стихов. Публиковался в журналах «Звезда», «Знамя», «Арион» и многих других. Редактор литературного альманаха «Белый ворон», удостоенного 1-й премии в международном конкурсе «Лучшая книга года» Берлин 2012.

Вергилий

Слетает птицекрыл с квитанцией от бога
на божий свет взаимы, золоторунный век.
Младенец мирно спит. Четвертая эклога:
Жди, человек.

Вся в золоте листвы приходит осень снится,
не разгадать ее пророчеств никогда,
патруль границ и меж, над головою птица,
с небес – вода.

Этрусских дисциплин почтенный мантуанец,
где царствие твое, пророчества руда?
Крошит в песок базальт и слущивает сланец,
вода,

«Фарсалия» времен, и камни межевые
обманутых богов несет поток с горы
в Перузию руин, и мы с тобой живые –
лишь до поры...

Шелли

Ты, посетивший смутные места,
Мне рассказал о каменном колоссе,
Почившем за пределом пустоты
В малиновом от ужаса Востоке.
...Песком сбегало время под уклон,
Одетый в золотую кожу света,
Пустыни Озимандис, Царь Царей,
Восстал из контура неровной синей тени.
Голеностопы попирали остов

Увязшего в пространстве мегалита,
В подножье развалилась голова,
Страх заставлял вращаться небосвод.
Витийствовали губы медным светом:
«Воззри, скиталец, бесприютный духом,
На то, как смерть приобретает форму
В распаде тел, висящих в пустоте.
Я, закрывавший солнце царским пальцем,
Теперь лишь точка сна и невозврата,
Изъятая из праздного соблазна
Навечно быть заменой огня.
В самом себе мне многое открылось:
Свет жизни скуден, рассечён на части,
Он крошится в расточенном пространстве
На лепет, шорох, суету теней».

Гоголь

Он задумчивая птица – тонкий нос и белый локон,
Пара карих, очень острых, утомленных в глубине.
Выезжает на прогулку, под ногами праздный Невский,
Гулко цокают сапожки, их имеет десять пар.
Не по моде и без вкуса, машет палкою неловко,
То ли аист, то ли цапля, то ли птица-секретарь.
Неприветливо, небрежно, свысока и плутовато,
Гладко стрижены височки, чисто выбриты усы.
Нос ли, клюв, пристроив в бездну, море бурное людское,
Ловит рыбку и бросает в пеликаний свой мешок.
А потом круги мотает и разводит на конторке,
Вяжет почерком некрупным искривленную комедь.
Свет ползет к Неве угрозой, звезды голые глотает,
Загорается недобрым и зеленым изнутри,
И отрывает в сумрак убиенного котенка
И ползет, ползет, не гаснет криком с палкою в руке.

Мицкевич

Палатки, лагерь в миле от Скутари,
Барышники, турецкие торговцы,
солдаты, лошади, обозные телеги,
взбираются к нагорью, в лазарет.

Мундиры обтрепались, прохудились,
глаза запали, черные, как черти,
покойники завернуты в попоны,
арбы и флаги, полусгнивший пирс.

Разнеженные виллы тают в дымке,
по фосфорным грядам кипит дорожка –
купают море заспанное солнце,
мечети, кипарисы и сады.

А здесь – война, отбросы, хляби, крысы,
мир затопляет хилый свет с Востока,
и покидает левантийский берег
труп лошади под балдахином мух.

Одело утро золотистым нимбом
поэту голову, что стар теперь и болен,
на берегу «За упокой» читает
окаменело с требником в руке.
Плывут пред ним утесы Инкермана,
чалма из туч, созвездий крымских иней,
мятежный парус вольной белой птицей,
эдемских роз сокровища Аллы.

...Грохочет дождь, ползет на Балаклаву,
стекается в бордовые разводы.
Пальба из пушек, тьяканье команды,
и хлещет кровь из вырванных кишок...
Все стихло разом, будто хлопнул кто-то
открытой дверью в день былой Адама,
и ухо звука ждет, но не расслышать
и зов с Литвы, и смерти хищный зов...

Блок

Подсекая дождевые плети,
Ветер гонит палую листву.
Крестonosец умер на рассвете:
Смерть от грез во сне и наяву.

Побредет на солнечном осляти
В радужной мечты Ерусалим.
Полыхают грозовые рати,
И костер походный стелет дым.

Там внахлест не дождь, а только манна,
Гроб Господень манит глубиной,
Там платок уронит донна Анна
Не в одно столетие длиной...

Волошин

«Киммерийские сумерки» – так назывались стихи,
Были воды спокойны, покорны, сонливы, тихи,
как укрытый за кромкой воды мусульманский Восток,
был рассвет неумыт, а поэт-бородач босоног.

Так навязчива шалость: бумага, мольберт, акварель!
Резвый козлик скакал, и тянулась тесьмою свирель.
Холодок на веранде и детский раскатистый смех.
Было время любви, неумных ребячьих утех.

На холмах обожженных полынь уставала ржаветь,
облака остужали кипучую жаркую медь,
отбивали тяжелые крылья ветра о хребет,
жгло библейское лето, был ветхим – завет...

Неотвратные осыпи, зубчатый бурый венец,
чуть заметные пятна ползущих по склону овец,
багровеющий чобр, не уставший парить кипарис,
коктебельское солнце нагое, без праздничных риз.

Ходасевич

Где Париж улёгся на ночь,
Лёгкой поступью идет
Владислав Фелицианыч,
В ногу с ним – бездомный кот.
Кот роскошен, как царевич:
Бакенбарды и усы,

С грустью смотрит Ходасевич
На карманные часы.
Им давно пора проститься,
Им «прощай!» сказать пора,
На мосту фонарь дымится
Синей струйкой до утра.
В них стрелы вонзает коготь
Хитрый мраморный амур.
«Помолчим ещё немного,
Мур?» – и кот ответит: «Мур!»

Вергинский

Ты раскрыл глаза: был и крив, и пьян
Старый клоун, маэстро с больным лицом,
За спиною ангелы смех, канкан,
И помада выжженным багрецом.

Неизбежна встреча, двум парам глаз
Было тесно в желтом, как воск, раю.
Там, в ночном притоне, играли джаз,
Желатин-лимон-заливном краю.

Скрой, молчи, что видел священный сон:
Небо, воздух соткан в тугую плоть,
Мотыльковых крыл золотой виссон –
И к тебе в глазницу сошел Господь.

Он все лучшие реплики взял себе,
Нимб, макушки плешь, желтой пакли клок
На усталой клоунской голове.
Цирк закрыт, адью, засыпай, сынок.

Нам на лысины с неба текла шампань,
А теперь всё выжжено добела,
Кто-то Божьи свечи в такую рань
Потушил, ушел... Ну и все дела.

Кафка

К Фелице Бауэр стократная поездка.
Так обручаются с невнятной судьбой.
Трагикомичность нудного гротеска:
Экстаз и пас, горячность и отбой.

Фальшивая улыбка на перроне,
Четыре дня обещанной грозы.
Никто при целованье не уронит
Ни капельки искусственной слезы.

Утраченное так же достоверно,
Как смерть под абажуром, мошкара.
Ты — поскользнулась, я — ошибся скверно
Пять лет назад, а может быть, вчера...

Не проступая из застывшей массы,
Кондуктор времени попятится назад.
Вокзал, свисток, смущение, гримасы...
Auf Wiedersehen! Прощай, Мариенбад!



АНАСТАСИЯ СОЙФЕР

Родилась и выросла в Одессе; филолог; преподавала литературу и эстетику.

Стихи писала с ранней юности; печаталась в периодике; побеждала на конкурсах молодых поэтов. Но, в основном, писала "в стол". Щетка 3-й волны - жила в Канаде с 1979-го. Первые 4 года переводила, редактировала и писала

оригинальные материалы для единственной тогда в стране русскоязычной газеты (военной иммиграции) "Вестник". Получив новую специальность, 30 лет проработала в области информационных технологий. После долгих лет молчания, вернулись стихи. Автор поэтического сборника "Чернобеловики". Последние публикации - в газете "Интеллигент" (Москва), в поэтическом интернет-альманахе "45-я параллель", журналах "Крещатик" и "Новый свет". Полгода назад переехала в Австралию, где живут мои сын и внуки.

И ложе было мне из лепестков,
и ласки дня, и ночи серенады...
Возлюбленной не человека – сада,
мне шум его звучал, как лепет слов.

Сад понимал – разлука предстоит,
и радостью, и сладостью горчащей
одаривал отчаянней, и чашей
чудес заманивал, и цвёл навзрыд.

Любовным зельем наливал плоды,
и, зная: не вернусь из этих странствий,
он шелестел: "Не уходи, останься,
здесь я с тобой – далёко ль до беды!"

Он, не расставшись, звал уже назад,
напрягшийся в отчаянном порыве
одушевлённости, и, непрерывен,
шёл спор, в котором победить нельзя.

Мой друг, мой сад... Другому никому
не уберечь его напевов ритмы,
соцветий диких спаренные рифмы,
и золота, и цвета хохлому.

Эдем мой! Неподатлив, не покладист,
ты однолюб – кому себя отдашь,
судьбы пустынной сладостный оазис,
в ней первый и последний – не мираж?

И вечность распростёрла крылья над
клочком земли, покинутым хозяйкой.
Метался дождь, стволы чернели зябко,
бездомно жались листья у оград.

«Люблю»

Год не в счёт, день не прожит, не вышел –
промелькнёт, как проездом вокзал –
если слова «люблю» не услышал,
если слова «люблю» не сказал.
Если любите, слово простое
повторяйте, как жизни пароль:
говорите «люблю» – что вам стоит!
Не подачкой и не похвалой –
пусть дождём золотым оно льётся!
Им навеки согрет и омыт
тот, чьё имя для вас – жарче солнца,
чище ревности, выше обид.
В море слов, что и бьют, и калечат,
лгут, гнетут и впустую бренчат,
дивной нотой возвышенной речи
пусть два слога «Лю-Блю» прозвучат.
Громче грома и тише дыханья –
и без звука скажи – уловлю
это парное губ колыханье,
это – выдохом сердца – «Люблю».
Слаще! чаще! – пока длится счастье,
чтобы после, в закрытую дверь
не пытаться «Люблю!» докричаться

до того, кто не слышит теперь...
Я люблю. Я одна в этот вечер.
Трепеща, зажигаю свечу.
Опоздав, слово капает в вечность,
как слеза.
А кого-то учу...

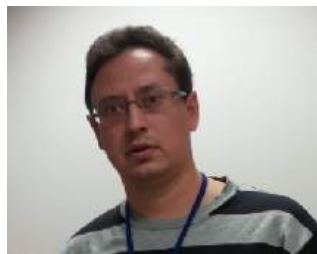
Грустить о старости нет причины:
Доли моей – последняя долька.
И не состарилось сердце, только
Его скрывают лица морщины.
И греет солнце, и плещет ливень,
Сентябрь золотыми звенит листьями.
Я стала проще и терпеливей,
Я благодарнее Богу стала.
Но, спелым яблоком оборвавшись, –
Не урожай ли венец природе? –
Не часть я больше той жизни вашей,
Что в сторону от меня уходит.
Так, неуклонно и быстро, быстро –
Что бы мы вслед ему ни кричали –
Разлука ширится между пирсом
И кораблём, что едва отчалил.
Я не ропщу, что мне – оставаться:
Всему на свете своя година.
Давно не жду от жизни оваций,
Пришли седины, ушла гордыня.
Судьба моя, ты уже свершилась;
Они со мною – и кто измерит
Былые пропасти и вершины,
Мои победы, мои потери.
Не для меня теперь мёд и млеко –
Пусть упивается ими юность!
Мне б только быть ещё человеком
И знать с утра, для чего проснулась.
Мне б только знать, что любви остаток –
Сколько ни трать, а всё остаётся! –

Со дна души золотой осадок
Хоть в чью-то душу да перельётся...

Стихи... Какая чёрная работа!
Растерянно выводит карандаш
мелькнувшие полфразы... Но чего ты
из радостей той муке не отдашь!
Каких свиданий не промедлишь часа,
каких пирушек не продремлешь шум,
зубами в губы и ногтями в мясо,
дурманя никотином бедный ум...
О, как он напрягается двужильно!
В гортани строчки переросток сух,
а строки животворные чужие
предательски названивает слух.
Как выкроить, разжав тиски размера,
слог или два – столь скуден наш бюджет!
Нетрезвое, хромает чувство меры:
был стон фальшив, и приторен был жест...
Вновь перед белой алчущей бумагой
всей памяти, и вымыслов, и снов,
отчаяний и озарений – мало!
Как бьёт бесплодный замысла озноб!
Но – звук; он крепнет, станет наваждением –
в ночи, на людях среди бела дня...
Услышишь рост кристаллов, зов растений,
звериный толк, гул глины и огня.
Ты – провод, проводник любви и скорби,
всечеловечьей и своей, одной.
Как выразить? Какие всходы вскормит
нелепой жизни жирный пережной?
Как выразить? Как сбросить это бремя?
Неслышимые строки навсегда
Останутся – зияющие бельма
невосполнимой наготы стыда...
А ты, диктант диктующий, о, кто ты,
диктатор? Как ты мучаешь, флейтист,
какие неожиданные ноты

берёшь – и прячешь, прячешь нотный лист!
Своё ты, соловей, свиваешь соло,
но дар мой жалок, песня не про нас!
Льёшь золотом с небес напев и слово –
я в золоте нища, как царь Мидас...
А вдруг душа мала, чтобы вместить
такой урок? Доверенного свыше
через меня сказаться – не расслышу,
душ бессловесных мне не окрестить...
И есть ли кто себя же ненавистней,
когда на дни и месяцы потом
культя строфы над пропастью зависнет –
от тоники всего на полутон!
Рассвет. В изнеможенье, как на плаху,
на стол бессильно никнет голова.
Во сне поёт непойманная птаха
те самые, заветные слова...

Отчаиваюсь. Умираю
с ударом в спину ножевым.
Но – выползаю, выбираю
не мёртвым львом, но псом живым
быть снова. На снегу дворнягой,
нашедшей кость, глотаю горсть
слов лживых ласковых... Бумагу
прожгут насквозь боль, слёзы, злость.
Как зверь, травой лечусь и раны
зализываю, и опять
живу, и некого обнять,
а снова доверяться странно –
чтоб солнца луч,
чтоб места пядь,
чтоб лютой жизни петь осанну.



АЛЕКС ТРУДЛЕР

*Эмигрировал в Израиль в середине 90-х.
Лауреат фестивалей "Дорога к Храму" 2014,
2016 в Иерусалиме, "Эмигрантская лира" 2015
в Льеже и "Арфа Давида" 2015 в Назарете.
Победитель (3-е место) интернет-конкурса
"Эмигрантская лира" 2015/2016. Печатался в
журналах "Кольцо А", "Московский*

*Комсомолец", "45-я параллель", "Зарубежные задворки", "Буквица",
"Заповедник", "Интерлит", "Сталкер" и других.*

третий лишний

когда года светили театрам
и небо уравнения решало
о прочном равновесии вещей
плодились комментарии вселенной
пародии на черные изменения
комедии со вкусом кислых щей

сидела плотно публика в партере
снимали труп поэта в англетере
и режиссер командовал мотор
валились в кучу люди кони люди
простые люди без каких-то судеб
таящие в глазах немой укор

газетной полосы припухли веки
ещё полны водою были реки
ещё зияли окна чистотой
и улыбался каждый третий лишний
держась за сердце или за булыжник
придавленный коломенской верстой

как это было всё неоспоримо
в кругу друзей из иерусалима

читался бред высокий как с листа
потом все развалилось одичало
и новый день оттачивал устало
на куполах созвездие креста

и ты промок собрав в котомку чувства
потомок безыдейности искусства
и предок виртуальных площадей
где шум утих и на подмости вышел
как из народа гамлет третий лишний
оставшийся последним из людей

Рубашка

надену рубашку изнанкой вовнутрь,
прочитаю почище молитву
и пойду по дорогам, где курят и пьют,
пряча глубже опасную бритву.

Сигаретным приветом сигналият огни
из подвалов беспечного детства,
и визгливые крики: "Пятерку гони!" –
из окошка в тени по соседству.

Марлезонский балет, автомат ППШ,
чёрно-белые фильмы о главном...
Я листаю в дороге, почти не дыша,
деревянные ветхие ставни.

Надоело смотреть на культурный массив,
запечённый в кулич поколений.
Я опять становлюсь безнадежно ленив,
поднимаясь по скользким ступеням.

И слышнее звучит паровозный гудок:
"Ваше время – пожалуйста – вышло."

Снова видится мне бесконечно далёк
капитан деревенских мальчишек.

Путь дочитан с листа без серьёзных помех
до абзаца, до перечня радуг.
Я надену пижаму изнанкой наверх –
может, сон будет крепок и сладок.

не жди меня

не жди меня, не надо
стоять на берегу
под грохот канонады
с прощением врагу.
мой дом сквозь горло вытек,
и срок давно истёк –
бежит румяный критик
на углый уголёк.

не стой на переходе
из прошлого – сюда,
удача колобродит
без божьего суда,
занает под сурдинку
звучащая струна,
проявится картинка
в тенетах полотна.

ретивый, беззаботный,
по-доброму хмельной,
пичугой перелётной
взлечу над целиной.
а ежели промажу,
то встану в полный рост,
предчувствуя пропажу
седеющих волос.

не жди меня на ужин,
и на обед не жди,
я доверху загружен
дорогой впереди.
тоскую по свободе,
пиная шар земной...

не стой на переходе
и не ходи за мной.

тарабарский язык

я изучаю на спор тарабарский язык,
нёбо болит, и за небо подвешен кадык,
прошлое время уныло свисает с ушей,
я выгоняю себя на свободу взащей.

я прорастаю в поля, словно чахлый бурьян,
втопанный шагом за славой спешащих славян;
голод за тёткой, за старую бабкой с клюкой,
тянется ветром, который уснёт за рекой.

мирный будильник часами минутами спит,
чтобы его не будили за испорченный стыд,
чтобы коровы чесали бифштексам бока
из-за незнания чётких основ языка.

я провожаю молитвами выжатый день
и поднимаюсь на новую в споре ступень,
руки по локоть в свободе свисают плетьюми —
я изучаю язык, позабытый людьми.

вечная жизнь

посреди одичавшей евразии
я ношу расстоянья в груди
эк меня пустотой угораздило
не судим не судись не суди

даль неверными полнится криками
для крещенья узка иордань
правда око за око навывкате
а как выкатит выколи глянь

рубят головы мирные граждане
чтобы дважды не чистить ножей
будут чистые их выгораживать
им бы кожи нарезать свежей

новобранцы призыва любовного
вяжут песню на горле как жгут
по углам развелись уголовники
и от запаха серного мрут

берегись миротворцев пожалуют
на разрытую землю любви
заходи на свечу запоздалую
и цветок у дороги сорви

кинь под ноги что пахнут могилами
в тёплый саван от зла завернись
рвёт рубаху прощается с милыми
непутёвая вечная жизнь

about love

не ропщем мы на ветхую обитель –
час не ровён, остался только час.
в стране слепых написано: смотрите.
и мы глядим, как кто-то смотрит нас.

бывает, горю не протянешь руки
на помощь и наотмашь – от души.
не помогают выдумки и трюки –
и хоть ты кол на голове теши.

мы связаны и ждём, когда приплюснет
печатью с гравировкой "навсегда",
нам склёвывает время с лёгкой грустью
по камешку ушедшие года.

не ведаем, куда что проникает.
однако из бессмертия – насквозь –
летит любовь в наивности нагая
и сердце на лету сгребает в горсть.

по прогнозам

а по прогнозам, завтра опять война,
небо намажут тоненько на горбушку,
чтобы, набравшись беленькой дочерна,
прятать воспоминания под подушку.

к старости превратился запас рублей
в сладкий больничный привкус лекарств и пота,
и (за глаза) прощальное – "не болей" –
кажется продолжением анекдота.

ангелы точат – к чёрту! – карандаши,
правят проекты завтрашнего салюта,
прошлое выгибается: "не спеши",
капая в настоящее по минутам.

милостыню подайте – хоть парой слов!
я не прошу богатства и долголетия,
кто их поймёт – непуганых докторов...
а по прогнозам, завтра уже не светит.



ЗАЛМАН ШМЕЙЛИН

Закончил Львовский Политех. В Австралии с 1996 года. Печатался в различных российских и русскоязычных изданиях. Публикации: «День литературы», «Дон», «Лауреат», «Интеллигент», «Новая Немига литературная», «Альбион», «Острова», «Витражи», «Арфа Давида», «Австралийская мозаика», «45-я параллель», «Крещатик»,

«Белый ворон», «Золотое руно» и др. В 2012 году вышла книга стихов и прозы «На костре своих строчек...» В 2015 вышел поэтический сборник «Нам выбор дан...» Финалист конкурса «Пушкин в Британии» 2007, 2012 гг., «Серебряное перо Руси» 2014г., Лауреат премии «Герой нашего времени» 2015 Литературная премия им. Вениамина Блаженного 2014 г. Медаль журнала «Крещатик» 2015 г.

Погода в Мельбурне как-то совсем не в кайф
Все сезоны за день – вовсе не эксклюзив.
Сосед мой продал магазинчик и драйв, драйв, драйв
В Брисбен, где круглый год тридцать и голубой залив.

Он держал много лет антикварный сток,
Но вечная сырость вредна для неаполитанской души.
Его испытательный срок давно истек.
Он сказал «факен веза» и свет за собой потушил.

А меня держат цепи, тянущиеся за океан.
Я с каждой из четырех сторон в чем то да убежден.
Даже пьянствовать предпочитаю ходить в русский ресторан.
Я еще на пути, чтобы стать раскрепощенным как он.

*факен веза – чертова погода (англ)

австралийское

И не факт, что «философские стихи»
Пишут от убожества таланта.

Может статься, после русских шей (Хи, хи!)
Земли все для прозы – маловаты.

Никуда не денешься – масштаб,
Здесь рулетка – там зигзаг вселенной,
И никто еще за просто так
Их (брехня?!) не ставил на колени.

(Тут как раз сомнение берет.
Очень уж стенают патриоты,
Что какой-то маленький народ
Им нагадил в материнских сотах).

Но чужой фонетикою слух
Засорен и склонен к диссонансу.
Выбираешь сам – одно из двух,
Правда – слово или правда – пьянство.

С голой жопой (миль пардон!) в руках
Я на величайшей барахолке.
Все со мной – цена невысока,
Хлам подножный, как в бору – иголок.

А вот стейки очень хороши!
Думаете, бриттам льщу? Напрасно.
Для успокоения души
На ночь пошуршу Эклизиастом.

Мы теряем друзей. Не в боях, без торжественных звонов,
Не от грозных недугов, которых врачам не унять.
Замолчали друзья, отключили навек телефоны.
Мы теряем друзей, оттого что не в силах понять.

Мы теряем друзей – не легко, не беспечно, как в детстве,
Собутыльник и тот откровенно пошел «не такой».
И кому-то бы лучше в уютном углу отсидеться,
А он прет на рожон как в последний решительный бой.

Словно снова в атаку пошли конармейские лавы,
(Видно, где-то они хоронились в туманах души).
Мы теряем друзей, как в гражданскую – влево и вправо
Разделились и каждый по правде, по истинной правде решил.

Мы меняли легко долготу, широту и отчизны,
Оставаясь в кругу, не давая его разорвать.
Мы теряем друзей как до срока – куски своей жизни,
Так что нам у черты уже нечего будет терять.

из тетради: «моя эмиграция»

Там, на Родине, время текло медленно.
Мне пришлось ускоряться, сжимая зубы,
Изгоня метлой маргинальное мнение,
Что живут за границей другие люди.

Виджу – люди как люди, но фишка такая:
Здесь айфоны, айпеды, типоды и прочее,
А на Родине круглое палкой катают,
А зернистую грузят лопатой в бочки.

И железные скрепы: «авось» да «потом»,
Фанаберия стойких – военка, парады.
И накатанная убежденность в том,
Что стремиться как раз никуда не надо.

Только двинешься, как непременно загор –
Это дело там очинно сильно не любят.
Может, правы они, свято веруя в то,
Что живут за границей другие люди.

Сделаю страшную злость в глазах –
Деревянную маску африканских божков.
В моих мозгах хозяйничает либерал Потифар,
На которого я не пожалел бы десятка рожков.

Я стреляю в мишень, скрытую за кровавым дождем,
Прячу под капюшоном лицо (потому как белая кость).

Те, что черного цвета, совсем не при чем.
Я стреляю в мишень, а попадаю в собственную плоть.

Словно крот рою норы вдоль древних корней.
Как бы ни было это наивно и грустно –
Мне казалось, что я обрусевший еврей,
А во мне созрел объевренный русский

исповедь

Душа моя на ветру дрожит
И строка на бумагу ложится криво.
Верую – Создатель мой грех простит,
Что давно не видел меня счастливым.

Я забыл, когда это было в последний раз.
Может, с той поры как объелся мороженым в детстве,
В день, когда мама сказала: «Факир на час
Ты сегодня. Реформа, сынок – вперед и с песней!».

В моей памяти каждый шаг запредельно крут.
Спотыкаясь о корни навязших в зубах березок,
Нарезаю и нарезаю, как скаковая, за кругом круг.
Только и научился, что смеяться сквозь слезы.

Устремления живы – ни дать, ни взять,
Но за счастьем я как за девкой не бегал.
Мне знакомо – и это уже не отнять –
Только пахнущее чабрецом горьковатое чувство победы.

Завтра сдавать на классность, а Элерт такой тупица
Мы с ним провалимся вместе, черт бы его побрал.
Я одиннадцать месяцев собирал себя по крупицам,
И, вот, такой мне напарник – взводный вчера сказал.

Это отнюдь не интрига, нет в ней антисемитизма,
Фамилии наши рядом, меньше чем в двух шагах.

Шпильман и Элерт в списке лепятся с самого низа
Хотя он родом из Энгельса, а мне земляком – Шагал.

Что-то родное в суффиксах да и в дорожках – тоже,
Его – в Казахстан с Поволжья, моя – с Двины на Урал.
С ним не пересекался за двадцать годочков прожитых,
И тусоваться с Элертом врагу бы не пожелал.

Ночь пробегает быстро, а мне ни за что не спится,
Слышу, как дождевые капли в окно стучат.
Звтра сдавать на классность, а Элерт такой тупица
Тощий, как доходяга, длинный, как каланча.

Тухлая ситуация, как то все очень странно,
Мне хотя бы недельку, я б его подогнал,
Но нет и денечка даже, в армии все по плану
И ротный сказал «С другими – точно ему хана».

Встали у изголовьев стражи – добрые духи,
Чтоб отступила хоть на ночь страдная маята.
Завтра будут в эфире наши бездомные души
Связываться морзянкой ти-ти-ти – та-та-та.

интернационал XXI

И не верьте, не верьте, что, мол, коммунизм побежден –
Где-то там на полставки устроен в далеком Китае.
Это вовсе не так, не спешите кадить на амвон.
Он живеит всех живых и над миром победно витает.

И не мчитесь тотчас посетить его труп – в мавзолей,
Убедиться, что там он, еще раз вздохнуть с облегченьем.
Поезжайте в Америку – это гораздо верней –
Там бла-хата его, климатрон разноцветных течений. .

Все буржуи земли могут не беспокоиться, нет
Им отсрочка – зигзаг (так бывает нередко в истории).

Отменен неудачный, проваленный русский проект.
Все обкатано, слито и все получилось – в Претории.

Аутсайдеры, лузеры, братья (прошу извинить,
Но хиджабы сестер – не распутство досадной ошибки)
Наше дело святое – по-честному все поделить.
Запад сам виноват, что такой стал дебелий и хлипкий.

Вот вам правда без всяких излишних прикрас:
Побывав не однажды у самого краешка рая –
Утверждаю, что люди на свет появляются столько же раз,
Сколько раз в этом мире до срока они умирают.

Ты простился с кем мог, положил на должочки-долги,
На свои – не свои, были не были – это не важно –
Пусть теперь локоточки кусают врагини-враги,
Но остаться в живых, тут уж, как говорится, – «не каждый».

Потому что опять начинать от печурки – с нуля.
Краскам медленно блекнуть, покудова нить не порвется.
Кем ты в этот раз в мир проскользнул, везунок-разгуляй?
Тот, что был – за чертой. Он то уж никогда не вернется.



МИХАИЛ ЭТЕЛЬЗОН

Родился в Виннице. Окончил Ленинградский политехнический институт и Московский институт патентной экспертизы.

Печатался в периодике – «Нева», «Арион», «Новый Журнал», «Настоящее время», «Зеркало», «Метро», «Слово/Word», «Новое

Русское Слово», «Форвертс», «Информпространство», «Листья», а также в многочисленных поэтических сборниках, изданных в России, Канаде, Англии и США. Победитель международного конкурса в Брюсселе: «Эмигрантская лира-2009». Книги: «Соло» (Нью-Йорк, «Слово/Word», 2006), «Под Созвездием Рака» (Санкт-Петербург, «Европейский Дом», 2006), «МеждуМетие» (Москва, «Эксмо», 2012). Живёт в Нью-Йорке.

БРИГАНТИНА

Н. Крофтс

Ожидание

Я долго ждал твои следы,
искал их у порога дома,
не зная, строки посвятил –
и Магдалине, и Мадонне.
Я загадал твои черты,
придумал жесты и движенья,
лицо лепил из темноты
до слепоты, до наважденья.

Я шеи глобусам свернул,
перекроил в архивах карты,
вёл со статистикой войну,
искал за строчками, за кадром.
За край заглядывал земли –
в другие страны и наречья,
богов и ангелов молил
скорей послать тебя навстречу.

Я в муках выбирал смычок,
искал мотив, тональность, ноту,
я берег искрошил в песок,
глаза мозоля горизонту.
Умом – столетним стариком,
душой – юнцом неутомимым,
я Бригантину ждал тайком,
а ты плыла куда-то...
Мимо...

Встреча

Стою у причала, вращая бортом,
полвека покрытый коростой,
не в силах покинуть дряхлеющий дом
и свой обитаемый остров.
Никем не наказан, я сам себе – мечь,
но вдруг понимаю – пора бы:
не ветер срывает с насиженных мест,
а мимо плывущий корабль.
Стремителен облик – нетрудно узнать
бегущую вдаль Бригантину.
Легко рассекая зеркальную гладь,
оставила след серпантинный.
Волнения дрожь побежит по воде
и током пройдёт между нами,
настигнет волною и, вмиг овладев,
ударит мощнее цунами.
Сорвёт с якорей, за собой унесёт,
лишая опор и рассудка.
Ускорится жизнь и потребует счёт
уже не на годы – на сутки...

Над нами твоя и моя бирюза,
мы мачтами море щетиним,
страницы наполнятся, как паруса...

Я следом, я рядом –
прочти мне...

Гавань

В той гавани, где чинишь такелаж,
пройдя сквозь ураганы, бури, штормы,
где шепчешь, повторяя, словно блажь,
невинное, ненужное – "за что мне?"

Где ты, за горизонт кидая взгляд,
отдашься с ветром новому искусу,
без карты, без маршрута – наугад,
сбиваясь и других сбивая с курса.

Где ты читаешь список кораблей,
что с лёгкою столкнулись Бригантиной
и, вопреки законам всех морей,
ушли на дно и погрузились в тину.

И я наткнулся на тебя во мгле,
уставший в одиночестве столетнем,
теперь пополнию список кораблей,
но точно знаю – буду не последним.

Ту гавань, где так ценишь свой покой,
ту гавань, где сытней, теплей и суше,
не для меня – а для тебя самой,
решусь ли я, как Карфаген, разрушить?..

Шторм

Штормило, не было ни зги,
ни зги, я видел это точно.
Бог, верно, встал не с той ноги,
и день не тот смешался с ночью.
Скрутило мачты в провода,
несла волна куда попало,
и лишний груз сорвало с палуб,
а в трюмы ринулась вода.

Свистел не ветер – божий кнут,
не гром гремел – Его проклятья,
и взгляды, молнией сверкнув,

из мачт и рей плели распятыя.
Тошнило море и рвало,
летели в нас его ошмётки,
потоки из небесной глотки
мир обращали в ржавый лом.

Не поднимались мы с колен,
застыли до потери пульса,
и дольше века миг тянулся,
когда мы дали страшный крен.
Такое – даже не приснишь,
и мы вздымали к небу нёбо,
немей, беспомощней амёбы –
и падали стихами вниз.

Призрачная

Что ждёшь ты,
шальная, призрачная,
что ищешь в краю далёком,
неузнанная, непризнанная,
как бег по волнам твой лёгок.
Куда ты с ветрами носишься,
где новая гавань примет,
какие находишь прозвища,
за ними теряя имя.

В какого поверишь идола,
езде тебе одиноко,
чтоб землю свою увидела,
не создан ещё бинокль.
Зачем, из какой Британии
плывёшь по судьбы изгибам,
что встретишь в морских скитаниях –
спасение или гибель?

Какими живёшь легендами,
наследница древней Трои?
Столкнёмся с тобою где-то мы –
по мачты водой накроет.

Но ведьмы непотопляемы,
найдёшь себе кров и пищу,
а память о встрече пламенем
согреет на пепелище.

Удержи

Удержи ты меня, удержи
от падения в мелкое, пошлое,
заслони, что уже пережил –
удержи от падения в прошлое;
от пустых разговоров и встреч,
от удушья удобной квартиры,
сохрани моё имя и речь,
где потеряны ориентиры.

Помоги устоять на краю,
за тобой приподняться над пропастью,
не в эдемском саду, не в раю –
удержи от стыда или робости.
И себя, и себя удержи –
я не тот, я не там, что возьмёшь с меня –
над гнездом одиноким во ржи
удержись – соверши невозможное.

Прощаюсь

Я прощаюсь с тобой, прощаюсь,
понимаю, что навсегда;
ничего я не упрощаю,
но хотелось услышать "да".
Что увозишь ты в чемодане,
собирательница людей,
не устала ли от метаний,
от мечтаний, пустых идей...

Выбирала себе дорогу,
имя, веру, мужчину, речь –
у какого теперь порога
кто-то будет тебя стеречь?
Я прощаю, тебя прощаю,

на душе остаётся след,
ничего я не упрощаю,
за тобой повторяя "нет".

Попутного ветра

Всё расставлено вовремя –
точки, тире, запятые.
Словно два корабля, столь похожих –
и всё же чужих,
мы расходимся прочь,
а свидетели и понятые –
наши нервные строчки –
всё помня, останутся жить.
Не сложилось, не сладилось –
чуда, увы, не случилось,
разбежимся и стихнем
по самым далёким углам
на планете одной...
Окажи мне любезность и милость:
не дели нашу встречу
и память о ней
пополам.

Уплываешь...

Плыви, пожелаю попутного ветра,
сотни футов под килем,
а над – бирюзовую высь,
чистых вод Бригантине
на тысячи тыщ километров...
Не порви паруса
и на рифы опять не нарвись.
В тихой гавани – дома –
захлопнутся наглухо двери,
и не встанешь с колен,
бесконечно целуя порог.
Да хранит тебя Бог и простит,
что в него я не верил...
Он, конечно, шутник,

но меня от тебя
уберёт.

Мираж

Черты теряются в тумане,
навис тревожно неба свод,
какой Орфей тебя поманит,
в какую гавань занесёт?
Все паруса подняв картинно,
ты уплываешь...
Что не так?
Над белоснежной Бригантиной
пиратский взвился – чёрный флаг.
Исчез внезапно облик феи –
на реях сотни черепов,
и в трюмах страшные трофеи:
в цепях везёшь своих рабов.

Кого случайно в море встретил? –
не ту, не там и не тогда.
Здесь ни при чём ни кто-то третий,
ни расстоянья, ни года.
Ты показалась мне, приснилась,
не Бригантина – призрак, блажь,
случайный, мимолётный снимок.
Я не тебя любил – мираж.
Пока я рядом плыл упрямо,
когда остался на мели,
ты паруса в чулан свалив,
вращалась в гавань якорями
на том – другом конце земли.

У моря

Я хотел бы стареть у моря,
в небольшом деревянном доме,
где, уже ни о чём не споря,
мы бы вместе свели ладони,
чтобы линий необъяснимость,
разбегавшихся так капризно,

наконец-то соединилась
на чуть-чуть, на остаток жизни.

Слыша мерную речь прибоя
и парящих над нами чаек,
до утра бы сидел с тобою
под негаснувшими свечами,
чтоб увидеть в лучах восхода,
раздвигающих дня гардины,
вдаль бегущую, словно годы,
белоснежную Бригантину.



МИХАИЛ ЯРОВОЙ

В Австралии с 1998 г. Родился в Москве в 1969 году, образование – высшее медицинское. Как автор и исполнитель песен неоднократно выступал в России (в "Гнезде Глухаря", "Библио-Глобусе", ДК "Рублево", "Фортосте в Лужниках", в программе "Авторская песня" на радио "Эхо Москвы" и др.) и в Австралии (в концертных залах, по австралийскому радио СБС, по мельбурнскому

телеканалу "Спутник"). Автор публикаций в ряде русскоязычных изданий, включая журналы "Австралийская мозаика" и "Интеллект", литературные сборники "Уроки русского", "Встречи", "Под небом Австралии", "Со мною вот что происходит", мельбурнский альманах "Витражи", российский альманах "Поэт года 2011" и др. Творчество Михаила Ярового также представлено на портале "Русская литература Австралии", о нём неоднократно писала старейшая русскоязычная газета Австралии "Единение" и другие газеты и журналы. Лауреат и дипломант различных литературных и бардовских конкурсов, среди которых – Грушинский международный интернет-конкурс (2014г.).

Песня про вратаря Коршуна

Я с детства обожал играть в футбол и даже батя,
Желая мне потрафить – чтоб сына похвалить –
Кидал мне мяч, и выкрикнув: «Дасаев на подхвате!»,
Я мог в прыжке любой его бросок остановить.
И не было в округе, да спроси кого угодно,
Голкипера толковей, чем Коршунов Витёк –
Гордились мной и школа и друзья, и я свободно
Мог пару раз в неделю пропускать любой урок.

И мной не будут никогда забыты
Турниров дни, когда вдвоём на стадион
С отцом шагали мы, и город, чистый и умытый,
Навстречу улыбался,
и в парке пел аккордион.

Я вырос из дворовых игр, и на реальном поле
Не просто встал в ворота – в судьбу свою вошёл.
Вторым отцом был для меня наш тренер дядя Коля,
Семьёй была команда и было хорошо.
Оправдывал исправно я надежды руководства,
И вот за благодарностью последовал совет...
Я тут же внял и без отрыва, так сказать, от производства
Добился звания в органах, которых как бы нет.

Прошли года и вместе с ними слава
Лихого Коршуна, сухого вратаря.
Но верен службе я, и верит мне моя держава
И, значит, путь мой верный,
и жизнь моя совсем не зря.

Поэты нам не врут, ничто не вечно в этом мире –
Ни мировой порядок, ни курс одной страны.
И не всегда бывает так, что дважды два – четыре,
И не всегда мы правы, да, но в главном мы верны.
А главное, оно как есть – незыблемо и прочно,
И букварёвым порохом в нас выжжено навек:
Держись корней и маму-Родину люби, сынок, и точка –
Родителей себе не выбирает человек.

Присягу дал – так верен будь присяге.
Приказ умри, но выполни, солдат.
А коли грех на душу взять придётся в передраге,
То знай – перед Отчиной
герой ни в чём не виноват.

И вот Отчизна
Готовится принять чемпионат.
Бушуют страсти,
Футбольный бог смотрит на родину в упор.
Судьба капризна –
Не шутит чёрт и злопыхатели не спят.
Хлопочут власти,
Ликуют дети,

Томится город ожиданием, когда футбольный ветер
Ворвётся в каждый дом и каждый двор.

И надо же – в моё дежурство, как сосулька в темя –
Приказ очистить город от нищих и бомжей.
Три транспорта и взвод спецов по данной скользкой теме
На утро покидали царство спящих этажей.
Пришлось руководить мне некрасивым нужным делом,
Хотя я не сторонник подобных крайних мер.
В одном бомже с трудом я тренера узнал – так постарел он.
Прости мне, дядя Коля, что я честный офицер.

Страной не будут никогда забыты
Ни наша преданность, ни долгий честный труд.
И будет город улыбаться, чистый и умытый,
Мальчишкам, что на праздник
с отцами за руку идут.

2017

ПЕРЕВОДЫ – PEREVODY

Редактор - Наталья Крофтс





ГАЛИНА ЛАЗАРЕВА

Победитель международного конкурса переводчиков поэзии «Пушкин в Британии»-2010, автор книги переводов австралийского поэта А.Д. Хоупа «Вечность подождет» (2011, Рудомино). Лингвист, переводчик, участница интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и «Своя игра», выпускница МГУ им.

Ломоносова.

САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ ПЕСНЯ АВСТРАЛИИ

От переводчика

Самая знаменитая песня в Австралии, песня, мелодию которой узнает с первых нот каждый австралиец, неофициальный гимн и гордость страны – «Waltzing Matilda». Звучит, что называется, из любого уголка – на военных парадах, официальных мероприятиях, спортивных соревнованиях – да что уж там говорить, даже маленький местный оркестрик, решивший помочь сиднейским россиянам отпраздновать 9 мая, первым делом заиграл про Матильду, а потом уже – наскоро разученный «День Победы». До приезда в Австралию я никогда не вслушивалась в текст и лениво недоумевала – что это за Матильда такая и зачем с ней надо танцевать вальсы в буше?

Что в них такого, в этих любимых народом песнях? Если искать аналогию в русской культуре, первой на ум приходит песня про Стеньку Разина, как он из-за острова на стрежень выплывал. Какое, спрашивается, удовольствие и моральное удовлетворение вот уже пару веков находит народ в песне про разбойника, ни с того ни с сего утопившего девушку в Волге? Вот и австралийцы туда же: незамысловатая, под завязку набитая сленговыми словечками 19 века история про бродягу (*swagman*), который устал бродить-вальсировать по неприветливому австралийскому бушу со своей *Матильдой* – гибридом скатки, вещмешка и палатки – и только было присел под деревом у ручья заварить свой нехитрый чай из чего бог послал в закопченном котелке (*billy tea*), а тут бог вдруг послал и приبلудную овечку на шашлычок... не успел мужик обрадоваться, как объявился местный фермер-жмот со

взводом солдат, волочь беднягу на каторгу за овцу, а тот взял и утопился в ручье. Так не доставайся же ты никому. Живым не сдамся. Очень русское. Очень австралийское. Квинтэссенция народного бессознательного. За то и любим.

Однажды вечером в моем доме раздался звонок – звонил хороший знакомый, бывший советник Посольства Австралии, большой знаток русской культуры и любитель спеть на публику.

– Ты не знаешь, кто-нибудь уже переводил «Waltzing Matilda» на русский?

Да нет, насколько мне известно. А зачем тебе? Выяснилось, что человека пригласили на конгресс в Россию, человек с русской культурой знаком непонаслышке и знал, что после официоза все соберутся в неформальной компании за бутылкой горячительного и его обязательно попросят спеть. Плавали, знаем. Ну вот ему и пришла в голову идея – почему бы не познакомить русских друзей с самой знаменитой австралийской песней? Знакомить, правда, было не с чем – если какие переводы и существовали, то мне об этом было неизвестно. Разочарованный приятель повесил трубку, а я несколько секунд на нее пялилась, а потом рванула к монитору и выцепила из всемирной сети текст «Матильды». Я, в конце концов, переводчик поэзии или кто? Гляжу: рваный ритм, куча непереводаемых слов, да еще и вальсы эти, которые не впихнешь в русскую строку, так, чтобы это не резало слух, задачка не для слабонервных... Эх, пропадай моя черешня, если не я, то кто же, была не была, поехали.

Тот самый русско-австралийский дух, будь он неладен.

Песня она на то и песня, что на бумаге не живёт, её петь надо. Поэтому недели две моё семейство сходило с ума под навязчивый до колик припев – это я в задумчивости пробовала на вкус варианты: мою посуду, и пою, глажу белье, и пою. Вот если бы у вас в квартире кто-нибудь две недели пел про «Во поле березка стояла» – представили? Да еще не целиком, а одну-две строчки, и опять, и опять – как меня муж не убил, не знаю. Я бы убила.

Всему, однако, приходит конец, «Матильда» должным образом обросла русскими рифмами, освободилась от лишних непереводаемых существей и была спета приятелем в России к вящему удовольствию присутствующих. Тут, казалось бы, и сказочке конец...

Пару месяцев назад мы с дочкой, выкроив четыре дня отпуска, отправились колесить по австралийской глубинке – самое мое любимое здесь занятие – и ненароком заехали в крохотный городок Yeoval, такой крохотный, что жаба квакнет, так на весь город шуму, классика жанра. И вдруг видим этакую сараюшку, пристройку к местному кафе – а на сараюшке гордую надпись: музей Банджо Патерсона. Автора «Матильды». Это мы в его родной город, оказывается, заехали – везука, побежали скорее смотреть!

Муж с женой, хозяева кафе и по совместительству смотрители музея, нам неимоверно обрадовались – то школьные экскурсии раз в год по расписанию заезжают, а тут целых два посетителя! которым интересно! Нам разрешили всё потрогать, на всём посидеть и даже попечатать на древней пишущей машинке – может, и самого Банджо. Пальцы сами выстучали: *Waltzing Matilda*. Матильде в музее был посвящен целый отдельный стенд, правый верхний угол которого занимала здоровенная паутина – неременная примета австралийской жизни. Паук тоже наличествовал и соответствовал непреложному местному правилу: чем меньше городок, тем крупнее пауки.

Слово за слово, я поведала любознательным зрителям, что собственноручно перевела «Матильду» на русский язык, и теперь ее поют в российской диаспоре в Сиднее. Зритители заволновались: Ой, да вы что? а можно нам прислать текст? У нас даже электронный адрес есть – вот (хозяин выгащил из новой, еще непечатой пачки визитную карточку). Мы ее на стенд повесим! ни слова не поймём, но обязательно повесим! на русском! ну вы даёте!

Вот так обретается земная слава – где-то на краю земли, в неприметном городке Yeoval, в маленькой сараюшке, оказавшейся одним из лучших музеев Австралии (на мой вкус) теперь, надеюсь, висит мой перевод знаменитой песни «*Waltzing Matilda*». И, куда стоит этот городок и люди помнят имя Банджо Патерсона, будет висеть.

Прямо под пауком.

ЭНДРЮ БАРТОН «БАНДЖО» ПАТЕРСОН (1864 – 1941)

Австралийский поэт, автор баллад и стихотворений. Наиболее известное произведение Патерсона, «Матильда» (*Waltzing Matilda*), стало

неофициальным гимном Австралии. Портрет Патерсона изображён на купюре в 10 австралийских долларов. На русский язык переведено лишь



небольшое количество стихотворений Патерсона. Эндрю Бартон Патерсон родился в штате Новый Южный Уэльс, получил юридическое образование, но большую часть жизни работал журналистом. В 1899 году Патерсон поехал в Южную Африку, откуда передавал репортажи об Англо-бурской войне. Затем он отправился в Китай для освещения Боксёрского восстания, но к моменту его прибытия восстание уже закончилось. Вернувшись через Лондон в Сидней, Патерсон некоторое время

путешествовал по Австралии, читая лекции о своём южноафриканском опыте. Во время Первой мировой войны отправился в Европу, работал водителем во Франции и в тыловых австралийских частях в Египте. Умер в Сиднее от инфаркта.

МАТИЛЬДА

Как-то раз бродяга остановился на привал
С долгой дороги в тени у ручья:
Котелок закипал, а бродяга песню напевал:
«Весело пляшет Матильда моя!»

Вот так Матильда,
Ай да Матильда,
Весело пляшет Матильда моя!
Котелок закипал, а бродяга песню напевал:
«Весело пляшет Матильда моя!»

Тут пришла овечка погулять на бережок:
Нет никого, так считай, ничья –
Полезай-ка в мешок, и я покажу тебе, дружок,
Как весело пляшет Матильда моя.

Вот так Матильда,
Ай да Матильда,

Весело пляшет Матильда моя!
Полезай-ка в мешок, и я покажу тебе, дружок,
Как весело пляшет Матильда моя!

Вдруг явился фермер – вороной под ним хорош –
С ним и солдаты – в три ружья:
«За овцу, хошь не хошь, ты на каторгу теперь пойдёшь» –
Эх, весело пляшет Матильда моя.

Вот так Матильда,
Ай да Матильда,
Весело пляшет Матильда моя!
За овцу, хошь не хошь, ты на каторгу теперь пойдёшь -
Эх, весело пляшет Матильда моя!

И тогда бродяга прыгнул в глубину ручья,
С криком: «Живым вам не дамся я!»
И с тех пор его песню не раз слышали у ручья
«Весело пляшет Матильда моя!»

Вот так Матильда,
Ай да Матильда,
Весело пляшет Матильда моя!
И с тех пор его песню не раз слышали у ручья:
«Весело пляшет Матильда моя!»

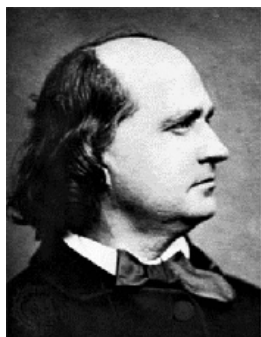
Перевод с английского Г. Лазаревой



ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ

Родился 18 июня 1950 года в Москве. До отмены в СССР цензуры печатался как поэт-переводчик; опубликовал множество переложений из Китса, Уайльда, Киплинга, Рильке, Рембо, и других. В 1990-е годы подготовил к печати четырехтомную антологию поэзии русского зарубежья «Мы жили тогда на планете другой», трёхтомное собрание сочинений Георгия

Иванова и многое иное. В 2003 году создал сайт «Век перевода» (www.vekperevoda.com), в 2005 и 2006 годах издательством «Водолей Publishers» по материалам сайта изданы антологии русского поэтического перевода XXI века – «Век перевода». Лауреат премии «Серебряный век» за 2014 год, эксперт Союза переводчиков России, поэт, переводчик, романист, главный редактор издательства “Водолей”. Живёт в Москве.



ШАРЛЬ ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ

(1818 – 1894)

Французский поэт, глава Парнасской школы. Родился на французском острове Реюньон, расположенном в Индийском океане. Сын французского фельдшера, эмигрировавшего после Реставрации. Учился в Бретани, работал в суде на Реюньоне. Участник революции 1848 года, был инициатором закона об отмене рабства в колониях. В 1886 году, по выраженной в завещании Виктора Гюго рекомендации, Леконт де Лиль был принят

во Французскую Академию на место, освободившееся после кончины Гюго. Творчество Леконт де Лилия представлено тремя прижизненными поэтическими сборниками.

БАГРОВАЯ ЗВЕЗДА

В пропасти небес будет большая красная звезда, именуемая Сахил.

Равви Абен Эзра

Над мертвою землей, над морем в летаргии,
Над миром, что во тьму, как в мантию, одет,

Где до конца времен ни содроганья нет,
Встает звезда Сахил, и гасит все другие,
Дерзнувшие попасть в ее кровавый свет.

Свидетель, призванный первоначальным мраком,
Всеобщей гибелью, вступившею в права,
Смотреть, как близится последняя глава;
Сахил чудовищный следит кровавым зраком,
Как спит вселенная, почти уже мертва.

Что ужасало нас, и то, что нас манило,
Фонтан отчаянья, малейший кладязь благ –
Все сгнуло навек, и ныне стало так,
Что всюду, каждый миг есть только свет Сахила,
Кроваво плачущий, неумолимый зрак

ВОЙ НА БЕРЕГУ

Селенье медленно вступает в мир заката,
Покоем полнится страна прибрежных скал.
Волна, перевалив чрез каменный оскал
На берег рушится, огромна и поката.

Не светит ни одна звезда издалека:
На мир шагнула ночь, и он наполнен воем;
А в небесах плывет, как призрак под конвоем,
Лишь бледная луна, раздвинув облака.

Лик, навсегда немой, в гримасе ядовитой,
Бесцельно восходя, вершит круговорот,
И повергает блеск рассеянно с высот
На мертвый океан, навеки ледовитый;

Наполнив духотой чудовищный простор,
Швырнула Африка вдоль севера хаммаду,
Повергла прайды львов во власть тоске и гладу,
И отдала слонам прибрежия озер.

На пляже сохнущем, где гниль плодит миазмы,
Все более тяжел неплотородный мрак,
А в нем все гуще вой гиеновых собак
Все безнадежней псов трясут ночные спазмы.

Под ребра к животу прижав концы хвостов
Зрачки навывкате – завоюет каждый люто,
Дождется выдоха, – пройдет всего минута –
Он сызнова зайтись в истерике готов.

Из моря встанет вал, в обратный путь отвалит:
Удар по костякам, по долгой волосне;
Но псы в ответ ничем не навредят волне –
Они вослед воде рычат и зубы скалят.

Под мертвенной луной в пепельнородный час,
Вдоль антрацитных волн вы бродите тревожных;
Зачем дана вам плоть, отвратней всех возможных?
Зачем вы стонете и что терзает вас?

Я так и не узнал! Но с жалкой худобою,
Сколь солнц не отгорит над бедной головой
Сумею ли забыть невероятный вой
Собак, что по ночам собираются к прибою?

ПОСЛЕДНЕЕ ВИДЕНИЕ

Великой тишиной закованы снега.
Торосы дыбятся, немотствуя под фирном.
Всемирный океан стал саваном всемирным,
Захолодавшая земля вконец нага.

Фундаменты разбив, их обняла дремота;
Да и обломков нет для корешков плюща,
Здесь люди в городах сновали сообща,
Но где следы того, что было здесь хоть что-то!..

Все роли сыграны, все обрели покой,
Среди морей ветра забыли все дороги,

Жить не обязаны, не ведают тревоги
Леса, животные, усталый род людской.

А в вышине плывет лампадкою бродячей
Пытаясь рассмотреть огромный саркофаг,
В котором спит Земля, – небес убогий зрак,
Светила смертного, уже почти незрячий.

Короткий миг была довольна и сыта
Сожрав земную жизнь, чудовища утроба.
О звезды в небесах, в нем не иссякла злоба,
И взор его на вас нацелен неспроста!

Надежда, боль, тоска, миг силы, миг печали,
Любовь, дарившая могучие крыла –
Чем стала ты, Душа, и что с собой взяла?
С тобой ли разумы, что в мире замолчали?

Свое тавро века железною пятой
На всем оттиснули: не ведать зернам всходов.
Иллюзии богов и ропоты народов
В едином склепе спят, под общею плитой.

О Солнце! Старый друг растениям и аэдам,
Позволь же, чтоб теперь твой фитилек потух!
Так некогда в горах костер гасил пастух
И тьма великая на мир ложилась следом.

А коль мертва земля – усилья ни к чему:
Вступая в смерть, прерви мучение безделья!
Планет не береги, златого ожерелья
Тебе не надобно: кинь мишуру во тьму!

Вы, завихренья звезд, отнюдь не животворных,
Бежать пытаетесь, и погасить лучи, –
Через короткий миг вы канете в ночи
В священных пропастях небес немых и черных!

Спешите, и во Тьму ворвитесь напролом,
Там океан Тщеты спокоится безбрежный
Последний дом всего, что нам в судьбе мятежной
Казалось Временем, Пространством и Числом.

ТЫСЯЧЕЛЕНИЕ СПУСТЯ

Рычание ветров той ночью в полной мере
Кипело в темноте, крушась на море шквалом,
И, сотворенные из облачных материй,
Метались призраки по мысам и по скалам.

Шторм силу набирал все жутче, все жесточе,
На кряжах завывал со злобой и с апломбом,
И, темнотою пьян, сгонял чудовищ ночи
Как стадо буйволов дрожащих к гекатомбам.

Слюноподобная накапливалась пена,
Покуда медленно, стенья в морском просторе,
Росла гора воды, впадая постепенно
В эпилептический припадок черной хвори.

Так пела для меня ветров ревущих стая.
И я осознал, что песне шторма вторю:
О молодость, о страсть, о ты, мечта святая,
О горны звонкие, что протрубили зóрю!

От края пропасти, земле оставив тело,
От мира, коего нет горше и тлетворней,
Крыла обретшая, моя душа взлетела
К благоухающим устам свободы горней.

Огромной ночи зев нашептывал со всхлипом:
Разверзни створки врат! Предайся жизни внешней!
И вторили ветра, измученные хрипом:
Ответствуй красоте послушной и поспешней!

Тысячеление распалось жалкой пылью,
Я возвращен туда, где видел счастье в духе;

Но тут один лишь плач, убогий дар бессилью
И пляска бешеных теней среди разрухи.

МОРИС РОЛЛИНА



(1846 - 1903)

Морис Роллина родился в городе Шатору в средней полосе Франции. Благодаря протекции Жорж Санд, которая была другом семьи, молодой адвокат переехал в Париж. В столице Роллина получил известность, прежде всего, как исполнитель песен на стихи Шарля Бодлера, Леконта де Лиля и Оскара Уайльда. Но всеобщая слава пришла к Морису в 1883 году, когда он выпустил свой знаменитый сборник стихов «Неврозы», навеянный творчеством Бодлера.

АЛЛЕЯ ТОПОЛЕЙ

Леконту де Лилю

Стоял полночный час, на всем лежала дрёма,
И сон готовился проникнуть вглубь зениц. –
Но воздух побледнел от яростных зарниц,
И докатился гром от края окоёма.

Там собирался шквал, он ширился и рос,
Там туча в небесах мерцала наковальной,
Как некий жуткий зрак, все горше, все печальней,
Гроза простор земной залить потоком слез.

Так уголь среди золы сверкает непокорно,
Коверкая долин знакомые черты.
Горячий ураган стал вырывать кусты,
Меча по сторонам сухие комья дерна.

Я шел в безлунный мрак, и странствие сие
Одной лишь молнией обозначалось длинной;
Мой одинокий путь в аллее тополиной,
Сквозь грозовую тьму протянут был на лье.

Рать одряхлевшая дерев пирамидальных
Кивала кронами, колебля пряжу мглы,
Здесь ждали участи скрипящие стволы,
Под грохоты громов, уже совсем недалёных.

Нагрянула гроза. И ураган взыграл
На мириадах струн деревьев-исполинов:
Запели тополя, во мрак вершины вскинув,
Сливая голоса в немислимый хорал.

Так бьется человек в отчаянье озноба:
Дрожали тополя от комлей и до крон –
И ветви, и листву терзал со всех сторон
Шквал, демонстрируя, какой бывает злоба.

А гром все вновь и вновь напоминал с небес,
Что это он сейчас владычит над долиной;
Метались молнии в аллее тополиной,
Зигзагами змеясь меж кронами древес.

На тучах тополя чертили арабески
Как серной кислотой протравливая медь;
Ярился аквилон, не прекращал шуметь,
С восторгом чувствуя смертельных молний всплески.

Вот ливень начался – и ринулся в галоп:
Хрипя, и хохоча, и воя временами,
Лавиной горною, чудовищным цунами
На землю нисходил с ночных небес потоп.

Мальстрим не одолеть во тьме орде орлиной,
Что гибла, распластав увечные крыла;
Небесных кораблей к земле армада шла –
Сверкнула флагами, исчезла над долиной.

Песка и гравия чудовищный обвал
В ущелье рушился, какого нет бездонней:
Свистящий выводок, чешуйчатый, питоний,
Шипел и улетал, и плоть свою же рвал.

Как будто в глубине огромного Бисетра
Больных и раненых единый возглас рос:
Там поезда сошлись, чтоб рухнуть под откос -
И стать добычею карающего ветра.

Но все же ураган затих в урочный час
Отгромыхал свое, - вот хаоса не стало,
Вот аквилон исчез, рассеялся устало -
Пошел обычный дождь – и молний блеск погас.

Проходят вечера: чередой неугасимой
Зарницы вижу я, ослабевает дух,
И снова в темноте мой истязает слух
Двух тысяч тополей хорал невыносимый!

ВОЛЧИЙ ВОЖАК

ЖЮЛЮ БАРБЕ Д'ОРЕВИЛЬИ

Меня по вереску тропа вела простая
Прочь от селения, привычно, не впервой,
Я шел, короткий путь во тьме предпочитая –
Когда издали услышал жуткий вой.
Он знаменем был для мира нежилого:
Я вышел на погост, под сень креста гнилого,
Что руки простирали к беззвездной вышине, –
И понял, что стою пред стаей, в западне:
Здесь волки собрались, а впереди – вожатый,
Подобный старому солдату на войне –
Волчара матерой в ночи зеленоватой.

Томилась голодом измученная стая
Виденьем пиршества над жертвой чуть живой;
Посулом вожака свои мечты питая:
Кто терпит – будет сыт, по горло и с лихвой;
Но ярость сборища голодного и злого
Терзалась жаждою кровавого улова,
С трудом смилив себя во тьме и в тишине;
Однако не скрывал ужасных глаз в огне
Ночных, пустых полей чудовищный оратай,

Седеющую шерсть топорща на спине,
Волчара матерой в ночи зеленоватой.

Неясыть ухала, во мраке причитая,
Не в силах оборвать рассказ печальный свой,
На ветке скрючена, почти как запятая,
Как бы прикинувшись рыдающей вдовой;
И больше не было движенья никакого
Средь пыльной темноты и вереска сухого;
Лишь оловянными тенями при луне
Стояли волки там, готовые к резне,
Как инквизиторы, грозящие расплатой:
И грозно высился над ними в стороне
Волчара матерой в ночи зеленоватой.

И миг настал, когда, запальная, рудая,
Кобыла вынеслась дорогой роковой:
Отстав от табуна, в безумие впадая,
С клокастой гривой и тяжелой головой –
Затем, чтоб жертвой стать неслышимого зова;
Вся стая, ждавшая мгновения такого,
Немедленно слилась в чудовищной грызне,
Кишки или мозги – все по одной цене
В голодной ярости, в пирушке бесноватой;
И был со стаею своей наедине
Волчара матерой в ночи зеленоватой.

Спасенья от Небес уже не ожидая,
Я скрылся меж могил за высохшей травой.
На месте лошади, как понял лишь тогда я –
Ни гривы не было, ни связки хрящевой:
Прошел обжорства миг, тупого и слепого, –
И веря, что вожак ее накормит снова,
Прочь стая повлеклась, довольная вполне,
Слегка насытившись, в грязи, в крови, в слюне:
Ей уходить велел премудрый соглядатай,
Все время помнивший о слишком близком дне
Волчара матерой в ночи зеленоватой.

Посылка

Искусства грозный бог, будь милостив ко мне,
Я задремать боюсь на краткий миг, зане
Узрею вновь пустырь, кошмарами чреватый:
Страшусь: придет ко мне – хотя бы и во сне –
Волчара матерой в ночи зеленоватой.

Перевод с французского Е. Витковского



ОЛЬГА КОЛЬЦОВА

Родилась в Москве, окончила факультет журналистики МГУ. В периодических издания печатается с 1978 года, как поэт – с 1987 года. Поэтические произведения О. Кольцова печатала, в основном, на Западе: филаделфийский альманах «Встречи», нью-йоркский «Новый журнал», журнал «Новый берег», издающийся в Дании. С конца 1980-х годов занимается переводами. Публиковала переложения с немецкого (В. Буш, А. Маргул-

Шпербер, В. Айхельбург) и английского (Р. Фергюссон, Дж. Китс, О. Уайльд, Р. Киплинг, Л. Кэрролл, Р. Саути), а также стихи современных поэтов Индии. Автор книги стихотворений «Несвобода» (2007). Лауреат литературной премии «Серебряный век» (2008). Член Союза писателей Москвы. Живет в Москве.

ВОЛЬФ АЙХЕЛЬБУРГ (1912-1994)

КИПАРИС

Ты, кипарис, взнесенный в сумрак хладный,
столп одинокий на краю дороги, –
неплодный, сиротливый, безотрадный.
Снам не развеять траура тревоги.

Из бронзы ствол; лишь черная игла
вершины – иногда подвластна дрожи.
Как башня в бурю, крона тяжела –
клинок в ножнах из драгоценной кожи.

Ты верой тверд – она тебя взрастила.
И, горделиво ввысь взметнув копьё,
ты веруешь: небесной влаги сила
лишь закалит прочнее острие.

Как горный пик, ты столь же одинок.
Но, облакам служа ориентиром,
ты времени резвящийся поток
хранишь в молчанье сумрачном и сиром.

ОДИНОКОЕ ДЕРЕВО

Горизонт и ты
в безоглядных долах.
Время реет в полых
безднах немоты.

Если весть услышишь
о приходе срока,
веруя глубоко,
лишь листвою кольнешь.

Память скрыта в кроне:
развернет она
листьев письмена,
мягких, как ладони.

НОЧНОЙ МОТЫЛЕК

Залетев ко мне на огонек,
легкий танец ткешь ты для кого?
В одеянье светлом мотылек –
магия, загадка, волшебство.

Гость нежданный, брат моей тиши,
светом очарованный чужим.
Таинство ночное соверши,
дай ответ – чьей силой ты движим?

Иль помедли: вот моя рука,
книга – все нехитрые дары.

Дам тебе приют я до поры,
маленький король издалика.

ТАК ДОЛГО...

Так долго пробирается вода
на зов звезды, что жаждет заглянуть
в глубь родника, в земли отверстой грудь, –
так долго пробирается вода...

Она источит камень и руду.
В глотке одном их вкус не разобрать.
Быть может, ход воды – движенье вспять, –
она источит камень и руду.

Так долго... Не ищи заветный ключ.
Дождись, покуда день сменится ночью:
на глади вод увидишь ты воочью
звезды мерцающий, как память, луч.

ЧИСТОТЕЛ

У земли один удел:
в лозах – вспенится вино,
хочешь хлеба – брось зерно.
Лишь упрямый чистотел

волен сам в своем цветенье.
Знает – непреложен рост.
Пригляись – закон не прост,
разгадай, противясь лени.

Древность киснет в старых винах,
сирая земля скудеет.
Лишь седые ветры реют
над стерней времен пустынных.

СЛЕПОЙ ОТ СОЛНЦА

Тень руки, прохладная повязка.
Сквозь нее пылает красный шар.

Глаз моих не опаляет жар,
только кровь течет по жилам вязко.

Тяжелы от солнца, словно соты,
веки жадно впитывают свет.
Снова тяжесть сведена на нет
обаяньем яви и дремоты.

Слепота подобна тонкой коже –
мир сокрыт под веки на века.
Эта участь для меня легка:
прозреваю глубь свою – до дрожи.

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Ослепительное чудо,
утро – словно ниоткуда –
свет из тьмы.

Быстры стрелки циферблата,
колокольный звон – глашатай
пестрой кутерьмы.

Птицы – россыпь нотных строчек.
Распускающихся почек
еле слышный звук.

Первый луч листвы коснулся,
лист под ветром встрепенулся,
тихо дрогнул вдруг.

Задержи чуть-чуть дыханье,
не спугни очарованья
мимолетный миг.

В мире, заново согретом,
в птичий вслушайся, рассветом
озаренный, крик.

КОРОТКАЯ ОСЕННЯЯ ЖАЛОБА

Плач листьев. Ветер-лиходей
дань собирает с нищих крон.
Стук падающих желудей.
Шиповник кровью обагрён.

Случайным выстрелом задет,
по лесу заяц закружил.
Под мотыльковый менуэт
усталый день глаза смежил.

Пусть метко бьёт охотник в цель –
он октябрю не властелин.
Земля – страданья колыбель.
Бездомен воздух средь равнин.

МЕРТВЫЕ

Умершие, в раздумьи глядя ввысь,
достигшие неведомой страны, –
с ветрами ваши голоса слились
и продолжают жить средь тишины.

Неслышным роем реет хоровод, –
вам зримо то, что зрячему незримо.
Покорно мой встречаете приход,
не ропщете, коль прохожу я мимо.

От дум привычных стоит отрешиться –
обступите меня со всех сторон.
И призрачной становится граница,
над миром торжествует ваш закон.

МИРТ

Из объятий мирта деву ночью
вырвал он, – о том его молил
нежными цветами куст,
чтобы зазвучать певучей нотой.
Или ты, Диана, в серебре

лунном ветку тронула рукой –
и от боли птицей взмыла ввысь?

Совершится ль вновь преображение –
перья легкие, рожок забытый
девой станут, в горьком аромате
глянцевых листов тревожа ночь?

Лишний шаг – и снова исчезает,
словно заколдованная пена,
но мираж влечет неодолимо –
дева, мирт цветущий, птица, свет.

БЕЛЫЙ ВОЛК

По насту слепящему шел с трудом.
В котомке – еды скудный запас.
Мертвое озеро, сковано льдом.
Один я был в тот странный час.

Зиял провалом каждый след,
тянуло холодом могил.
И горечью прошедших лет
опутывал озерный ил.

Остановился отдохнуть.
Вдруг белый волк – как снег, белес –
бесшумно преградил мне путь.
Я рассмеялся – он исчез.

МИНЕРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК

Душ неродившихся влага, нечто,
влага начал, немного Ничто.
Там, где была ты пульсом молчанья,
нет обители,
никогда не дымился очаг,
зерно не всходило, нет погребений, –
колкой струей ты вышла, сощураясь.
Теплая, словно в ладонях земли
долго покоилась.

Выход

глубинного плача в отблесках пламени,
слеза, подступившая без причины,
горчайший глоток из праздного кубка.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Горька земля, но сладок аромат
покорных ветру трав, что в полудреме
об осени чуть слышно шелестят
в предсмертной, опьяняющей истоме.

Пусть ядом полнится морское лоно –
седая соль, голубоватый йод
во влаге раковин мерцают сонно,
в саргассах, зыблемых пучиной вод.

Былое форму сделает забвеньем.
Воскреснет то, что обратилось в тлен –
ромашек серебристым опереньем,
звездой морской, – для новых перемен.

ДЕЛЬТА

В тяжкий сон, в глубокое забвенье
движется Харонова ладья,
рассекая веток отраженья,
вслед за солнцем в сумрак уходя.

К берегу мертвых лодка пристаёт.
Птицы стаями крылатых душ
прянули. Шурша среди болот,
к трапезе поспеть стремится уж.

Ветер в зарослях рогоза плотных;
корни оплетают дно реки.
И, омывши жертвенных животных,
власть берут над смертью рыбаки.

ТАЛАССА, ТАЛАССА!..

Словно темный плащ,
никем не тканый,
ветер пространств летящ
безымянный,
эхом вечным облечен:
Лемнос, Тасос, Пелопоннес, –
солнечный скальный срез
в пене времен.

Примет земля лозу во чрево –
вино забродит в ягодах полных.
Время скрывается в волнах.
Ветер доносит вдруг
звуки былого напева:
парус «Арго» упруг.

Перевод с немецкого Ольги Кольцовой



ЯРОСЛАВ СТАРЦЕВ

*р. 1969, Свердловск (ныне Екатеринбург)
После окончания школы поступил в Уральский
госуниверситет (1987), на исторический
факультет, – попутно закончил переводческий
ФОП по французскому языку. В 1999 опубликовал
несколько стихотворений в журнале УРАЛ, с 1998
– стал известен подборкой переводов из Жоржа
Брасенса и Жака Бреля в электронной библиотеке
Мошкова, тогда же перевел для издательства*

*Уральского госуниверситета книгу Филиппа Арьеса «Ребенок и семейная
жизнь при старом порядке» и, совместно с коллегой, книгу Эммануэля
Леруа Ладюри «Монтайю, окситанская деревня». Осенью 2009 года
занял первое место на конкурсе сайта «Век перевода».*

РЮТБЁФ

(ок. 1230- ок. 1285)

Французский трувер, один из самых ярких представителей французской поэзии в эпоху Людовика IX. О жизни его известно только, что он

происходил из Шампани, приехал в Париж, терпел постоянно большую нужду, вёл довольно беспорядочный образ жизни и рано стал писать.

ПОКАЯНИЕ РЮТБЁФА

Мне должно пенье позабыть,
И так рифмаческая прыть
Моёй питалась долго страстью.
И сердцу впору слезы лить –
Я Богу не умел кадить,
Перед его склоняясь властью,
Всегда влекла меня к участию
Игра своей манящей сластью.
Псалмы не пробовав нудить,
В День Судный зря могу пропасть я,
Коль Ты, в ком Бог зачат, по счастью
Не станет за меня молить.

Да, время каяться пришло,
Смириться сердце не смогло
Заране – так сейчас придётся,
Добра не знало, знало зло –
И мне ли раскрывать хайло,
Когда и праведник трясётся!
Тащил я, что ни попадётся,
Все, что едят, и все, что пьётся, –
Я не монах, не подвезло.
И если вопль мой вознесётся:
« Не ведал!..» , – он едва ль зачтётся:
Снискать спасенье тяжело.

Спасенье, как же! Боже правый!
Ведь Ты давал мне разум здравый,
И острый смысл, чтоб мир познать.
И облик дал свой величавый,
И дар бесценный и кровавый,
Смерть за меня решив принять!
Ведь мог Врага я отогнать,
Зане в темнице не стенать,
Что уготовил мне Лукавый!

Его молитвой не пронять,
Ему едино – сброд иль знать,
Не увернется и вертлявый.

Я слушал тело, вождедел,
Я рифмовал, пороки пел
Одних, чтоб быть другим по нраву.
Враг нашептал таких мне дел!
Душа безродна, ей в удел –
Узилище, увы, по праву.
Коль Та, в ком вижу свет и славу
Не исцелит мою растраву,
То я, как видно, прогорел,
Живя совсем не по уставу.
В такой болезни быть мне здраву
Какой бы врач помочь сумел?

Целительница мне знакома –
И от Лиона до Вандома,
Нигде её искусней нет,
В веках умелицей рекома,
Ей гной подвластен и саркома,
Любой заразы сгинет след!
Она дала простой совет –
И Египтянку Божий свет
Спас от греха и от содома,
Очистив от порочных лет!
Как жажду я, угрюм и блед,
Душе такого же приёма!

Могуч да тощ – любой умрёт,
И мне случится укорот,
От смерти что защитой станет?
Иной упрётся сумасброд,
Упрямо ногу в пол упрёт –
И рухнет, коли смерть потянет.
Я смерти жду, лишь тем и занят –
Едва ли кто её обманет,
Она и денег не берёт.

Как тело в жалкий прах увянет,
Вот тут-то для души настанет
О прошлом каяться черёд.

А каяться – немало в чём,
И лучше бы молчать о том.
Ужели поздно, святой Боже!
Грехи-то тлели день за днём,
И мне твердят монах с попом,
Что угли – пламени построже.
Мы с лисом хитростью похожи,
Но я лишь при своём, похоже,
А лис – давно в лесу своём.
Мир скажет « пас » , и мне негоже
На пас вестись – пасую то же.
Кон сыгран, мы поврозь уйдём.

ОГЮСТ АНЖЕЛЬЕ

(1848-1911)

Родился на севере Франции. Был первым преподавателем английского языка и литературы на Факультете словесности Лилля, прежде чем стать его деканом с 1897 по 1900 г. Поэт, литературный критик и историк литературы.

ЗОЛОТОЙ ФАЗАН

Подругу золотой фазан пленить желая,
Все перья распушит, и светится, блистая,
Переливаясь, как сверкающий витраж.
Прекрасен золотой взъерошенный плюмаж,
И грива – в цвет зари с полосками эбена.
Рдяную грудь раздув, он шествует надменно,
Чуть крылья приподняв, величественно-важен,
И хохолок горит; весь бронзою украшен,
В прожилках малахит зелёной шеи, франтом
Глядит: спины багрец с крыла злачёным кантом,
Хвост игристый блестит, усыпан алой зернью,
Теснимой угольных штрихов глубокой чернью,
По полю ясного с искрою аметиста.
Всё светится огнём, взвихрённым золотисто,

То опадающим, то охватившим глаз –
В сверкании шальном сапфир или топаз
Разбрызгали лучи сиянья голубого,
Столкнувшись невзначай – и заискрили снова.
Над верхней кромкой глаз – прозрачных самоцветов –
В оправе серебра, среди бронзовых просветов
Златая дрожь скользит волны неясным блеском,
Рождаясь, расходясь, кипя, вздымаясь плеском
Бежит, стремится вширь, дробится на чешуйки,
Рисую филигрань, пылают жаром струйки,
И, в россыпь превратясь из золоченой пыли,
Трепещет взвесью брызг с оттенком кошенили,
Чтоб, в невесомую затем соткавшись сеть,
Окутать птицу всю, и с нею пламенеть.

ОДИЛОН-ЖАН ПЕРЬЕ

(1901-1928)

Франкоязычный бельгийский поэт. Родился и провел жизнь в Брюсселе. Настоящее имя – Жан Перье; псевдоним Жан-Одилон Перье взял, чтобы его не путали с известным в то время актером.

РАНА

Рене Пюрналю

Туман – по локоть, и, гордыню сжав зубами –
Добычу и щенков так держит дикий зверь –
Дышу, иду. Меня мир захватил теперь,
Все краски бытия к закату лягут сами.

Под пикадором сник, и кровью испестрён,
Конь топчется в грязи из вспоротого чрева.
И ангел-златолюб – наездник мой: без гнева
Увидев цель, меня прищпоривает он.

Но вот - юна, жива, с пречистою рукою,
Она мельканьем крыл, и небом, и листвою
Накрыла тот пустырь, где я кирку вонзал.
Блеск жилы под травой – с ним мало что сравнится!
И слабости любви в тени публичных зал...
– И за спиной кровит мой ангел, как девица.

ПРИЗНАНИЕ СМЕРТНИКА

Как голова среди волос бездонность прячет –
Повенчанный с землей пехотный рядовой,
Твой к обладанию путь в траве высокой начат,
Округлости земли ты ухватил рукой.

О, давняя любовь, из мертвых сложена, –
Утешился тобой, на женщин столь похожей,
Покойной силы пьешь не каждый день сполна
– И в нищете своей смешаюсь я с пейзажем –

В кустах шипастых блеск прекрасен ружей новых!
Вращается земля. Венера для готовых
К еде солдат несет и хлеб, и молоко.

Мы – к животу живот, сердца сравнялись ритмом.
Упали небеса, накрыв нас, ровно в пять.
Под бременем таким – уж точно не разнять.

АДОЛЬФ ПУАССОН

(1849-1922)

СОСНЫ

При мне трех сосен тень, что царствуют над садом
И, голову кружа, вздымают ввысь стволы.
Среди вершин весной таятся гнезда рядом,
Как если б их держал ваш аромат смолы.

Вы память обо мне переживете, сосны!
Когда я буду спать, забытый средь живых,
Писания мои исчезнут – вялы, косны,
На кров мой бросьте дрожь больших ветвей своих.

Когда на кладбище свой прах уже смешаю
Я с почвой жирной, вы, возвышенно-горды,
Взнесётесь до небес, покой их нарушая, –
Свидетели тех дней, чьи сгинули следы.

И будет вёсен ряд, сменив сезон понурый,
И гнезда вновь найдут приют среди ветвей;
Ковер увядших игл зимы забытой шкурой
Лужайку погребет под желтизной своей.

Но грянет миг – и вы исчезнете бесследно,
И тибуртинский вам бессмертия венец
Гораций не сплетет, не воспоет победно, –
Уйдете, как ушел безвестный ваш певец.

Мой прах счастливей – он однажды возродится,
Восстану во плоти, когда Господь велит,
И мой последний сон однажды прекратится, –
Но, сосны, вас, увы, никто не воскресит.

Когда повинен я, Господь, что я писал –
Не слишком будь жесток, отмерь по силам муки,
И грех мечты прости, что я не обуздал,
Но не несли ни зла, ни гнева песен звуки,
И я один страдал порой от сей доуки –
И, счет ведя тому, чем полон мой развал,
Не слишком будь жесток, отмерь по силам муки,
Когда повинен я, Господь, что я писал.

Когда повинен я, Господь, что я мечтал,
Заботу о своих прими как оправданье.
Как пахарь, от моих устав тяжелых рал,
Я музе сократить старался ожиданье,
И к ней спешил, чтоб здесь ей скрасить пребыванье –
Когда повинен я, Господь, что я мечтал.

Когда повинен я, Господь, что жар познал
Любови озорной, в те дни, что был я молод,
И в наслаждениях миг счастья испытал,
Не думая тебя презреть, любви фиал
Я жадно пил, меня снедал неясный голод,
Я не терял стыда, но если и желал

Сильней, чем ты велишь, – прости, умерь свой холод,
Когда повинен я, Господь, что жар познал.

Когда повинен я, Господь, что я искал
Восторга, к счастью свой путь я устремлял,
Попав в круговорот сей жизни эфемерной,
Когда я тратил зря сердечный мой запал,
За призраком гонясь в тщете несоразмерной,
Поверь мне, что мой труд я тем не предавал –
Когда повинен я, Господь, что я искал.

Когда повинен я, Господь, что я рыдал,
Что был я слаб в часы мучительных терзаний,
Что жертвой часто был для разочарований,
И что меня легко валил житейский шквал, –
Прими, что человек слабей других созданий:
Прости, Господь, – когда повинен, что рыдал.

Перевод с французского Я. Старцева

ΠΡΟΖΑ
ΑΞΟΠΡ





ЕФИМ ГАММЕР

Поэт, прозаик, художник. Закончил отделение журналистики ЛГУ в Риге, автор 20 книг стихов, прозы, очерков, эссе, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству.

Печатается в журналах России, США, Израиля, Германии, Франции, Бельгии,

Канады, Латвии, Дании, Финляндии, Украины : «Литературный Иерусалим», «Арион», «Нева», «Дружба народов», «Кольцо А», «Белый ворон», «Новый журнал», «Слово\Word», «Русская мысль», «Литературная газета», «Российский писатель «LiteraruS – Литературное слово», «Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Урал», , «Сибирские огни»,»,», «Север»,», «Настоящее время», «Новый берег», «Эмигрантская лира», «Дальний Восток», «Белый ворон», «Русское литературное эхо», «Новый свет», «Кругозор» и т.д.

«Золотое перо Руси», 2005, 2010.

Живет в Иерусалиме.

ОБОЙМА

Говорят, что когда военный инженер Сергей Иванович Мосин представил свою трехлинейку образца 1891 года на одобрение взыскательной комиссии, царь Александр III – Миротворец спросил:

- А на какое количество патронов рассчитана обойма вашего ружья?
- Сколько пальцев на руках – столько и патронов: десяток, – справно ответил военный инженер Мосин.
- Русскому мужику достаточно и пяток, – определил царь, не мешкая. Отстрелялся и в штыковую.

Эти слова из царского наказа сидели в голове молодого-необученного солдата Костика Сирого, жестянщика завода «Красный партизан». Он топал по снегу на защиту Москвы, грея в кармане полушубка одну-разъединственную обойму на пять патронов. Винтовку Мосина нес в четырех шагах от него рослый старик Хлебняк, бригадир столярного цеха. Два часа назад, при раздаче оружия, призывникам из народного ополчения выдали по одной такой штуковине на четверых, и всем, без исключения, дали обойму.

– Убьют оруженосца, – разъясняя сержант при раздаче, имея в виду счастливого обладателя трехлинейки, – бери его боевой инструмент, и пали, пока тебя не решат. А решат тебя, передай боевой инструмент товарищу. Патронов, чтобы палить, на всех хватит. Костик Сырый и думал, вдавливая рубчатые подошвы в снег, на жизненную тему: когда дойдет до него очередь, чтобы палить? Как ни думай, но выходило: прежде должны убить бригадира Хлебняка, потом решить комсомольского активиста Отварного, за ним подсобника из склада готовой продукции Джамбулова, и лишь затем... Да, следующая очередь его – Костика Сирого. Отстреляется – дело быстрое, и – что? В штыковую? Это дело нехитрое. Но положено ли по Уставу одиноко ходить в штыковую? Вот ведь вопрос – положено или нет? И спросить не у кого. Офицеров не видно, а до старика Хлебняка – расстояние: четыре шага в зимнюю пору при простуженном горле и завьюженном ветре – это тебе не сказки казывать на полатах в сочельник. Легче по команде передать, через Джамбулова. Торкнул его локтем в бок, где под ватником грелась обойма:

– Джамбулов.
– Слушаюсь!
– Положено по Уставу одиноко ходить в штыковую?
– Ей Богу, не знаю.
– Спроси у того, кто справа.
Справа от Джамбулова шел комсомольский активист Отварной. Джамбулов торкнул его в бок, где под ватником грелась обойма, спросил, что приказано, и от себя добавил:

– Передай по начальству.
– Одиноко? – переспросил у него Отварной.
– Ей Богу, не знаю. Однако, одиноко.
Через три минуты, пройдя обратный путь от старика Хлебняка, ответ добрался по назначению до Костика Сирого. Ответ гласил: «Одинокая ходит гармонь».

– Причем тут гармонь? – спросил Костик у Джамбулова.
– Ей Богу, не знаю. Но все, полагаю, по Уставу.
«Устав не дураком писан», – подумал Костик Сырый и забеспокоился: где тут в снежном мареве раздобыть гармонь, чтобы сходить в штыковую атаку? А сходить придется. Как ни крути гвоздящую мысль вокруг мозговой извилины, но ему в живых оставаться последним из всей четверки, значит, и в атаку ходить,

примкнув штык. «Эх, атака, ты, атака, дураку дана для страха. Ну, а парню-храбрецу страх, конечно, не к лицу», – сочинил, не подумав, Костик Сирий. Это с ним случалось неоднократно. Стоило отключиться от разных там досужих дум, как стишки – сами собой – втемяшивались в голову, словно небо их посылало, считай, для развлечения.

Честно признаться, это было единственное развлечение на этот час.

Где-то рвануло, рядом ухнуло, пулеметом задолдонило у опушки леса. Искры посыпались из глаз, и в их ослепительном сиянии высветилась избушка станционного смотрителя, скособоченная, с порушенной крышей и выбитыми стеклами окон. Спотыкаясь о

рельсы, проложенные, как выяснилось при беге, под ногами, Костик Сирий сыпанул к нежилому по внешнему виду помещению.

Следом за ним рванули Джамбулов и комсомольский активист Отварной. Старик Хлебняк запозднился с передвижением по открытой местности и попал под осколок артиллерийского снаряда.

Прилег на шпалы, посмотрел на приближающийся немецкий танк и выпустил по нему всю обойму, что и полагалось сделать перед смертью, дабы передать оружие следующему товарищу. А где он – следующий товарищ? Оглянулся старик Хлебняк, ища глазами кого-нибудь из попутчиков на тот свет, да так и застыл, уже не дыша даже для согрева рук.

Комсомольский активист Отварной, наблюдая у порога избушки за немигающим взглядом старика Хлебняка, вспомнил, что он и есть следующий товарищ, которому положено перенять оружие. Он вынул из кармана обойму и потерял ее о шершавый рукав ватника.

По каким-то еще неведомым соображениям ему показалось, что обойма вся насквозь промерзла, и ее прежде надо как-то обогреть, иначе порох в гильзе не вспыхнет и пуля не шархнет по врагу.

Эти соображения он довел до ума рядового Джамбулова. Тот понял мало, зато главное: бежать за винтарем Хлебняка придется ему и стрелять, если что, тоже придется первым, в нарушение убойной очереди. Он и побежал. И принялся стрелять, вернее, отстреливаться, поспешно ставя ноги назад в нужном направлении.

Стрелял-отстреливался. Все патроны израсходовал, но трехлинейку доставил по адресу – прямо в руки комсомольского активиста Отварного. Тот принял оружие и удручающе покачал головой.

– Что же ты так?

– А что? – спросил возбужденный от счастливого для жизни исхода

боя Джамбулов.

– Где твоя обойма теперь?

– Ей Богу, не знаю. Пуля – дура, не скажет, куда летит.

– Стрелять надо по врагу, а не в небо, – рассудительно пояснил Отварной, снаряжая обойму.

Костик Сирый пришел на выручку приятелю:

– Вот тебе подоконник, а вот и враг, – и указал на немецкий танк.

Отварной был не снайпер, но прицелился, наводя ствол на смотровую щель в броне чудовищной по размерам машины.

И нажал на спусковой крючок – раз, отдернул затвор, два – отдернул затвор. Пять выстрелов – ни одного попадания. Шестого не

последовало. Обойма кончилась, а сам не погиб.

Как поступить в этом случае с оружием?

Передать по назначению!

И комсомольский активист не заупрямился – передал.

Костик Сирый подул на пальцы, чтобы двигались гибче, и подумал, куда стрелять посподобнее? В лоб по башне? Старик Хлебняк

пробовал – не пробил. В смотровую щель? Комсомольский активист

Отварной пробовал – не попал. Что же это за чудо-танк?

Заговоренный, что ли?

– Да ни хрена он не заговоренный! – распалился Костик Сирый.

И давай бить по круглым канистрам с бензином, навьюченным на металлическую махину, чтобы ей хватило горючего добраться до Красной площади.

Падкое на огонь топливо и схватилось коптящим пламенем.

Схватилось так, что подпалило небеса, по которым прежде бабахал без толку Джамбулов.

Немцы выскочили из танка, катаются по снегу, задымляя атмосферу прожигаемой насквозь униформой.

Расстрелять бы их всех, походя. Да обойма кончилась.

Что предпринять?

– Теперь в штыковую! – вспомнил Костик Сирый наказ батюшки царя – миротворца из прошлого века.

– А как по Уставу без гармонии? – задал наводящий вопрос комсомольский активист Отварной.

– Ей Богу, не знаю, – простужено шмыгнул носом Джамбулов. –

Но трое на троих, это стенка – на стенку...

– Мы и без гармонии зададим им такую музыку с перцем, что... – сказал на психе Костик Сирый и примкнул штык, оставив на потом

все разумные мысли. В этот безрассудный момент жизни и снизошли на него с неба новые, последние за этот день стихи: «Русь не дам вам на отдачу. Всех поставлю у стены и так морду раскудрячу, что усретесь вы в штаны!»

– Баста!

– Помирать нам рановато!

– Ей Богу, будем жить!

И все трое пошли в штыковую на автоматы, держа попеременно – для устрашения – винтовку наперевес.

И?

Из трех солдат при защите рубежа в живых остался только Костик Сирый.

Ему и учинили допрос за перерасход живой силы.

– Где люди? – спросил у него капитан Задолбов.

– Умерли.

– А немцы?

– Немцы убиты.

– Почему же мы их не видим в наличии?

– Их забрал танк, тот, что не подбитый.

– А подбитый?

– Подбитый он взволок на прицеп, и тоже забрал.

– А тебя?

– Я спрятался.

– Как так спрятался, когда кругом враги?

– Так и спрятался, по той самой причине – враги.

– И не нашли?

– Да война кругом: справа пушки грохочут, слева пулемет дурдомит, напрямки пуляет наш уральский полк народного ополчения.

А сзади, за ним, Москва – отступать некуда.

– Немаки, выходит, испугались?

– Поди, спроси.

– А вот и поди, а вот и спроси. Это я тебе говорю, капитан Задолбов.

– Но я по-немецки ни бум-бум.

– А они по-русски.

– Как же спрошу?

– Кулаком по чайнику и тащи сюда. Мы у них и спросим. Про рекогносцировку их сил. А иначе обанкротимся с наступлением.

– Но ведь...

– Разговорчики! Нам живой «язык» нужен, а не твоя брехня из разговорного жанра.

- Так я мигом.
- Без «языка» не возвращайся, не то припомним тебе, что людей в расход пустил, а последний патрон не сберег.
- Какой патрон? – растерялся Костик Сирый.
- Опять не дошло? Тот, последний, что – для себя.
- Для себя у меня не патрон, а штык, – нашелся солдат и взвалил на плечо трехлинейку. – Разрешите идти?
- Иди.

И пошел Костик Сирый по снегу, в ту, закрытую для наступающих частей сторону, где вражий глаз высматривает наших лазутчиков.

Пошел – не оступись: точняк по проложенному танковыми траками маршруту. Следок в следок. Пошел и дошел. А когда дошел, то и вышел к окраине деревни: на десяток домов одна пыхающая дымом труба. А возле нее – конь-тяжеловес, впряженный в сани.

«В избе немаки! – догадался солдат. – Кашеварят, небось».

Приноровился нюхом, угадал запах самогонки: «Поминки, чай, справляют по тем, кого я штыком укадобил».

Облизал губы, протер рот кистью руки, чтобы не замерз в ледышку.

И дальше по следку траков к сцепленным тросом танкам. Один пыхтит, двигатель прогревает, другой, обожженный, в молчанку играет, снуло опустив к земле пушку. «Ого! – подумал Костик Сирый, – Какой знатный «язык» и живой притом». Нет, не о танке подумал Костик, а о том, припертом к рычагам водиле, который гоняет на нетралке мотор, полагая, что таким образом справится с генералом Морозом. Да ни хрена не справится, если его по чайнику трахнуть, как давече велено, и в плен утащить.

Вполз на броню, добрался, оскальзываясь, до открытого люка.

– Ганс? – послышалось снизу.

– Я – я! – откликнулся, растягивая личное местоимение по-немецки, в смысле «да», хотя отродясь ни на каком наречии, кроме русского, не бухтел.

Представившись, шараянул мерзлявого гада по кумполу. Долго ли, умеючи? И что? А то: сник вместе с ним. Не выгащить безвольную фигуру на простор русской земли: пивной бочонок – не человек, слишком грузен для хилых плеч. Пришлось мозговать по-спешному, пока по соседству не прервались поминки. «Мозгуй не мозгуй, все равно получишь – где наше не пропадало», – снова подумал Костик Сирый. Выбрался из железа, выпряг коня-тяжеловеса из саней, и прикрепил его задком к гундосому танку.

– Но-но! – дал животине по заднице нагоняй. – Поехали, что ли? И поехали. Следок в следок, по спрессованному предварительно теми же танковыми траками снегу.

– Но-но! – говорил, не думая, Костик Сирый – подгонял лошадь, опасаясь выстрела снайпера. И теперь, уже не думая ни о чем из-за опаски близкой смерти, машинально сочинил стихи, как это обычно с ним и случалось: «Когда закончится война и всех врагов отправит «на», куплю пиджак я и штаны, чтобы гулять на выходных. На лацкан я прилажу бант, и буду выглядеть, как франт. Влюблюся в девушку-душу, женюсь и деток нарожу».

Сочиняя стихи, Костик, ясное дело, потерял чувство времени.

А когда очнулся, глядь, уже среди своих, и не один, а с тягловым животным – конем, двумя вражьими танками и живым «языком» в придачу. Следок в следок вышел к избушке станционного смотрителя, возле которой еще сегодня тыкался в штыковую атаку на автоматы.

– Здравствуй, солдат! – сказали ему с приветствием.

– Здравия желаю! – ответил он с радостью: живой, где ни пошупай, и нешуточные трофеи доставил.

– Смекаlistый, мать твою! Это я тебе говорю, капитан Задолбов.

– Рад стараться!

– А не послать ли нам тебя?..

– Оставьте при исполнении!

– Нет-нет, не туда мыслью заплетаешь. В офицерское училище пошлем тебя напрямки. Война – не пальцем делается. Люди нужны, бля!

– Честь имею!

– Береги ее смолоду, а то обанкротишься.

Дальнейшее Костик не услышал. В нем уже хороводили стихи и писались сами по себе, в уме, конечно. «Жизнь еще ценится, покуда пиво пенится. Влюблюсь. Женюсь. Своим детям житуху сытную создам».

АЛЕКСАНДР ГРОЗУБИНСКИЙ

Про Наташу

Это было достаточно давно. У нас еще не было интернета, сотовых телефонов и даже персональные компьютеры уже ожидались, но застряли где-то у финской границы.

Много чего не было, но Советский Союз еще был. Я назывался, принятым тогда словосочетанием, «молодой специалист», то есть был действительно очень молод и считал себя специалистом.

Наверное, чтобы добавить мне больше оснований считать себя таковым, моя богатая нефтяная фирма отправила меня из Сибири в Киев на Курсы Повышения Квалификации. Время было выбрано фантастическое: май-июнь.

Как раз зазеленели Днепровские склоны. Расцвели каштаны на бульварах. Мои коллеги по учебе, все больше из оборонки:

Ленинградские верфи, Ижевск и какие-то города, которых нет на карте, с номерами почтовых ящиков вместо имен и названий. Ребята совершенно обалдели и рвались фотографировать каждый цветок. Я, выросший в Харькове, все это видел с детства и так не впечатлился. Но когда девочки из Киева, тоже соученицы, отвезли нас в Ботанический сад, где одновременно зацвели все двадцать, имеющихся у них сортов сирени, от красок и запахов обалдел и я.

Киевская родня теперь – все, кто жив, обитает в Балтиморе, но тогда они привычно пилили скрипки в симфонических оркестрах Киева, приняли и поселили меня роскошно. На лето их взрослые дети и внуки перебрались в квартиру старшего поколения в самом центре, а кооперативная квартира в зеленом районе Дарница сдавалась жильцам.

Кооператив принадлежал Киностудии Довженко, ее оркестру, театрам и другим из мира искусства и культуры. Рядом со мной владела квартирой хореограф и постановщица танцев – колоритная цыганка. В лифте ездили девушки модельной внешности с ногами от ушей. Вверх и вниз ездили струнные и духовые, деревянные и медные. Где-то рядом может быть разбирали партитуры или писали новые мелодии, готовились к концертам. Я залетел туда из совсем другого мира, не знал ноты и всегда поражался чьему-то умению извлекать гармонические звуки из этих странных предметов, но было очень интересно.

Меня пустили в пустующую гостиную одной из квартир. В спальне жил молодой, высокий, красивый контрабасист оркестра киностудии

Довженко. Звали его Валера. Он отслужил в каких-то очень специальных войсках. Для поддержания формы каждый день бегал кросс за две станции метро на открытую спортплощадку, качался. Жил бедно. Питался, в основном, овсянкой «Геркулес». Я подкармливал его вареной колбасой из ближнего гастронома.

Он играл в симфоническом оркестре, но бредил джазом. Готовился к очередному джаз-фестивалю. К нему приходил уже немолодой, усталый саксофонист Володя. И я слышал, как из спальни басовито рокотал контрабас: в чем-то убеждал, уламывал, убалтывал. А саксофон был девкой. Она то капризно картавила, то пискляво капризничала, потом закатывала истерику, но, наконец, сдавалась рокочещему контрабасу. Они слитно пели долгое соитие и вместе взмывали в крещендо оргазма.

В свободное от джаза время, Валера был мил, красив и очень популярен среди девушек. Иногда вечерами телефон накалялся от звонков поклонниц его музыкальных и иных талантов.

Но в этот вечер телефон молчал. Мы мирно ужинали уже традиционными чаем с колбасой, и Валера рассказывал, как он устал сегодня.

– Представляешь? Две репетиции и запись, а мне там солировать пять раз, а потом еще зуб заболел.

И вдруг добавил:

– Подруга в гости звала на всю ночь. У нее родители как раз на дачу уехали, но я не пойду, сил нет.

Он поплелся в прихожую к телефону и совсем другим, не прежним голосом замурлыкал в трубку:

– Наташенька, солнышко, я не приду. Нет, ну очень люблю. Нет, ты у меня единственная. Что ты? Нет, очень люблю, но такой день. Зачем я тебе такой дохлый?

И опять что-то про репетиции, запись, соло и зуб. И про любовь: сильную, верную и неугасимую. Он вернулся в кухню. Мы допили чай и разошлись по комнатам.

Засыпал я волшебным. Кто-то этажом выше профессионально – такой был дом – подбирал на пианино “Let it be”. Было слышно, как правая рука с третьей попытки нашла лейтмотив. Тут же включилась левая с аккомпанементом. И гениальная мелодия Леннона, тихо плывущая из окна высотки к Днепру, стала моей колыбельной.

А пробуждение было мерзким, как панк-рок и heavy metal вместе взятые. За окном – темень, а в нашу входную дверь кто-то звонит и

одновременно лупит всеми свободными конечностями. Подлый Валера не подает признаков жизни, наверное видел сон, где ни репетиций, ни записей, ни студии Довженко, а только джаз, джаз и джаз кругом.

А я чувствовал ответственность за целостность двери не чужих мне людей. Поэтому, путаясь в трусах, пошел разбираться, кому мы понадобились, и почему уже не «тиха украинская ночь».

– Кто там?

Голос тембра драматического сопрано сообщил:

– Это Наташа. Где Валера?

– Он спит.

– Разбудите его.

– Не, ну это, девушка, вы сами.

Я открыл дверь.

Что-то, стуча каблуками, пронеслось мимо меня в комнату Валеры, но я успел это рассмотреть. Повторяю, я вырос на Украине, но таких чистых украинских кровей видел не много. В России таких просто не бывает, там таких не делают. Она была черноволоса, черноброва и черноока. Все это выгодно оттеняло белизну лица, шеи и чего-то еще, видного из смелого декольте. Еще имелась, бурно дышащая, грудь не малого размера, волнующие бедра и всеокрушающий темперамент.

Из спальни раздался жалобный стон Валеры. Я заподозрил убийство, но он был жив и, тоже неглиже, примчался ко мне извиняться за буйное поведение его гостыи.

Я лег досыпать, тихо радуясь, что моя кровать не у общей стенки. Еще обрушат, эта может, – думал я.

Утром следующего дня я нашел Валеру на кухне. Он никуда не бегал этим утром, грустно варил свой «Геркулес» и гордо отказался от предложенной мной яичницы. Ему было дико неудобно, он опять и опять извинялся.

– Но знаешь, – сообщил он, – я вчера повернулся к стенке и так до утра, пока не ушла.

– Не верю, – сказал я, – я ж ее видел, – ты б живым не вышел.

– Не вышел, – грустно согласился он. – А как ты думаешь? Чего она вообще приперлась?

– Элементарно, Ватсон, – я посмотрел с высоты своих аж двадцати шести на его всего двадцать два:

– Ты ей позвонил, она решила, что ты с другой и хотела поймать тебя на месте преступления. Или, все равно трахнуть, пусть не у себя дома.

Он обалдело захлопал пушистыми ресницами и сообщил:

– Так я ж не ей вчера звонил, это другая Наташа. Правда, с этой тоже когда-то что-то было, но месяц назад. Я думал, что у нас уже все.

– Может и мне перейти на «Геркулес»? – завистливо подумал я, – но где его взять у нас в Сибири? Колбаса, правда, там тоже только по праздникам, и я так не люблю овсянку.



ЕКАТЕРИНА ДАНОВА

Журналист с полувековым стажем работы в России. Четверть века работала главным редактором на телевидении. Живет в Австралии с 1996 года. Публикуется в различных печатных изданиях. Регулярно выступает в русской программе радио SBS. Проводит самые содержательные экскурсии по Мельбурну. За годы жизни в Австралии выпустила 10 книг о городе Мельбурне и стране

Австралии.

Робин Гуд или разбойник?

Возможно, не все знают, что Австралия имеет полное право претендовать на то, что именно она была одним из пионеров кино! Во всяком случае, считается, что первый полнометражный, художественный фильм был снят здесь и назывался «Банда Келли»!

Того самого разбойника, о награде за поимку которого в конце XIX века на дверях всех почтовых отделений, гостиниц, пивных в Мельбурне и в небольших городках вокруг него расклеивались объявления с вензелем королевы Виктории.

Насколько киношный образ «благородного разбойника» соответствует реальному Неду Келли и тем грабежам и убийствам, которыми прославилась его банда – вопрос спорный. И со временем происходят все новые события, ставящие под сомнение его славу «австралийского Робин Гуда!»

Австралийская история и впрямь настолько колоритна, что читается порой как удивительные выдумки, полные приключений и неожиданностей. Тем не менее, многое в ней правда! Как, например, то, что в XIX веке на ее не полностью освоенной территории промышляли разбоем и грабежами более 2000 «бушренджеров», как с легкой руки февральской 1805 года Сиднейской газеты стали называть бандитов, нападающих на людей на дорогах и в буше – «кустарниковом лесу». Воровали они и скот, лошадей, нападали на банки, а в пору «золотой лихорадки» даже на вооруженные конвои! Среди них были и особо жестокие, как Джон «Черный Цезарь» или Джек Донахью, о которых записал в своем Дневнике в 1835 году Чарльз Дарвин, побывавший в те поры в Австралии. Одну из банд возглавляла даже женщина – Елизабет Хикман, которую так и называли «Леди бушренджер».

Но бесспорно, таким некоронованным королем, защитником сельских бедняков прослыл Нед Келли, ставший героем не только первого фильма, а и многих рассказов, песен, даже рок-оперы. На картинах австралийских художников его можно увидеть в шлеме, склепанном из лемехов плуга для защиты от пуль. Эти ли легендарные самодельные доспехи под рыцаря, раздача ли долговых расписок населению после ограбления банка с целью обеспечить себе поддержку, а может, и то мужество, с каким он, 26-летний, взошел на эшафот, сыграли свою роль, но мифы, связанные с его похождениями, вот уже более века живут в австралийской истории, затмевая, к сожалению, истинные подвиги тех, кто, охраняя закон и порядок в обществе, рисковал собственной жизнью. Ибо с 1808 года 713 австралийских полицейских погибли на своем посту. В VIC в 1853-го – с момента образования полиции штата – 154, трое из которых: сержант Michael Kennedy, констебли Thomas Lonigan и Michael Scanlan были убиты в 1878 году на Stringybure Greek около городка Mansfield бандой Неда Келли! При том, что уже раненного сержанта Кеннеди добивал выстрелами в упор сам Нед, да еще и обокрал мертвого, сняв часы и другие вещи, не погнушавшись вытащить из кармана и записную книжку. (А ведь был еще с детства на заметке у полиции, в 16 лет впервые попал в тюрьму. Недоверие вызывала и вся семья: отец, отбывавший наказание на Тасмании, и мать, давно замеченная в воровстве скота. Именно с братом и двумя друзьями он и сколотил первую банду).

Говорят, что его последними словами перед повешением были: " Такая жизнь, этим и должно было кончиться". Но судимый за убийство лишь одного из констеблей (этого было достаточно), он вряд ли подумал, как безжалостно распорядился жизнью двух других. И уж, конечно, не о том, что убитого и ограбленного им сержанта Кеннеди дома ждала беременная шестым ребенком жена – родившись уже без отца, тот прожил всего неделю, а остальных от 2-х до 9 лет вдова поднимала одна. К счастью, фильм об убийце мужа вышел на экраны через неделю после ее смерти! А констебль Scanlan, уходя на опасное задание, попросил друга взять себе его собаку, если он не вернется!

Семьи погибших полицейских прожили нелегкую жизнь, но, как и большинство австралийцев, предпочитали носить рабочие фартуки, а не разбойничьи шлемы! И все долгие годы помнили свою трагедию на фоне восхищения храбростью таких разбойников, как Нед Келли. Ведь даже туристический маршрут по местам, связанным с его бандой, проходил через могилы убитых ими трех полицейских!

Пока, наконец, спустя 135 лет, в 2012 году, в Mansfield не состоялась церемония восстановления этих могил, организованная Мемориальным фондом VIC полиции, в который входят ее Историческое общество и члены «Blue Ribbon Foundation». На которой присутствовал и праправнук убитого сержанта Кеннеди – Лео Кеннеди.

Известно, что в сентябре многие австралийцы носят на лацкане пиджака или антенне машины голубую ленточку, почитаемую символом скорби. В обращение их выпускается один миллион, и все пожертвования идут на покупку оборудования для госпиталей или создания мемориалов в честь и память погибших полицейских. А 12 сентября все Mc Donalds с 6 до 7 вечера стараются обслужить как можно большее число пассажиров машин, берущих еду с собой, чтобы 1 доллар с каждого заказа передать в «Blue Ribbon Foundation». И австралийская игрушка – плюшевый медвежонок в полицейской форме – Constable Teddy Bear популярна во всем мире и у коллекционеров особенно.

29 же июня 2016 года Викторианское отделение Ассоциации Blue Ribbon на собранные деньги открыла в одном из Мельбурнских госпиталей приемный покой, посвященный 3 полицейским, убитым бандой Келли. Где мемориальная доска будет напоминать о подлинных героях Австралии.

Существует и День памяти полицейских – 29 сентября, и Парад в Blue Ribbon Day, когда полицейские со своими собаками идут от Town Hall по Swanston st к памятнику на St Kilda rd, чтобы склонить головы перед погибшими.

Но для этого вовсе не обязательно ждать официального дня, как нельзя воровать прошлое, называя героями разбойников, забывая настоящих и тем искажая собственную историю!



СЕРГЕЙ ЕРОФЕЕВСКИЙ

Родился и вырос в Ростове-на-Дону. Окончил Машиностроительный институт. Работал на заводе, затем в газете. С 2000 года живёт в Австралии, в Сиднее. Работает в разных жанрах (стихи, рассказы, пьесы). Стихи публиковались в «Новом журнале», «Крещатике», в «Литературной газете» и многих других изданиях

Спорщики

Воздух всколыхнулся, понесся над белесым покровом и вдруг остановился также внезапно. На стыке возникла вязкая плесь. Так бывает, когда в одно прозрачное нальешь другое, например, сладкий сироп в чистую воду.

– Ничего не понимаю, как это получается? Сколько мы тут уже, а привыкнуть не могу.

Семен повалился и чуть поиграл плечами, утапывая ложе. Некоторое время он лежал, не шевелясь, и смотрел на солнце, не мигая и не щурясь. Свет падал не струей, а пригоршнями, как будто сыпался сквозь решето, и глаз не раздражал.

– Сём, а тебе есть хочется?

– Нет, Борька, еще ни разу не хотелось. А тебе?

– И мне нет. А ведь бабана так и говорила...

– Да ну тебя с твоей бабаней. Что ты ее всю дорогу вспоминаешь, соскучился?

– Ну маленько...

– Так скоро увидишь.

– Здорово ребята! Сесть с вами можно? – к ним подошел большой дядька с перевязанной лысой головой.

– Здоровее видали. Места вон как много, что сесть больше негде? – ответил Семен, не глядя.

– Вижу признал, – сказал лысый. – Ну тогда я присяду, коли мы знакомцы.

Он плюхнулся вниз, но его массивный зад еще пару раз подпрыгнул, прежде чем вдавиться в бугристую поверхность.

Молчали. Смотрели по сторонам, хотя смотреть было особенно не на что. Ни кустика, ни дерева. Ходили какие-то люди, вдали и ближе,

сидели вот так же группами и тоже молчали, в лучшем случае тихонько перешептывались.

– Хоть бы спать захотелось, – сказал перевязанный. – Меня Леонидом зовут.

– Очень приятно! – съехидничал Семен. – А мы то думали у вас в метрике так и прописано – «Гражданин начальник».

– Спать хочется, когда темно. Вот как будет темно, тогда и захочется, – у Бориса был нудный, невыразительный голос.

– Да темна тут видать никогда не бывает, – вздохнул вновьпришедший, потом кашлянул и плюнул.

– Плевать запрещено. Вам что не сказали? – удивился по-детски Борис. Он и впрямь выглядел подростком-переростком. Этаким деревенский увалень с поросычьим пятачком.

– Да кто тут заметит! Все белое, вон даже шмотье, – Леонид откинулся на правый локоть.

– Ха-га! – встрепенулся Семен и перевернулся на живот так резко, что хватил подбородком пены. – Всё, всё замечают, товарищ майор. Вам ли не знать? Тута охрана похлеще вашей будет. Подойдут опера, поднимут и дадут поддых. Ты согнешься, а они по зубам, ты назад, а они по мудям сапогом! Помнишь небось? А теперь попробуешь!

– Все я попробовал, Семен Батькович. И поддых, и в мудя, и вон в затылок. За все получил.

– Да что ты! А я как тебя увидел, думал – «ну товарищ майор никак тушенки объелся или а-на-насов».

Лысый повернулся к Семену и посмотрел в его тлеющие давней злобой глаза. – Поел я тушенки на своем веку, Сёма. Ну не так, чтобы объесться. А вот ананасов не пришлось. Есть вина перед вами, ребята, вот я и подошел.

– Ух ты! Прощенье просить будешь, дядя Лёня? Али как?

Послышался шелест. Леонид поднял голову. – О, опять вода пошла. Кран у них там, что ли?

– Нет, это дождь пошел, вона, – Боря указал в сторону. И действительно, вдалеке, откуда текла прозрачная вода, висела тучка. Из нее шел дождь. Под дождем росла трава. Она отрывалась кусками и плыла по течению. Над бледно-зелеными островками летали бабочки и стрекозы.

Большинство сидевших встали и пошли смотреть на редкую в этих местах живность. Борька тоже было дернулся, но увидев, что Семен не

шевелится, угомонился. Он все же с интересом наблюдал за порханием насекомых над журчащей водой.

– Сёма, а ты бабочек, когда малой был, ловил?

– Нет, Борюня, бабочек девчонки ловили, а я в футбол играл, рваным мячом.

– А у нас в деревне мяча не было никогда. А бабочек мы так ловили, – он согнул ладони чашечками и захлопнул их, поймав воображаемую бабочку. Потревоженный синий воздух скрипнул, словно худая подошва. Боря опустил руки и был готов заплакать, но слезы не пробилась. Семен сел и тоже посмотрел на плывущие острова.

– А я пить попросил, – сказал он голосом не горловым, но утробным. – И пью, и пью, а ковш большой, а я глотки делаю маленькие... Думаю, пока пью, то ничего мне... А смотрю, все равно дно начало появляться. Тогда я стал ее изо рта обратно выливать. Не глотаю, а обратно, потом опять. Но он заметил, ткнул под ребра. Я пошел. А вода холодная была, а у меня в детстве горло все время болело. Мама холодную воду пить запрещала. И тут чувствую запершило горло от воды. Вот, думаю, захворал. И так смешно стало. Еле успокоился. – Семен действительно начал гыкать, то ли смеяться, то ли что.

Еще молчали. Еще смотрели на бабочек.

– А мне на забор птаха села.

– Воробей? – Сёма утирался влагой.

– Да нет, не воробей, птаха, из леса, трясогузка. Сидит и хвостом дльнь-дльнь, брик-брик.

– Так дльнь-дльнь или брик-брик?

– Да ну тебя, Сёмка, ты все подначиваешь.

– Так ты выражайся яснее, по-военному, а то товарищу майору непонятно.

– Один раз хвостом дернет, а другой – дрогнет.

– Объяснил! И что она тебе надергала?

– Она клюв открывает, будто что крикнуть хочет. А я на нее смотрю и жду. А она тужится что-то сказать, но никак не может, наверное, его боится. А тут он затвором клац-клац, она слетела и не сразу за забор, а ко мне. Повисла на месте, крыльями дрожит, хвостом трясет и как крикнет! И тут меня трухануло всего, прямо аж так... Тот подумал, что я бежать собираюсь, орет – «Стоять!». А я стою, только ослаб весь. Чую, что как меня дернуло, так и вылетело чего-то из моего нутра. И птаха полетела прочь. И я тут понял, что это душа моя выпорхнула и в птаху

перебежала. И теперь я птахой буду жить, буду жить и.... – толстяк заскулил и всхлипнул.

– Душа на девятый день отлетает, Борюня. Тебе что бабаны не рассказывала?

– Говорила. А может то и не душа была. Я ж не знаю.

– А вы что ж молчите, товарищ следователь? Рассказали бы как у вас все происходило. Какие у вас впечатления остались.

– Приятные впечатления, товарищ комсорг, приятные. Я не для того к вам подсел, чтобы впечатления вам рассказывать. Совет дать хочу.

– Да что вы?! С большим интересом вас послушаем! – Семен вложил подбородок в ладонь и уставился на майора.

– Дождик – значит вечер, следующий дождик – будет утро. Вот утром нас и позовут. Будут спрашивать – «что, за что, молодые мол, как сюда попали?».

– ...Товарищ майор, вы меня убиваете в очередной раз! У вас что, и здесь агенты везде? Откуда вы все знаете?

– Агентов нет, а дело известное. Книжки, Сёма, читать надо было разные, не только ленинские тезисы да «Капитал» папы вашего, Карла.

– Ах, он наш, оказывается! А у вас, тогда, какой папа был?

– Неважно. Так вот, вы про свое комсомольское прошлое особо не распространяйтесь.

– А што жь нам «распространяться» прикажете? – Сёма деланно встrepенулся, – Что мы майорами эН Ке Ве Де трудились?

– Да уж лучше это, – усмехнулся Леонид.

– Отчего же так, разрешите полюбопытствовать?

Майор откинулся на локти и лениво огляделся. – Вот и дождь прошел. А травица-то какая вымахала, выше крыши, а тени нет. Чудно!

Любопытствуй Семен Батькович. Я сам разговор начал, сам скажу.

Наших много прибыло. Чистка рядов. Сначала мы вас, потом они нас.

– ...Вы сами себя, разрешите исправить.

– Пусть так. В общем, наши сговорились такую линию вести... Мы стреляли вас за то, что вы церкви рушили, иконы жгли и такое прочее. Известное дело.

Семен встал на колени с глазами на выкате и присвистнул, – Ну дает! Ну падлы!

– Да ты не ругайся, Сёма, это же правда. Ты же мне сам хвастался, как монастыре реквизицию проводил.

– Я не хвастался, ты..! Я не хвастался...! Я показания..., что линию партии выполнял! Это приказ! Приказ проводили! – парень задыхался,

легкие гудели, как паровые трубы и сердце накачивало капилляры кровью.

Майор сорвал травинку и засунул между зубов,

– И курить даже не хочется.

Ну не хвастался, Сёма, и теперь не хвастайся.

– А бабушка говорила, что от него ничего не схоронешь. Он про нас все знает, даже больше чем мы сами.

– Ага, – произнес Леонид, помолчав. – Наверное. Ну мое дело предупредить. «Береженого Бог бережет», – у меня тоже бабушка была.

Туча вылилась и исчезла. На ее месте появилась радуга. Только висела она не коромыслом, а чашкой, концами кверху. И цвета в ней, кажется, переменялись, хотя Борька не был в этом уверен. Посередине, между синим и зеленым, стали вспыхивать короткие огоньки. Они то становились ярче, то снова пригасали.

– Она на нас идет! – толстяк поднял руку, губы его дрожали.

Радуга и впрямь приближалась. Из нее все яснее доносились звуки, похожие на крики перелетных птиц. Спорщики приподнялись на руках и с тревогой внимали нависшему над головами гулу. Крики становились громче. Казалось, стая кружилась на месте, собирая всех отставших или оставшихся. Тех, кто возможно не понимал, что нужно возвращаться обратно, туда откуда когда-то прилетел. Люди задрали головы и смотрели ... Это можно было назвать небом, если бы его днище не зияло чернотой. Можно было сказать вверх, если бы пачка Казбека, вывалившись из майорова кармана, не поплыла к птичьему крику.

К спорщикам сошел человек в голубой накидке. Он постоял перед ними, подул в ус, и глядя комсorghу в лицо сказал, – Кого здесь Семеном кличут? Святой Петр призывает.



ВИКТОРИЯ ЕЛАНЦЕВА

Родилась в Москве. Выпускница факультета физико-математических и естественных наук Российского Университета Дружбы Народов. Живет в Мельбурне (Австралия). Журналист казахстанских изданий Cosmopolitan, Beauty World, Forbes; колумнист и член жюри премии «Меню и счет» журнала Time Out (Казахстан);

лауреат литературного конкурса Proza.kz; автор романа для подростков «Загадка Алтын Мадам» и сборника рассказов «Мотыльки». Цитата: «Жизнь похожа на взлетную полосу: не успел еще как следует разогнаться, а кто-то уже наступает тебе на пятки».

Моя мама пахнет кофе

- Еще одну привезли. Горемыка.
- Ничего, привыкнет. Все привыкают.

Мама пахнет кофе. У нее пушистые волосы и сережки с прозрачными камешками. Она встает затемно, целует меня во влажный лоб, потом надевает коричневый плащ и уходит на работу.

Мама – телефонистка. У нас нет телефона, и мама считает, что это хорошо. Вечерами мы садимся за большой стол пить чай. У нас красивый сервиз – бабушкин. Белые фарфоровые чашечки с фиалками. Если мешать чай ложкой, они смешно позвонькивают – зинь-зинь, зинь-зинь. Чашечки стоят на белых блюдечках. Жалко, что у одного краешек откололся. Но мама его не выкинула, посадила на клей и оставила.

Только гостям это блюдечко не подает. А если его от себя отвернуть, то скола не видно, и кажется, что блюдечко совсем целое.

Мама чай не любит, а я люблю. Она наливает мне его сначала в чашечку, а потом из чашечки переливает в блюдечко – чтобы скорее остыл. А я макаю туда кусочки сахара: он рассыпается на искрящиеся крупинки и тает, как первый снег. Можно, конечно, еще макать «пушкинские» сушки, но от них остается коричневая кашица. Мама называет ее «болотом» и морщит нос. А я пью чай вместе с этой кашницей прямо из блюдечка и представляю, что я – важная мадемуазель.

Это слово – мадемуазель – мне очень нравится. Вот моя кукла – настоящая мадемуазель. У нее белое лицо, такое же белое, как

фарфоровая чашечка с фиалками, только с милыми капризными кубками. Кукла – мамина. Но ей она уже не нужна, поэтому я забрала ее себе. Волосы у нее немного растрепались, но я намазала их салом и заплела. Мама расстроилась и сделала для мадемуазель кружевную шляпку с атласной ленточкой.

После чая мы обычно ложимся спать. Мама рассказывает сказки – о том, как важные мадемуазель ездят на воды и обедают в ресторане «Гагрипш», а еще о том, как прекрасный королевич поцеловал спящую красавицу. А мне кажется, что это и не сказки вовсе, а мама и есть спящая красавица, только королевич уехал в свою волшебную страну и шлет оттуда маме картонные открытки. А еще я думаю, что это мой папа. Наша соседка по квартире Лушка говорит, что папа – не королевич, а шельмец. Мама называет Лушку дурой и обещает пожаловаться управдому за то, что та сушит голову в духовом шкафу.

Иногда к маме приходит Нани. Они дружили в детстве: потом Нани вышла замуж, а мама сделалась телефонисткой. В дни «визитов» мама надевает белье из «Фандориза» и парадное платье и подает на стол чашечки с целыми блюдечками. Только уже не для чая, а для кофе. Он получается густым и ужасно горьким – даже пятью кусочками сахара не спасти! Нани обязательно приносит подарки: маме книги, а мне кулек конфет. Мама сердится, но виду не подает, поэтому я съедаю сразу горсть сладостей и мучаюсь животом.

Они много разговаривают. Нани жалуется, а мама ее уговаривает не плакать. Еще они обсуждают Альпера. Нани так и говорит: «А знаешь, я недавно встретила Альпера...» Тогда мама начинает курить и молча слушает. Мне про Альпера неинтересно, и я убегаю из комнаты на кухню, где сытно пахнет Лушкиным варевом.

Потом Нани уходит, и мы укладываемся спать. После разговоров про Альпера мама не рассказывает сказок: она просто прижимает меня к себе, а я упираюсь коленками в ее теплый живот и нюхаю пропахшие кофе и сигаретами волосы. Я всеми силами стараюсь не уснуть: жду, когда мама закроет глаза, а потом аккуратно трогаю прозрачные камешки в ее сережках. Один раз замочек расстегнулся, и сережка выпала мне в ладонь. Я спрятала ее под подушку и любовалась блестящим камешком, пока никто не видит. Мама сережку потом искала, но я побоялась отдавать.

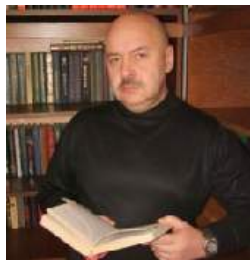
Лушка тоже хорошая, но не как мама. Она ходит в жирном фартуке и гоняет детей полотенцем.

– Ух, шкодница! Весь пол заляпала. А ну сымай боты. Вся в папку-шельмеца! – прикрикнула она на меня как-то после прогулки. Я разозлилась и закричала на всю квартиру:

– Мой папа – не шельмец. Он... Он Альпер!

Лушка зажала рот рукой, а мама впервые в жизни оттаскала меня за волосы.

Я совсем плохо помню маму. Ее забрали пару дней спустя. Меня отвезли в детдом, где я прожила до совершеннолетия. Альпера расстреляли в 1938-м. О судьбе мамы мне ничего не известно. Но иногда я сжимаю в руке ее сережку с прозрачным камешком и чувствую мамин запах.
Москва, 2013.



АЛЕКСАНДР КУЗЬМЕНКОВ

(род. 1962, Нижний Тагил)

Русский писатель; прозаик и литературный критик.

Получил филологическое образование в

Нижнетагильском Педагогическом Институте

Институте. Был учителем, монтером пути, рабочим

чёрной и цветной металлургии. Позже работал

журналистом в газетах Братска, также в разных

качествах на местном телевидении. «Однако, – как

писал Олег Августовский, – в силу свойств собственного характера он не смог там надолго задержаться, поскольку желание говорить то, что думает и поступать так, как хочет, оказалась сильнее желания получать постоянную заработную плату.

Долгое время жил в Братске (поэтому там его считают братским писателем), где последней специальностью его была — «сторож». В 2012 году вернулся в родной Нижний Тагил. С июля 2014 года ведёт постоянную критическую рубрику в «Литературной Газете».

Автор книг «Бахмутовские хроники», «День облачный», «Корабль уродов» и др.

Печатался в журналах «День и ночь» (Красноярск), «Волга» (Саратов),

«Сибирские огни» (Новосибирск), «Бельские просторы» (Уфа), «Урал»

(Екатеринбург), «Новый берег» (Дания), издательстве «Franc-Tireur» (США).

Лауреат международной литературной премии «Silver Bullet» (США, 2009),

премий журналов «Урал» и «Бельские просторы» в номинации «Литературная критика» (2012).

Дмитрий Быков назвал Кузьменкова одним из лучших прозаиков современной России:

«Кто знает об одном из лучших прозаиков современной России – Александре

Кузьменкове (Братск)? Все мои попытки издать его сборник в Москве

закончились ничем, а между тем это серьезнейший прозаик и мыслитель, равно не имеющий отношения к “новому реализму” (который в действительности

ВАКИДЗАСИ

Детсад на пустыре начали строить в конце восьмидесятых, да так и не достроили, поскольку страна нашла себе другие занятия. С тех пор небо над ним было втиснуто в раму из ригелей, а ближнее пространство оккупировали перекрытия, намертво прижатые к земле собственной ненужностью. Металлурги, возвращаясь с работы, рассаживались на их шершавых слоновьих спинах, чтоб выпить водки, купленной в складчину. Из цокольного этажа выползали бомжи и терпеливо ждали, пока бутылка прекратит быть источником оптимизма и делается стеклотарой.

Дневная смена закончилась часа три назад, и потому сейчас на плитах сидел один-единственный бомж, засушенный временем и невзгодами до спичечной ломкости. Свежего в нем было немного: ссадины, подернутые розовой, еще не успевшей почернеть, коростой. Центром его лица был спелый, изжелта-багровый фурункул с белой вершиной; глаза скрывались где-то на периферии, в проволочной щетине и складках морщин. Слышь, земляк, окликнул он Кравцова, купи ножик, да ты хоть погляди сперва, земляк. Какой еще ножик, спросил Кравцов. Кино про нидзю видал? вот такой. Не пизди, укоризненно сказал Кравцов. Бомж забожился, черкнув по горлу грязным, переломленным ногтем: вот бля буду, щас сам увидишь. Он ссыпался с плит, нырнул в амбазуру цоколя и тут же вылез назад с продолговатым газетным свертком в руках: на, гляди. В газете обнаружился слегка изогнутый, тронутый бурой ржавчиной клинок с круглой гардой и массивной рукоятью. Два стольника, объявил бомж. И куда я с ним, спросил Кравцов не столько бомжа, сколько себя. Стольник, взмолился бомж, собрав рот в куриную гузку, земляк, да хули ты, в натуре, как не родной. Хер с тобой, стольник так стольник, согласился Кравцов, сам не зная, зачем, и спросил: а ты-то такое кино видал? Бомж, оскалив останки коричневых зубов, распустил рот в улыбку: я, зёма, много чё видал. Заворачивая покупку в газету, Кравцов неловко зацепил острое большим пальцем. Тупое железо рвануло кожу, и он сунул палец в рот, ощутив языком лоскут отслоившейся плоти и металлический вкус крови. А ты газетку прилепи, посоветовал бомж. Стобняка мне только не хватало, ответил Кравцов. Он двинулся домой, держа порезанную руку на отлете. Винные капли крови редко и тяжело падали на землю и теряли свое естество среди частиц дорожной грязи. Дома из кухонной двери высунулась Маринка, подруга жены: а вот и Ваня, садись с нами кофе пить. Внутри ее голоса жила влажная, обволакивающая ласка. Да мне бы палец перевязать, сказал Кравцов, порезался я. Маринка настойчиво завладела его рукой: я же, как-никак, врач. Все не по-людски, скривилась жена, а это что за металлолом? Объясняться не хотелось, и Кравцов сказал первое попавшееся: на улице нашел. Жена скривилась снова: выбрось, своего хлама девать некуда. Маринка, закончив перевязку, подняла голову: да ты чё? его почистить да на стенку, прикинь, стильно будет, у Ванечки вкус есть. Может, ты своего ненаглядного к себе заберешь, спросила жена, бери, недорого отдам. Маринка продолжила, будто и не слышала: Андрюшка Кабанов, одноклассник мой, на таких вещах вообще поехал, – голос ее увлажнился еще больше, глаза, расставшись с Кравцовым, смотрели куда-то внутрь, – ему бы показать, он историк, он разбирается, дать телефон? Дай на всякий случай, сказал Кравцов.

По телефону он позвонил дней через пять, большей частью оттого, что оставаться дома было немогогу. Кабанов оказался тождествен своей фамилии: шесть пудов тренированного мяса, но неуютные глаза, пойманные в сетку красных, воспаленных капилляров, смотрели остро и испытующе. Бегло тронув

клинок взглядом, он заключил: типичный вакидзаси – малый меч, оправка стандартная, времен Второй мировой, вообще-то офицерскому и сержантскому корпусу полагались большие мечи, но поди попрыгай по окопам с метровой прибудой на поясе, поэтому кое-кто предпочитал нетабельное оружие в табельной оправе, благо, командование не возражало. Видимо, красноармейский трофей, по-моему, не Бог весть что, но работа явно ручная – видите, какая неровная линия закалки? так что возможны сюрпризы, сейчас посмотрим. Скупыми хирургическими движениями короткопалых рук он раззял меч на фрагменты и присвистнул: да уж, сюрпризы, хвостовик слишком заржавлен, да и форма его – видите, на рыбе брюхо похож?.. нет, тут не сороковыми пахнет, а нет ли у вас медной монетки? Кравцов протянул ему полтинник. Кабанов осторожно поскреб ржавчину краем монеты, высвободив стертые очертания иероглифов. Я плохо читаю, твердо помню меньше тысячи знаков, сознался Кабанов. Он медленно, то и дело сверяясь со словарем, проговаривал: Мурамаса Хэйтаро для Ватанабэ Рантая из земли Каи, второй год Тэнсё¹, ну что ж, поздравляю, классический миллион по трамвайному билету, нет, вы не представляете, что к вам в руки попало. Так объясните, попросил Кравцов, а то я дурак дураком. Если не ошибаюсь, это шестнадцатый век, и учтите: клинков школы Мурамаса уцелели единицы, но я не спешил бы радоваться. Что так, спросил Кравцов. Да так, ответил Кабанов неопределенно блеклым голосом, кстати, сам Рантай, судя по всему, обновке очень недолго радовался, полоса датирована вторым годом Тэнсё, а в следующем году армия провинции Каи полегла практически полностью, – он глянул на часы: прошу прощения, мне пора на тренировку, ментов, видите ли, дрессирую на предмет рукопашного боя, а вы бы не оставили мне клинок? попробую привести его в порядок, я, конечно, не профи, но...

Слева, на бугре полоскался на горячем ветру княжий стяг Такэда – белый, с тремя красными ромбами, сросшимися в зубчатый восьмиугольник. В такт ему развевались флажки-сасимоно за спинами конников, застывших в ожидании приказа, – первый ряд в алых, будто забрызганных кровью, доспехах. Вдоль строя мерным шагом проезжал вперед-назад на вороном жеребце старый Найто Масатое, положив поперек седла нагинату². Кривое лезвие то и дело вскипало на утреннем солнце нестерпимо белым огнем, разбрасывало снопы искр, жгло глаза.

Дело складывалось так, что хуже не придумаешь. За спиной лежал непокоренный замок Нагасино, и в его стенах по-прежнему скрывался Окудайра Садамаса, озверевший от многодневной осады и движимый единственным желанием, – выйти за ворота, чтоб поквитаться за все мытарства. Ватанабэ лопатками чуял опасность, затаившюся сзади. Спереди была опасность

¹ 1574 г.

² Древковое оружие с изогнутой боевой частью.

ничуть не меньшая. На том берегу ручья, раскисшего равнину, за решетчатым частоколом суетились стрелки в широкополых шлемах-дзингаса и грубых, сельской поковки, латах – вчерашнее мужичье из земли Овари, наспех обученное нажимать курок и орудовать шомполом. Время от времени среди них мелькал сам князь Ода³ в диковинном панцире заморской работы. Между частоколом и всадниками лежало поле, раскисшее от ночного ливня, и это было страшнее любой засады.

– Пойдем, как скотина под нож, – процедил сквозь зубы Огасавара. – Нам сейчас к лицу не красный цвет, а белый⁴.

– Покойный господин⁵ не допустил бы этой бойни, – отозвался Ватанабэ, поправляя шнур шлема на подбородке.

Откуда-то сзади донесся незнакомый голос, приглушенный наличником:

– Обидно знать, что тебя прикончит деревенщина, которая и меча-то в руках не держала. Шел бы дождь подольше, мы бы им показали.

Найто, привстав на стременах, рявкнул:

– Эй, там! Разболтались, что твои бабы! – и после короткой паузы, склонив на грудь рогатую голову, буркнул себе под нос: – Без вас тошно...

«Еще бы не тошно, – подумал Ватанабэ, – знаю, как ночью на совете ты едва в ногах у князя не валялся, умолял отступить, не губить войско ради собственной несусветной гордыни. Еще бы не тошно...»

На бугре князь Кацүёри, тщеславный и малоумный улюдок, махнув кожаными веером, отрывисто пролаял команду.

– Великий бодхисаттва Хатиман!⁶ – иступленно выкрикнул Найто, ударив вороного стремями в бока.

Из-под копыт полетели ошметки грязи. Лошади двинулись вперед тяжелой, неровной рысью, то и дело спотыкались, сбиваясь на шаг, но расстояние между всадниками и частоколом неумолимо сокращалось. Стали видны дымки ружейных фитилей. Стрелки выжидали. «Начнут у ручья, и меча-то вынуть не успеешь», – тоскливо решил Ватанабэ – и не ошибся. Едва кони заскользили на пологом берегу, из-за бревен раздался залп. Старик Найто попытался закрыться жеребцом, раздирая конский рот удилами, поднял вороного на дыбы, и тут же повалился наземь, выронив нагинату. Второй залп грянул почти без перерыва – видно, князь Ода успел худо-бедно пообтесать своих простолудинов. Одна пуля ударила в грудь, пробив панцирь, вторая обожгла бедро. Ватанабэ, зажимая рану, попытался удержаться в седле, но тщетно, – кобыла, перепуганная пальбой, сбросила его. Он ударился о землю, жесткие стебли травы укололи лицо. Приподнявшись, Ватанабэ увидел, как Огасавара,

³ Князь провинции Овари, соперник князей Такэда, с 1568 по 1582 г. – фактический правитель Японии.

⁴ Белые доспехи символизировали готовность умереть за безнадежное дело.

⁵ Такэда Сингэн умер от раны в 1573 г.

⁶ Синтоистское божество, покровитель воинов.

уже пеший, последним усилием вырвал клинок из ножен, сделал, будто пьяный, несколько неверных шагов вперед и упал ничком в ручей, расплескав воду. Сзади накатывал волной и рос невнятный гул атаки, – ибо воины дома Такэда не отступают. «Конец», – мелькнула мысль. – «Сейчас затопчут». Он прикрыл голову руками. Ребра хрустнули под копытом, но тут из бойниц вновь заговорили ружья, и чье-то спасительное тело накрыло его сверху.

Город был придавлен громоздким монолитом неясного серо-зеленого света. Порубежье весны и лета непоправимо расплылось в слякоти. Голые ветви деревьев, ограбленных холодом и мокретью, равно соответствовали и маю, и сентябрю, и, глядя на них сквозь зеленоватую слизистую муть за окном, невозможно было понять, что на дворе, вечер или утро, весна или осень, – впрочем, редкие пласты черного, ноздреватого снега на газонах отчасти позволяли вправить суставы календаря.

Вой заводских гудков перестал рвать небо над городом полвека назад, но стрелки кварцевых будильников каждое утро разворачивались на сто восемьдесят градусов, – короткая на шести, длинная на двенадцати, – и навязчивый электронный зуммер по-прежнему начинал отсчитывать чужое время, время полумертвого ума и оскоченных, марионеточных движений. Люди наполняли собой кровеносную систему улиц, умножали собой спрессованную тесноту автобусов, где бензиновая вонь перемешивалась с духотой человеческих испарений; в конце пути каждого ждал томительный многочасовой обмен вынужденного трудолюбия на вознаграждение в виде нескольких разноцветных бумажек, – всякий раз оскорбительно невесомое и большей частью призрачное, поскольку чаще всего оно принимало облик начальственных обещаний. Ближе к вечеру стрелки повторяли свой распахнутый жест, свидетельствуя о том, что чужое время прекращает свое течение до утра, но люди, отравленные его предчувствием, были равнодушны к этой малой милости и жили забвением самих себя, надеясь скудостью умственных и мышечных движений отсрочить неизбежное завтра. Лишь самые молодые решались обделить себя покоем и продавливали постели монотонными толчками тел, по-лягушачьи расшлепанных и разделенных непрменной *ribbed & lubricated* резиновой преградой, отчего их совокупления имели неистребимый аптечный запах. Назавтра все начиналось сызнова, чтобы повториться еще раз и еще раз.

Невесть кем заведенный уклад попирает законы природы и разума, но рассудок, истощенный ежедневным исполнением чужой воли, отказывался принять эту простую, как хлебная корка, истину. Понимание должно было прийти извне, из газет, назойливо проповедавших рост двух ВВП; первый из них измерялся рублями, второй – процентами рейтинга, и оба были призваны насытить ближнего целью и смыслом. Но это, в сущности, были две ипостаси недостижимого и потому неосязаемого блага, и люди в поисках осмысленности призывали на помощь воображение и обретали себя среди плоских теней на телеэкране, в радужных блесках чужого успеха, в патоке чужих чувств, в

сперме чужих измен и говне чужих разводов – и, лишённые собственной жизни, неизбежно проживали чужую. Кто-то в отторжении себя шел еще дальше, менял имя, единственную неотъемлемую собственность человека, на вычурную болоночью кличку, а голос на птичий стук клавиатуры – и, умиротворенный, обитал в окружении зыбких фантомов, таких же, каким становился сам; *press any key to continue*. Иные, не имея своей жизни и не желая чужой, шли до последнего предела, с мужеством отчаяния истребляли в себе инстинкт самосохранения и протискивались в сумерки небытия, – но это были лучшие, и таких, как водится, были единицы.

Обморочное существование, которое отчего-то называлось жизнью, в иное время назвали бы помешательством, но те времена и нравы давно и прочно похерили, и теперь город жил именно так, и люди в нем жили именно так, и Иван Кравцов не был исключением.

День начался обыкновенно, то есть скверно, и начался он с режущего металлического света неоновых ламп и директорского окрика: Кравцов, я, по-моему, к тебе обращаюсь. Он оторвался от монитора: в чем дело? Нет, это я спрашиваю, в чем дело, сказал Вощанов, почему люди на крыльце курят, а начальнику производственного отдела по барабану, это твоя непосредственная обязанность – внушить сотрудникам, что рабочее время оплачено и является собственностью фирмы. Фраза, как и многие другие, была взята напрокат из американского пособия по менеджменту, спорить с ней было бессмысленно, и Кравцов предпочел промолчать. Во-вторых, продолжил директор, где у тебя Ахметзянова пропадает среди рабочего дня? В больнице лежит, объяснил Кравцов, у нее желтуха. Отношения с дизайнером Гулей Ахметзяновой строились на одной лишь устной договоренности, без записи в трудовой книжке, стало быть, больничный оплате не подлежал, и розовое, ветчинное лицо Вощанова осталось безучастным. Он еще раз оглядел помещение и уставился на битое оконное стекло: а это что еще такое? Батареи еще не выключали, растолковал Кравцов, очень душно, пришлось вчера окно открыть, а оно хлопнуло неудачно. По-моему, я запретил открывать окна, сказал Вощанов, мне что, видеоканеру к вам в отдел ставить? я поставлю. Так душно же. Вощанов, встав на цыпочки, поднес бумажку к вентиляционной решетке: вытяжка нормально работает, вам, может быть, кондиционер нужен? собирайте деньги и покупайте, я не возражаю, а за стекло вычту из зарплаты, – из твоей, Кравцов, вопросы есть? тогда я пошел, проводи-ка меня, Кравцов. Они вышли в коридор, и Вощанов, понизив голос, сообщил: значит, со следующей недели будешь подавать мне два отчета – один, как обычно, о проделанной работе, второй о настроениях в отделе. Прошу прощения, не понял, сказал Кравцов. До меня доходят разные слухи, я как директор предприятия, слухами пользоваться не могу, мне не сплетни нужны, а информация – теперь понял? Понял, ответил Кравцов, но это, по-моему, некрасиво. Вощанов посмотрел на него с тем дежурным сожалением, с каким обычно смотрят на олигофренов: ты не в курсе,

что существует корпоративная этика? Эта штампованная американская аксиома также не подлежала сомнению, но Кравцов предпринял последнюю попытку: в моей должностной инструкции этого нет. Воцанов усмехнулся: нет – значит, будет, проведем приказом.

Час спустя секретарша Лена, соболезнуя щеками и ртом, принесла две бумаги: пожалуйста, Иван Сергеевич, вам под роспись. Это были два приказа, первый – об удержаниях из заработной платы, второй – об изменении должностной инструкции. Кравцов дважды добросовестно выполнил трехчленный канцелярский ритуал: «ознакомлен» – дата – подпись; «ознакомлен» – дата – подпись.

Жена, подобрав под себя ноги, каменной бабой утвердилась на тахте; в телевизоре на прекрасную няню рушились штабеля заготовленного впрок смеха, и прятаться от этой ежевечерней напасти в однокомнатной квартире было некуда. Спасением стал телефонный звонок Кабанова: где и когда мы можем повидаться? Если не возражаете, я бы опять к вам в гости напросился, ответил Кравцов, радуясь возможной отлучке. Да, пожалуйста, я сегодня как раз свободен.

На столе был зеленый чай, и на столе был меч; лезвие, избавленное от ржавых пятен, тускло блестело. Здорово, сказал Кравцов, совсем другой вид. Кабанов покачал головой: фигня, паллиатив, настоящая реставрация возможна только в Японии, скажите-ка лучше, что вы с ним намерены делать. Не знаю, сказал Кравцов. Давайте я вам кое-что расскажу, чтобы вы определились, я буду говорить банальные вещи, уж простите. Кабанов заговорил назидательным лекционным голосом, и видно было, что он обдумал свои слова заранее и тщательно: у оружия есть свой нрав, японцы делят клинки на два типа, это сацудзин-кэн, меч жизни, и сацудзин-кэн, меч-убийца, самые известные сацудзин-кэн ковал в четырнадцатом веке Мурамаса Сандзо, человек вздорный и мрачный, за работой молился о помощи не богам, а смерти, и изделия его были точно таковы. Князя Токугава боялись его мечей, как черт ладана: четверо в семье были убиты или ранены мечами Мурамаса, и потому Токугава уничтожали клинки этой школы при всякой возможности. О Мурамаса Хэйтаро, который делал ваш клинок, ничего не известно. Кстати, это говорит в пользу подлинности: какой дурак станет подделывать подпись неизвестного мастера. Так вот, о Хэйтаро: может, он потомок, а может, однофамилец. Допустим, это какой-нибудь правнук, – мастерства особого не унаследовал, а вот характер – вполне мог. Старшего Мурамаса сейчас считают шизофреником, и если это в самом деле его гены, то ваш вакидзаси опасен. Поймите Христа ради: человек свободы не любит, вечно ищет, кому бы подчиниться – другому человеку, деньгам, вещам, водке, оружию... Вы же окажетесь совершенно беззащитны перед ним, вам нечего ему противопоставить, да и вообще я не сторонник оружия в доме, закон Чехова, – если в первом акте ружье висит на стене, то в пятом непременно выстрелит. Кравцов кивнул в угол, где на черной

лакированной подставке стоял длинный меч: а это как же? Испанский муляж, объяснил Кабанов, тренировочный вариант – тупой, как сибирский валенок, ну так что же, я вас в чем-нибудь убедил? Не знаю, надо подумать, ответил Кравцов, ожидая неизбежного в таких случаях предложения продать за бесценок, но Кабанов вместо этого сказал: ему вообще в этой стране не место, это же раритет, верните его японцам. Надо подумать, повторил Кравцов. Пока думаете, уберите его с глаз долой, посоветовал Кабанов, лучше всего в разобранном виде, полосу заверните во что-нибудь мягкое, типа фланели, чтоб окончательно полировку не портить – и пожалуйста, ради Бога, не пытайтесь им ничего рубить. Не буду, пообещал Кравцов и попросил напоследок: вы напишите мне на бумажке, как он называется, а то все время забываю.

Боль все еще донимала, но сделалась тупой, привычной, как назойливый писк комара. Однако вдруг она выросла, стала режущей и невыносимой. Ватанабэ со стоном открыл глаза. Над ним склонились двое. Один, тощий и темнолицый, с четками на шее, внимательно изучал его. Второй, круглоголовый крепьш с бородавкой возле носа, рвал с груди засохшее тряпье, приговаривая:

– Э-э, лекаря сильно худой люди... Она сильно любит всем-всем делать больно. Твоя не знал, да? Зато потом хорошо, совсем хорошо... Пуля шел насквозь, рана получился хороший, да, – пуля нет, гной тоже нет. Моя думает, легкий задет сверху, немного. Будем кашлять, да. Совсем мало. Станем пить травка, совсем как чай, он добрый травка. На нога совсем... как это? – царапина. Два ребры треснул, да, но чуть-чуть. А сейчас будем чуть-чуть жечь⁷. Твоя ложись на брюхо, да? Сама не умеешь? Давай помогу. О-о, какая шрам! Копье?
– Нет, гэккэн⁸.

– *Моя брат тоже воин, большая воин. А моя не умеи воевать, моя умеи лечить...*

Ватанабэ вздрогнул, почувствовав ожог возле позвоночника.

– Э-э, моя же сказала: лекаря любит делать больно...

Незнакомцы заговорили по-китайски. Ватанабэ попытался вслушаться в их речь, но не сумел разобрать ничего, кроме «ниш»⁹ и «чжегэ-чжегэ»¹⁰. Крепьш наложил чистую повязку и ушел, поклонившись. Ватанабэ не без труда перевернулся на спину.

– *Как чувствуешь себя? – спросил темнолицый.*

– Где я? – ответил Ватанабэ вопросом на вопрос.

– *В монастыре. Ты прополз половину ри*¹¹, *помнишь? Дальше тебя уже несли.*

– *Этот... он китаец?*

⁷ В традиционной японской медицине вместо иглокальвания применяется прижигание.

⁸ Древковое оружие с боевой частью в виде полумесяца.

⁹ Ты (кит.).

¹⁰ Так сказать (кит.).

¹¹ Мера длины, равная 3,9 км.

– *Кореец, его мирское имя Пак. Плохой монах, – слишком любит выпить. Но хороший врач. Думаю, он поставит тебя на ноги.*
– *Не надо, – Ватанабэ попытался приподняться. – Дайте мне умереть. На мне срам поражения.*
– *Покажи мне этот срам, чтоб я мог взглянуть на него.*
– *Прошу вас, не смейтесь надо мной. Наш господин предал нас, и я не могу жить.*
– *Увы, ты глуп, – темнолицый поскреб бритый затылок. – Твой господин далеко, в своей вотчине. А ты зачем-то волочешь его сюда. Он тебе так необходим? Раз уж к слову пришлось: толкуют, уж он-то не спешил умирать. Напротив, бежал с поля так, что потерял княжью реликвию – шлем Сувахоссё. Рассуди, стоит ли он твоей смерти.*
– *Прошу, верните мне оружие. Я должен покончить с собой, – голос Ватанабэ сорвался, по щекам потекли предательские слезы. – Простите, я очень слаб.*
– *Что ж, тем лучше. Новорожденный неможен, и чем крепче он становится, – тем ближе к смерти. Будем считать, что ты родился заново. А мечей твоих мы не нашли, видимо ты потерял их где-то. Кстати, меня зовут Мокурай, а тебя?*

Кравцов заполнял табель, против фамилии Ахметзяновой вытягивалась сороконожка букв «б». Позвонила секретарша Лена: Иван Сергеич, вас директор вызывает. Самому-то запахло номер набрать, невесело подумал Кравцов, догадываясь, о чем пойдет речь.

В предбаннике, кроме Лены, сидела незнакомая особа с лицом, состоящим из пухлых, плотоядных губ, тщательно обведенных малиновым карандашом; Кравцов тоже сел, соблюдая очередь, но Лена показала ему на директорскую дверь: проходите, Иван Сергеич. Воцанов, демонстрируя энергичную занятость, не отрывал взгляда от бумаг: ну что, где баннер для «Промстройинвеста»? Вы же в курсе, что мы без дизайнеров остались, ответил Кравцов, Ахметзянова болеет, Петренко на сессию уехал. Директор, перелистывая бумаги, возразил: а это чья головная боль? сказано было – искать замену, почему не искал? Искал, сказал Кравцов, да кто пойдет на временную работу, и добавил: еще за такие-то деньги. Я ж тебе сказал: это твоя головная боль, не будет на этой неделе баннера – с тебя спросим, теперь дальше: почему в пятницу сдал один отчет вместо двух? с приказом ты ознакомлен, так что я слушаю. Мне эта затея не нравится, сказал Кравцов. Воцанов оторвал взгляд от бумаг: та-ак, работать мы не хотим, на фирму нам наплевать. Как аукнется, так и откликнется, сказал Кравцов, фирме тоже на меня наплевать, зарплата раз в три месяца. Пиши по собственному, ласково предложил Воцанов, человек на твое место есть, ты ее только что в приемной видел, работать, в отличие от тебя, будет. Смотри каким местом, подумал Кравцов, а вслух сказал: ничего я писать не стану, увольняйте по сокращению, со всеми выплатами. Нештатная ситуация упрямо не лезла в шаблон американского ликбеза, и Воцанов волей-неволей перешел на родную речь: ты чё,

щегол, нюх потерял? забыл, бля, с кем говоришь? Это ты забыл, с кем говоришь, ответил Кравцов с непонятной самому себе радостью, расчет зарплаты на неоформленных работников позавчера подписывал? во-от, копии у меня дома лежат, черный нал налицо, мне до ОБЭПа десять минут ходьбы, а у тебя выборы на носу, залупу тебе, а не мандат с такой репутацией. Окорок директорского лица побагровел, Вощанов помолчал, прилежно соображая, и поднял телефонную трубку: ты в банке сегодня была? выдашь Кравцову зарплату за март и за апрель и выходное пособие за три месяца, а эти подождут! дольше ждали! десять раз объяснять?! – он швырнул трубку и рывком ослабил галстук: а ты сдавай дела и проваливай на хуй. Кравцов вспомнил надутые резиновые губы в предбаннике: если твоя соска что-то, кроме минета, умеет, сама без проблем за день разберется. Следом за ним к дверям кабинета пополз злобный, полузадушенный шепот: копии чтоб сегодня же у меня были. По почте пришло, мирно пообещал Кравцов, ну получишь днем позже, невелика разница.

С верхней площадки доносился тонкий и надрывный кошачий плач. Кравцов поднялся этажом выше: возле мусоропровода самозабвенно тосковал черный, чуть больше ладони, котенок. Пойдем ко мне, предложил Кравцов, присев на корточки, у меня молоко есть, а ты пацан или девка? ну девка, так девка. От молока кошка отказалась, мытьем осталась недовольна и несколько раз пыталась выбраться из ванны, цепляясь за скользкие эмалевые края растопыренными лапами. Кравцов вытер ее полотенцем, и теперь она, мокрая и взбешенная, прихорашивалась на полированном журнальном столе, напоминая вздыбленный ирокез на бритой башке панка. В замке кратко проскрежетал ключ: вернулась жена и тут же уперлась недовольным взглядом в кошку. Это еще что такое? В подъезде подобрал, объяснил Кравцов, пропадет ведь. У тебя что, приколы такой – всякую дрянь подбирать? давай и я начну, куда потом побежим, а ты что вообще так рано? Я с работы уволился, сказал Кравцов. Жена опустила на край тахты: это шутка такая? Какая шутка, говорю же, – уволился. Жена помолчала, собирая воедино разрозненные попреки, и мгновение спустя на Кравцова обрушился камнепад визгливых проклятий: у тебя крыша поехала, мудака, и так живем от полочки до полочки, шмотку купить не на что, ты что завтра жрать думаешь, хуеплет сраный? Кошка, перепуганная надорванным речитативом, шаркнулась под стол. Я вообще-то пособие получил за три месяца, сказал Кравцов. Да пошел ты в жопу со своим пособием, ни украсть, ни покараулить, пиздок сбанный, мне двадцать семь лет, я из-за тебя ребенка родить не могу, с голоду подохнет, ты мне кошку вместо ребенка приволок, – кошку, блядь! Жена сорвалась с места и, не прекращая причитать, кинулась к шифоньеру: пиздец, хватит с меня, я жить хочу, ты меня достал на хер. Ты куда собралась, спросил Кравцов. А тебя, козла, не сбег, ответила жена, приминая в сумке непокорный ворох тряпья. Как знаешь, сказал Кравцов.

Дверь хлопнула, Кравцов и кошка остались вдвоем в притихшей квартире. Он снял телефонную трубку: здравствуйте, Андрей, а подскажите какое-нибудь

японское женское имя, чтоб для кошки подошло. Н-ну, скажем... Мурасаки, ответил Кабанов. Нет, не нравится, больно уж на Мурку похоже. Мурка, Маруся Климова, рассмеялся в трубку Кабанов, а если Миёси? Уже лучше, большое спасибо, сказал Кравцов.

Он вынул из кармана бумажник, набитый пятисотками, и зачем-то пересчитал купюры: их было сорок, итого двадцать тысяч. На жизнь должно хватить. На очень недолгую жизнь.

Ватанабэ склонился над чистым листом бумаги, начертил кистью несколько знаков, но тут же вымарал.

– Ты пишешь письмо? – раздался сзади голос Мокурая.

– Я хотел бы сложить стихи.

– Прощальные? Все еще хочешь выпустить себе кишки?

– Нет. Стихи о павших при Нагасино.

Мокурай одобрительно хмыкнул:

– Я был худшего мнения о нынешних самураях. Думал, если они в чем и мыслят, то лишь в «Биншу»¹², и нет среди них второго Таданори¹³.

– Наш покойный господин поощрял книжные занятия. Ученость для человека, говорил он, что листья и ветви для дерева.

– Так что же твои стихи?

– Ничего не выходит. Жаль, но я не Таданори.

– И в чем же помеха?

– Мне не написать лучшие Сайгё¹⁴:

Сердце в себе умертвил.

Подружилась рука с «ледяным клинком».

Или он – единственный свет?

Озаряет поле сраженья

Месяц – туго натянутый лук¹⁵.

Как ты поступал со своими врагами? – спросил Мокурай после недолгого молчания.

Убивал, иначе они убили бы меня, – пожал плечами Ватанабэ. – И что же?

– Так убей Сайгё, раз он тебе мешает, но прежде убей Ватанабэ Рантая, – пока они вводем не прикончили тебя.

– Простите, я не понимаю.

– Не думай, что я сам себя понимаю, – усмехнулся Мокурай.

¹² Свод китайских трактатов по военной науке.

¹³ Правитель земли Сацума, военачальник и поэт, погиб в 1184 г. в битве при Ити-но-Тани; популярный герой средневековых военных эпосов и театра Но.

¹⁴ Поэт XII в., один из создателей стиля «югэн».

¹⁵ Перевод В. Марковой.

Кравцова обступили странные, пустынные дни и ночи, наполненные бессонницей, хотя соседский приемник, начиненный разнокалиберной попсой, вежливо умолкал еще до полуночи. Вечерами Кравцов подолгу и трудно соскальзывал в дремоту, тихо и счастливо теряя самого себя, но непрочное, паутинное ползузбытье в одночасье рвалось, и он распахивал глаза, наткнувшись всем телом на внезапную преграду, непонятную и неподатливую. Он мучительно пытался зарыться в сон, но вместо этого зарывался в противную мякоть подушки, нагретой с обеих сторон, и в конце концов оставлял истерзанную постель. Подчиняясь чему-то безотчетному, но беспрекословному внутри себя, он клал на колени клинок и надолго застывал, пристально глядя в подступившую тьму. Он совладал-таки со звуками чужой речи и невесть зачем шептал: вакидзаси, и немного погода повторял: да, вакидзаси, и это древнее слово тревожно холодило рот.

Меч, что лежал на его коленях, был поверенным мертвых, тусклый глянец лезвия хранил их яростную память: небо, расчерченное стрелами и небо, расчерченное дымными ракетами, хрипы побежденных и крики победителей, мрак, распоротый языками взбешенного пламени, неистовый стук копыт и неистовый стук пулеметных очередей. Настоящее в эти часы умирало, однако отзвуки и отблески прошлого жили свирепо и взмахом и принуждали жить – обременяли душу невнятным, безысходным знанием, корежили тело, заставляя мышцы каменеть в напряженном ожидании неведомого, но наступало утро, и сон, снизойдя до подачки, укрывал Кравцова тонкой, полупрозрачной кисеей, сквозь которую сочился ручей чахлого серо-зеленого света. Вместе с ним в путаницу видений просачивались голоса улицы, где по-прежнему тяжело перекатывалась река чужого времени.

В один из вечеров воды ее расступились, выпустив на берег Маринку, она была влажная и липкая, приторно-сладкая, как перезревший персик в лопнувшей коже. Она пришла в настойчивом нетерпении, спеша поручить влагу своего тела и сладость своих губ рукам и губам Кравцова, уверенная в черной магии грешной женственности, готовая обманывать и обманываться, лишь бы докрасна раскалить пепельно-серую мглу городских сумерек. Но разрозненные тела так и не обрели друг друга, ибо между ними лежала непобедимая, до черноты выжженная пустошь ожесточенного отчуждения. Рядом с мертвой памятью все оказалось напрасным, – и жаркий, срывающийся шепот, и медленная, шелковистая ласка пальцев, и мокрый трепет жадного языка. Маринка, полагаясь на змеиное могущество бабьей волшбы, измучила его и себя неутоляющими, бесплодными прикосновениями, однако ночь, единственная союзница ведьм, отступила, рассвет означал поражение, и она ушла, потерянная и притихшая, безропотно и бесследно растворившись в зеленоватой мути нового дня.

Следом от Кравцова ушла Миёси. Она оказалась нелюдимою, упрямо не отзывалась на кличку, старательно хоронила от человека свою малую жизнь в

дальнем углу и оттуда провожала хозяина настороженным желтым взглядом, но в один из дней вдруг выгнула спину, бросилась к двери, заскребла когтями металл и заплакала навзрыд и безутешно, как давеча в подъезде. Он открыл дверь: иди, раз уж хочется. Кошка опрометью, суетливо метнулась в проем, чтобы больше никогда не возвращаться.

Кравцов, изъятый из обращения, отлученный от чужого времени, мало тяготился сиротским существованием и не выходил из дому без крайней необходимости. Нескончаемый трехсотметровый путь до ближнего магазина и суголока стали ему невыносимы, и он всякий раз спешил вернуться к себе, все больше замыкаясь в брезгливом презрении к человеческой возне за наглухо зашторенными окнами. Он спускался на улицу, когда на западе переставала кровоточить рваная рана заката, и ночь опустошала мостовые, и томительное биение выморочной жизни замедлялось до брадикардии.

Дышалось на улице тяжело, будто сквозь мокрую тряпку. От сырости, фабричной и бензиновой гари неоновый свет сгустился, сделался непроницаемо плотным и слоистым. В какой-то момент Кравцову показалось, что если фонари погаснут, дышать станет легче. Уходя от серого уличного марева, он сворачивал в темные дворы, где пахло мокрым асфальтом и прелыми прошлогодними листьями, а фонари рассеивали приглушенные лучи слабого чайного цвета. Кравцов ступил в желтый круг фонаря, и навстречу ему из мрака соткались двое, дохнуло перегаром: дай закурить, мужик. Извините, не курю, ответил он. Двое глумливо захихикали: сыт, бля, значит уважает... Главное было не допустить себя до первого страха, который и определяет исход; Кравцов прислушался к себе, но страха не было, было лишь ленивое, неспешное любопытство, – как далеко способны они зайти в поисках чужого унижения. Я не испугался, сказал Кравцов, что дальше? Один шагнул к нему, занося широко расставленную пятерню: щас увидишь, пидор мокрожопый. Над Кравцовым нависло бугристое лицо, разорванное смрадным оскалом. Тягучее мгновение расплескалось до размеров вечности. Кравцов одной рукой перехватил в воздухе большой палец, выламывая его из кисти, другой рванул из-под куртки вакидзаси. Нападавший, следуя направлению боли, стал заваливаться назад, зашарил свободной рукой в воздухе, пытаясь нащупать опору. Меч обрел жуткую бумажную легкость, продолжил собою предплечье, всецело покорный ладони, крепко обнявшей рукоять. Коротким и точным движением Кравцов послал клинок в основание шеи. Нападавший сложился пополам, будто картонная коробка, недоуменно выплюнул длинную черную слюну и грузно, мешком лег под ноги Кравцова, часто и сипло задыхал дырой в горле, загреб руками по асфальту, пытаясь удержать возле себя иссякшую жизнь. Разлитое мгновение миновало. Второй отступил в спасительную тьму, слился с ней и стал незаметен.

У себя в подъезде Кравцов снял кроссовки и бросил их в зловонную пасть мусоропровода. Дома, в ванной он сунул клинок под струю воды, и та

порозовела. Это розовая вода, пробормотал Кравцов с усмешкой, просто розовая вода. Мельком глянув на себя в зеркале, он отпрянул: вместо лица оттуда смотрел гладкий, безглазый шар, бледный, как картофельные ростки. Кравцов почувствовал себя наглухо укутанным в войлочную усталость; она позволила принять увиденное без боязни, как должное. Шатаясь, и стены комнаты шатались вместе с ним, он дотащил самого себя до постели и провалился в крошечное безмолвие.

Кравцов пробудился лишь к вечеру, подумал, не включить ли телевизор, но что могла сказать с экрана заводная кукла? казенная, слово в слово заимствованная из милицейской сводки скороговорка диктора была знакома до оскомины: на-улице-Дзержинского обнаружен-труп-неизвестного-мужчины с-признаками-насильственной-смерти по-факту-возбуждено-уголовное-дело личность-погибшего-устанавливается граждан-что-либо-знающих-о-происшествии просят-позвонить... Без приглашения вернулось вчерашнее: низкие выпуклые надбровья и темные вдавленные глазницы над оскаленным ртом, – мир повернулся к нему лицом, прислал гонцами тех двоих; значит, его не оставили в покое, и нет у него иного оружия, кроме беспощадной, пламенной правды мертвых.

Под ногами чуть слышно похрустывали сосновые шишки. Густой, горький запах хвои, разогретой солнцем, кружил голову. Ватанабэ, подобрав с земли длинный сук в потоках застывшей смолы, осмотрелся, выбрал себе в противники чешуйчатый обломок сухого ствола чуть ниже человеческого роста и явственно увидел напротив себя темно-коричневую шнуровку чужих доспехов, рогатый шлем, обтянутый косматой медвежьей шкурой, и широкий, старинной выделки меч с гравированным, прихотливо изогнувшимся драконом на лезвии.

Враг резко встряхнул плечами, чтоб сошлись пластины панциря, рога на шлеме угрожающе качнулись, наплечники тяжело лязгнули. Ватанабэ, не отрывая взгляда от кончика своего клинка, попытался приблизиться, надеясь подцепить острием нагрудную пластину, но наткнулся на гудящий веер из непрерывных взмахов стали. Ватанабэ направил разящее движение в горло над латным ожерельем, но железо звякнуло о железо, – враг отбил выпад, и Ватанабэ кожей почувствовал его презрительную ухмылку, упрятанную под наличник. Отступив на шаг, Ватанабэ попытался рассечь незащищенное запястье, и это почти удалось, но за спиной послышался сдавленный смехок Мокурая:

– Забавно, знаешь ли, смотреть на тебя.

– Ну да, дурак размахивает палкой.

– Все не потому. То, что ты пытаешься делать, – это искусство, но не Путь. Суэта, не более того. Если хочешь, попробуй достать меня своей дубиной.

Мокурай встал напротив, безвольно уронив руки вдоль тела. Ватанабэ выпрямил спину, опустил локти и плечи, держа сук почти наперевес. Вдоль позвоночника

вдруг пробежал зябкий холодок дрожи. Страх рос где-то внутри, становился все нестерпимее, захватывал все естество и разрастался до необоримой жути. Колени задрожали, и Ватанабэ, в ледяном поту, выронил палку и повалился ниц, распластав по земле руки и ноги, словно гигантская лягушка.

– *Что это было?* – спросил он, отдышавшись.

– *Отравленный взгляд, – Мокурай сел рядом. – Я лет шесть провел в Сёриндзи¹⁶, там этому неплохо учат.*

Ватанабэ вытер со лба испарину:

– *Когда кончается искусство, и начинается Путь?*

– *Когда ты поймешь, что меч в твоей руке – не меч, и враг перед тобой – не враг.*

– *Что же это, если не меч и не враг? Скажите, прошу вас.*

– *Сказать? Но речь – клевета.*

– *А где же правда?*

– *По ту сторону речи и молчания. Узнаешь, если доберешься туда, – Мокурай сделал паузу. – Пак говорит, что ты совсем здоров. По моему разумению, ты выздоравливаешь: перестал утверждать и начал спрашивать. Так что можешь уйти, если хочешь.*

Внезапно заглянул Кабанов, собранный и деятельный: а не одолжили бы вы мне меч дней на пять? улетаю в Москву, будет там толковище, соберутся, куда не на хрен, одни випы, все при высоких данах, – Амосов, Морев, Алексеевский, хотелось бы им показать. Как же вы с ним в самолет, спросил Кравцов. Не проблема, возьму в ментуре справку, что спортивный инвентарь, блат выше наркома. Кабанов ощупал глазами лицо Кравцова: простите, вы не больны? вид какой-то нездоровый, не надо ли чего? Спасибо, я в порядке, не беспокойтесь. А как с клинком сосуществуете? В атмосфере взаимопонимания, ответил Кравцов, не погрешив против истины.

Ветер принес с другого края неба мелкие дожди, нудные, как старая бормашина. Пласты черного снега на газонах истончились, истаяли, и вместе с ними, размытое дождем, таяло желание жить и двигаться. Но чужое время упорствовало в своем неизбывном желании взять реванш: пластмассовые, натужно бодрые голоса за стеной приказывали делать неслыханное, – сникерснуть, чупсоваться, пробовать джага-джага; другие, кирпичные голоса с бугафорским пафосом выговаривали квадратные слова о долге и памяти, слова величественные и бесполезные, как сотенная купюра царских времен; еще одни, бархатные вкрадчиво звали поклониться чужому мясу, зачем-то приколоченному к доскам, а после нарисованному на других досках; еще одни, металлические, драпированные лоскутками разноцветных знамен, кроили толпу на своих и чужих.

¹⁶ Японское произношение китайского слова «Шаолиньсы».

Люди, заменив ненужную и опасную волю уютным тряпичным повинованием, не спрашивали себя, нужно ли им это, не противились услышанному, – изо дня в день, согласно подсказке, калечили свои мысли, до неузнаваемости уродовали речь, искажали лица, коверкали позы и жесты, чтоб, отбыв эту повинность, вялыми, анемичными ошметками повиснуть на злобных шестернях чужого времени. Выбирать было не из чего, поскольку мир не и предлагал ничего другого, кроме неторопливой, по графику расчисленной агонии, которая считалась жизнью лишь в силу скудоумия и тщеславия гибнущих.

Кравцов отгородился от заоконной суеты расслабленной дремотой, благо, сон заключил с ним перемирие. Теперь он подолгу залеживался в постели, то и дело ныряя в туманный обморок, к полудню, собравшись с духом, поднимался, чтобы проделать безбожно длинный путь до ванной и смыть остатки сна, – но ненадолго, ибо полчаса спустя он вновь заставал себя, зевающего, в обнимку с подушкой. Точно таким же его застала жена. Открыв дверь своим ключом, она совершала дефиле по восемнадцати квадратам неприбранной жилплощади, демонстрируя и обручальное кольцо, перемещенное на левую руку, и новый брючный костюм, гордая тем, что сумела навязать себя миру, нашла-таки придурка, согласного втридорога платить за глазунью, подгоревшую во имя прекрасной няни, и парализованный секс. Пихнув в сумку вещи, бывшие формальным поводом для визита, она прошипела, не разжимая рта: все валяешься? ну-ну... А тебя не ебет, ответил Кравцов ее же словами, будешь уходить, – ключ в прихожей оставь.

Вскоре после жены объявился Кабанов: ну, Иван, вот вам ария московского гостя – я привез предложение, от которого невозможно отказаться, хотя давайте-ка по порядку. Генералы наши мою версию подтвердили, клинок действительно шестнадцатого века. Костя Амосов, правда, его облажал – мол, в таком состоянии годится только капусту на даче рубить. Зато потом взял меня ласково за штаны, увел подальше и просил вам передать, что всегда готов его купить за двадцать штук баксов, это неплохие деньги, так что подумайте. Да и клинок будет в хороших руках, Амосов специалист известный, в прошлом году в Питере издали его книжку об эволюции японского меча. Нет, ответил Кравцов. Кабанов хмыкнул: вам цена не нравится? конечно, пару лет назад вакидзаси шестнадцатого века ушел с аукциона за двадцать пять, но там, уж простите, состояние было не в пример лучше, а ваш требует затрат. Какой процент, спросил Крацов. О чем речь, не понял Кабанов. Я спрашиваю, какой ваш процент от сделки. Кабанов поморщился: да прекратите вы, ей-Богу, у нас с Амосовым абсолютно не те отношения, ну так что же в результате? Да не могу я, развел руками Кравцов, не могу, мы с ним как-то сдружились, что ли, это на предательство будет похоже, мне кажется, вы меня понимаете. Понимаю, кивнул Кабанов, но, по-моему, было бы лучше... он испытал взглядом лицо Кравцова: кстати, вы в последнее время часом ни в какой блудняк не влетали? скажем, в драку или еще куда. Господи, какие там драки, ответил Кравцов, сплю

круглые сутки, кстати, о драках, – все хочу спросить, на кой оно вам сдалось, ментов тренировать, ведь не из-за денег же? Нет, рубли там недлинные, подтвердил Кабанов, просто не выношу дебильных костоломов, пусть у них хоть что-нибудь в голове остается.

Поначалу ночь была застегнута на оловянную пуговицу луны, но набрякшее дождевое небо похоронило тусклый кругляшок в своей разбухшей утробе и теперь норовило стечь на крыши. Темнота сделала дома и деревья плоскими, упростив их до черных двухмерных силуэтов. Кравцов миновал сквер, заросший чахлыми, царапающими акациями, и свернул в незнакомый двор.

Из-за угла доносились робкие, задавленные всхлипы: ой, не надо, ой, пожалуйста, я сама, ой... Кравцов шагнул на звук. Чайный свет фонаря запутался в ветвях голых тополей, и на стене колыхались их длинные траурные тени. Первоначальные предположения не оправдались: девчонка, притиснутая к дверям подъезда каменным мужским торсом, защищала ладонями не лобок, а лицо. Ты что творишь, урод, сказал Кравцов без всякого выражения, тронув пальцами тугую оплетку рукояти. Он стоял вполоборота, опираясь на выдвинутую вперед правую ногу, опустив клинок вдоль бедра. Вакидзаси, готовый следовать любому движению, утратил вес и обрел жесткую, выверенную и справедливую точность. Мгновение вновь разлилось, выплеснулось из всех мыслимых границ. Мужик шагнул навстречу, впереди него летела длинная, до бритвенной остроты заточенная стамеска. Кравцов резко, всем телом повернулся влево, выбросив вверх руку с мечом; стамеска, ужалив пустоту, тупо стукнулась о бетонный бордюр, мужик схватился за горло, бодая воздух, шатнулся прочь, но запутался в собственных ногах и вытянулся во весь рост на асфальте, расколов собою черное зеркало лужи.

Девчонка, еще сильнее прилепившись к дверям, опять заскулила, но уже без слов, только голосом. Размазанная косметика уподобила ее лицо трагической маске белого клоуна. В одном ухе качалась круглая цыганская серьга, мочка второго была разорвана, мелкие кровяные кляксы пятнали светлую куртку. Кравцов, наклонившись к покойнику, разжал его левый кулак и добыл оттуда теплые кусочки металла – кольцо в острых завитушках, серьгу и безнадежно перепутанную цепочку с крестом: твое? на, забирай. Девчонка смотрела на него безумными, вывихнутыми глазами, и Кравцов понял, что она видит все тот же незрячий, матово-бледный шар. Кравцов сунул побрякушки ей в карман: ментов не вызывай, не надо. Девчонка согласно замотала головой, распространяя кислый запах пива.

Закапал, набирая силу, дождь. Что ж, оно к лучшему.

Кореец Пак, стоя на пороге, приложил палец к губам, и это далось ему не без труда: под мышкой он зажал большой жбан, а в руке держал вместительную деревянную плошку.

– Тихо, пожалуйста. А то моя скоро уходит, а мы ни разу вместе не выпил, худо.

– Откуда у тебя это? – спросил Ватанабэ.

– Водка просил в деревне, редька украл на кухне. Японский еда худой, совсем пресный. А самый-самый худой еда, – кореец хитро улыбнулся, – это спасительная камень¹⁷. Ничего, моя скоро кушать другой еда, вкусный. Моя идти к морю, потом плыть на юг... как это? – в Сямуру¹⁸.

– Я, наверно, тоже уйду, – сказал Ватанабэ, глотнув из жбана.

– Твоя пошел снова убивать?

– Не знаю. Сейчас трудно не убивать. Вся Япония только этим и занята.

– Мокурай не убивать. Он писать книга про заморский вера, про... как это? – про Кирусито¹⁹, – Пак приложился к жбану и захрустел маринованой редькой. – Моя тоже не убивать. Моя вернется домой и тоже будет писать книга, как разный народы лечат свой люди. Моя учился в Китае, потом тут, дальше будет в Сямуру. Люди не надо убивать, он и так коротко живет, – совсем коротко, потому и помирает глупый. Не успеваешь понимать жизнь. Люди надо лечить, чтобы он жил долго и не был глупый. Моя отец помирал рано, совсем рано, моя уже старше его на целый два годы, а все дурак. Твоя тоже дурак, как моя брат, ничего не видал, один война в голове.

– Возможно, ты прав, – ответил Ватанабэ, удивляясь собственному равнодушию к смирению.

Массивное тело Кабанова изготовилось для мгновенного броска, лицо заостенело в судорожной сосредоточенности: Иван, у меня к вам серьезный разговор, более чем серьезный, – ведь на вас два трупа, так? Это еще надо доказать, усмехнулся Кравцов. Не проблема, отмахнулся Кабанов, во-первых, я геометрию вашего клинка знаю, как свои пять пальцев, в обоих случаях одна и та же ромбовидная колото-резаная рана, мужики из убойного мне фотки показывали, любой эксперт идентифицирует с завязанными глазами, во-вторых, первый труп был шестнадцатого числа, восемнадцатого я забрал у вас меч и вернул двадцать пятого, а двадцать восьмого был второй. И потом, локализация характерная: оба убиты одинаково, ударом в горло, это тодомэ, чисто японский прием, ведь не человек убивает, а меч... да что ж вы молчите? Что о них толковать, пожал плечами Кравцов, оба еще при жизни умерли. Пожалуй, кивнул Кабанов с видимым облегчением, второго вашего клиента, между прочим, опознали по фотороботу, гопник, с баб золото снимал, а первый кто? Понятия не имею, – так, рванина, отморозок. В любом случае не нам с вами их судить, я же говорил, что ваш вакидзаси опасен, мне бы, кретину, еще тогда его у вас отобрать... примите добрый совет, менты пока не в курсе, так что идите с

¹⁷ Нагретый камень, который дзэнские монахи клали на живот вместо ужина.

¹⁸ Японское название Таиланда.

¹⁹ Японское произношение слова «Христос».

повинной, – как-никак, смягчающее обстоятельство, шестьдесят первая статья УК. За мной нет никакой вины, сказал Кравцов, мне не в чем каяться. Кабанов потер лоб рукой: дело ваше, Иван, но тогда я вынужден буду сообщить... вы понимаете? зачем вам вся эта ментовская хрень – силовое задержание, побои, обыск? Невесть откуда пришел ответ: чем больше грязи, тем выше Будда. Кабанов покачал головой – то ли удивленно, то ли укоризненно: прощайте, Иван. В дверях он остановился: кажется, у вас кошка была – Миёси, да? давайте я ее заберу. Бросила меня кошка, сокрушенно сознался Кравцов, не сошлись характерами. Ну что ж, прощайте, невесело повторил Кабанов.

С его уходом Кравцов понял: есть полчаса, от силы час, чтобы избежать тюремной вони невымытых тел, презрительных окриков охраны и тупых, никчемных вопросов следователя. Мысль о них заставила сердце лихорадочно зачистить, наполнила и полонила тело темным и тоскливым ужасом; нет, этого надо было избежать. Как угодно.

Он через голову стащил футболку и, опустившись на колени, обернул ею лезвие, тем самым укоротив его до нужной длины. Память мертвых и воля мертвых делали движения точными и размеренными. Плоть подалась, впустила хищный металлический холод, под напором железа внутри что-то рвалось с мерзким крахмальным хрустом. Кравцов, не в силах совладать с раздирающей болью, отбросил вакидзаси и, наклонившись вперед, перенес вес тела на руки, чтобы расслабить брюшные мышцы, движение отозвалось новой болью, и он неуклюже и нелепо, с долгим стоном перевалился на бок. Он бережно потревожил рану кончиками пальцев: крови почти не было, но в разрушенном теле что-то мучительно и тяжело плескалось, звук толчками тек изнутри вместе со слабыми темно-вишневыми струйками. А ты газетку прилепи, сказал Кравцов себе. Его медленно сковывала вязкая, холодная дурнота, он чувствовал, как, покорствуя ей, стынут руки и ноги; воздух растрескался, и его зазубренные осколки царапали гортань; рот иссушила внезапная полынная горечь, – впрочем, это была всего лишь плата за избавление, цена входного билета. По жилам беззвучно и беспрепятственно лилась уже кровь, но смерть. Сердце, все еще не согласное с неизбежностью, билось гулко и часто, однако мозг опередил его, – не справляясь с тошнотворным головокружением, суматошно вытряхивал из своей копилки окаменелые пустяковины: отрывки плесневелых фраз, обрывки истрепанных сновидений. Предметы вокруг выцвели, отступили, сделались мертвы для глаза, освобождая зрение для сумрака благой и безмолвной пустоты. Вот и все, пробормотал Кравцов в пустоту, едва улавливая звуки собственного голоса, ибо тот доносился издалека, из страны мутного серо-зеленого света, вот и все.

Ватанабэ сделал привал среди низкорослого, тенистого ивняка, на берегу быстрого и мелкого ручья, дно которого устилала веселая пестрая галька. В прозрачной воде суетились мальки. Отложив посох, Ватанабэ черпнул воду

горстями, и рыбешки бросились врассыпную. От холода заломило зубы. Он скинул соломенные сандалии и опустил ступни в обжигающе студеные струи, но этого показалось мало. Он разделся догола, встал на колени и облился с головы до ног, избавляясь от многодневного пота и дорожной пыли. Листья ивы напоминали наконечники стрел, но эта увядшая память уже не бредила душу, не застила глаза и не мешала словам складываться в строки:

Не дошли.

Только ветер

Шевелит в траве сасимоно...

ЛЮСЯ КУЛИКОВСКАЯ

Уроки иврита

Вводный урок в ульпане русскоговорящий преподаватель иврита начал с правил поведения в Израиле.

– Дорогие женщины, запомните, если израильтянин приглашает вас на чашечку кофе, не спешите принимать приглашение, потому что это просто сленг, так сказать условный знак, и кофе пить вы будете вряд ли. Израиль – говорил он, – страна особенная, с ивритом нужно обращаться очень аккуратно. Израильские мужчины любвеобильные и навязчивые, поэтому их улыбка, это не дружеское проявление чувств, а плотоядный оскал. Некоторые словосочетания, такие, например, как – «новые репатрианты должны вооружиться терпением» двусмысленны и не могут употребляться в обществе.

После первого урока женщины отказывались выходить на улицу без мужей, а мужчины, держали руки свободными, дабы отбивать возможные поползновения озабоченных израильтян.

Через неделю, мы попросили сменить нам русскоговорящего преподавателя на коренного израильтянина.

На сей раз, это была приятной наружности молодая девушка, обладающая большим запасом энергии и страстным желанием, как можно быстрее обучить приезжих ивриту. Несмотря на все ее старания, понимали мы ее с трудом.

Когда она, раскинув руки в стороны, порхала по классу, изображая то ли птицу то ли самолет, мы, с помощью звуков, пытались определить демонстрируемый предмет.

То есть наши уроки иврита представляли собой нечто смутно напоминающее психиатрическую лечебницу. Кто-то летал по классу, издавая при этом рокот самолета, кто-то заливался птицей, а кто-то, в ужасе забившись в угол, тарашил глаза.

Нетрудно себе представить, на каком уровне был мой разговорный иврит после окончания ульпана.

С момента нашего приезда прошло около полугода.

В первый свободный от занятий день, я отправилась в магазин. Дело в том, что до сих пор мы покупали только знакомые нам продукты в близлежащем супермаркете.

Папа настаивал на холодце и я, как учили в ульпане, «вооружившись терпением», отправилась искать говяжьи ножки.

Рядом с домом находился кошерный мясной магазин. Витрины пестрели красивыми этикетками, но читала я еще хуже, чем говорила, поэтому, приходилась внимательно рассматривать содержимое упаковок. Наверное, со стороны это выглядело так, как будто бы я впервые увидела мясо.

Продавец в это время мирно беседовал с немолодой израильянкой, видимо, постоянной покупательницей.

Проверив все витрины, и не обнаружив ножек, я обратилась к нему за помощью.

Показывая рукой на свою правую голень, я жестами попросила отвесить мне две такие же. Жест был двусмысленный и мог означать, все, что угодно.

Продавец в течение нескольких минут озадаченно смотрел на меня, пытаюсь понять, о чем это я, затем обратился к израильянке с вопросом. Слов я не разобрала, но женщина, до сих пор заинтересованно наблюдающая за моими действиями, тут же бросилась ему на помощь. Из ее тирады я выудила несколько знакомых мне слов, таких как, «что», «шабат», «суп». Вероятно, она интересовалась блюдом, которое я собираюсь приготовить.

Я, тщательно подбирая слова, постаралась описать ей процесс приготовления холодного. Я вспомнила почти все названия. И слово «кастрюля», и «вода», и «лук». Я перепутала всего лишь одно слово. Дело в том, что слова реглаим – ноги и наалаим – туфли, почему-то всегда казались мне созвучными, по-видимому, из-за окончания.

Поэтому, мой рассказ в переводе прозвучал примерно так:

– Берем большую кастрюлю, кладем в нее хорошо вымытые туфли и долго-долго варим с добавлением лука и специй. Часов 8. После чего процеживаем, добавляем соль, перец, чеснок и ставим в холодильник, чтобы холодец застыл.

Расширенными от ужаса глазами, продавец и дама недоверчиво выслушали меня, после чего заговорили друг с другом, отчаянно жестикулируя, качая головами и цокая языком.

Из их диалога я выудила слова, выученные мною в Ульпане: «Бедные, голодные, еда».

Затем, обратившись ко мне, продавец протянул мне кусок мяса, сочувственно улыбаясь и произнес – «матана».

Матана для нового репатрианта волшебное слово, потому как означает оно – подарок.

Поблагодарив, я направилась к выходу, думая только о том, где бы купить ножки на холодное.

Итак, пришлось ехать на рынок. Не без труда отыскав мясной магазин, я остолбенела у входа. Чего здесь только не было! И вымя, и свинина, и ножки. Вот папа обрадуется!

Выстояв длиннющую очередь, и подойдя к прилавку, я была уверена, что проблем с языком не возникнет, так как все, что я собиралась купить, лежало на витрине. Просто покажу пальцем и все дела. Но не тут-то было.

По-видимому, с такими вот красноречивыми покупателями, как я здесь сталкивались не впервые, и продавец не мог отказать себе в удовольствии лишний раз повеселиться.

С ножками вопрос был решен быстро, но когда очередь дошла до свинины, и я, ткнув пальцем в кусок мяса, произнесла слово «хазир», продавец, улыбнувшись, с помощью жестов спросил, какую именно часть «низкой коровы» (так в Израиле называют свинину), я бы желала. Мне нужна была задняя часть и, недолго думая, я, похлопав себя по мягкому месту, произнесла единственное знакомое мне с детства слово на идиш «тухес».

Продавец покатывался со смеху, очередь тоже, а мне было все равно. Я представляла себе радость папы, при виде свиной отбивной.

Надо ли говорить, что попросить продавца отвесить мне пару килограмм вымени я уже не решилась, потому что в этом случае мне пришлось бы полагаться исключительно на жесты.



МАКС НЕВОЛИШИН

В прошлом – учитель средней школы. После защиты кандидатской диссертации по психологии занимался преподавательской и научно-исследовательской деятельностью в России, Новой Зеландии и Австралии. С 2003 года живёт и работает в Сиднее. Публиковался в изданиях «Молодая Гвардия», «Мурманский Берег», «Новый Журнал», «Единение», «Топос», «Зарубежные Задворки», «Интеллигент», «Континент USA», «Новый Континент», «Наша

Канада», «Обзор», «Квадрига Аполлона», «Гостиная», «Этажси», «Московский Комсомолец», «Эмигрантская Лира», «Крещатик», «Чайка» и других. В 2015 году вышла книга рассказов в чикагском издательстве «Bagriy & Company». В этом же году книга попала в лонг-лист премии «НОС». Финалист «Open Eurasia and Central Asia Book Forum and Literature Festival 2015».

Развод по-сингапурски

История о том, как двух не очень молодых и не самых глупых людей развели. Как лохов ушастых. Дело было в Сингапуре – городе будущего. Где обнимаются японская цивилизация, швейцарская чистота и немецкий порядок. Плюс лето круглый год и внятный английский язык. Если человечество когда-нибудь поумнеет, в чём есть большие сомнения, но вдруг, то на всей земле устроят полный Сингапур. Иначе и умнеть ни к чему.

В Сингапуре вы не увидите граффити, хоть обыщите. Трудно найти бычок на тротуаре. Невозможно встретить бездомную собаку или человека. Здесь нет мордатых полицейских с дубинками и тоской в глазах. Говорят, вся полиция носит штатское. Дважды я видел людей, перебегающих улицу на красный свет. И оба раза это были местные. Гости, напуганные штрафами, покорно ждут зелёный.

Высотками теперь никого не удивишь. Однако Сингапuru это удаётся. Подобные изыски урбанизма встречаются только здесь и в Эмиратах. В Сингапуре нет земельных угодий и природных ресурсов, даже воду качают из Малайзии. Ещё нет коррупции, преступности и детской смертности. А также – свободной прессы, хотя жителей это мало беспокоит. Больше волнует рекордная плотность населения и стоимость

жизни. Цены атомные, а они всё едут и едут. А город, между прочим, не резиновый.

Но – к делу. Тёплым сингапурским утром (хотя иных утр здесь не бывает) один турист вышел из гостиницы пройтись. С женой. Возраста он был такого, о котором принято молчать. Возраст, как вес, тоже бывает неприличным. Звали туриста... м-м-м... Валентин Петрович. Ладно, хватит валять дурака, козе понятно, что это был я.

Что мы обычно делаем в незнакомом городе? Ходим пешком. Чужой город лучше осваивать ногами. Разглядывать его из машины – это как листать фотоальбом в гостях. Картинок много, а впечатлений ноль, одна досада. В туристическом автобусе вас доконает магнитофонная болтовня гида. Взвинченный, рекламный голос, будто человека дёргают за яйца. Когда он заткнётся и вы блаженно расслабитесь, грянет национальная музыка. О подземке я вовсе молчу.

Мы даже Бангкок исходили пешком, хотя в гостинице нас сильно отговаривали. И правильно делали. Этот сити не для прогулок, но и мы люди упрямые.

Ещё в каждом городе мы оставляем незавершённый интерес. Создавая таким образом повод вернуться. Мы делаем это не специально, так получается. Например, в Париже мы не слезили на Эйфелеву башню. Шли от вокзала по набережной, с заходом во все положенные места. И у башни оказались только к вечеру. Видим, очередь часа на два. А у нас через три – поезд.

Я тогда расстроился, как маленький. Посему несколько лет спустя опять заехали в город любви. Кстати, особой любви – допустим, хозяев к туристам – мы там не ощутили. Любой язык, кроме беглого французского, воспринимается как попытка оскорбления. При этом вымогают чаевые, надо думать, за то, что не съездили вам по морде. Но башню мы всё-таки покорили. Я незаметно сверху плюнул. Давно мечтал.

А в Риме не увидели Сикстинскую Мадонну: опоздали. В музеи Ватикана пускают до обеда. В следующий раз поселились за квартал от Ватикана. И с утра – туда. Ищем час, другой – нет Сикстинской Мадонны. Сикстинская капелла есть, а Мадонны нет. Что за ерунда? И спросить невозможно, охрана по-английски не каписко, либо мы не то говорим. С отчаяния перешли на латынь – так они её знают хуже нас.

Рядом, на улице Примирения, книжный магазин. Альбомы по искусству за стеклом. Продавец оказался смышлённый, достаёт, усмехаясь, «Шедевры Дрезденской галереи». Эта? Эта.

В Сингапуре мы успели всё. Включая такие излишества, как заповедник бабочек, шопинг и купание в Индийском океане. Но в первый день, как обычно, гуляли по центру и к полудню нагуляли аппетит. Район, где мы это осознали, называется Лодочный Причал. Только вместо лодок здесь чалятся рестораны. Они не смотрятся шикарно или пафосно. То есть подходяще. И дождик вовремя пошёл.

Внутри тихо – никого. Стиль выдержанного уюта. Чуть вращаются китайские фонарики. Минуту спустя вошла парочка. Их усадили поодаль, тоже с открытым видом на реку. Я ещё подумал: ага, нас раньше обслужат.

Заказали вино, листаем меню. Читаем, как завещано, слева направо. Но и цены мазнул взглядом: \$25-35 за блюдо, терпимо. Тётушка (по виду хозяйка, не официантка) принесла вино. Затем кладёт перед нами что-то вроде добавочного меню. Список из нескольких блюд. И говорит, кланяясь:

– Спешл.

И жене повторяет:

– Спешл.

Ну, что такое «спешл», мы как-нибудь знаем. Это скидка. Дешевле, значит, чем обычно. Не успел я вчитаться, хозяйка подсказывает:

– Возьмите лобстера с овощами на пару. Фантастический вкус.

Я не особый поклонник лобстера. Жёсткий бывает, и мясо из панциря не выдерешь. Но уж очень ласково советуют. Тем более спешл.

– Мягкий? – спрашиваю.

– Нежнейший.

– Очищенный?

– Разумеется!

– Окей.

– А вам тоже лобстера?

– Нет, – говорит жена, – мне рыбу.

– Тогда вот – розовая форель. Объедение. Такую вам нигде не подадут.

И откланялась. Вдруг я понял, что даже не глянул на цены. И сразу вспомнил, что цен-то не было. По уму бы окликнуть тётушку, да

спросить, недалеко ушла. Но тут уж, знаете, самолюбие. Богатые туристы, млин.

К половине второго бокала несут заказ. Мой лобстер на деревянном подносе в форме ладьи. Действительно очищенный, разложен в анатомическом порядке. Вокруг свита – разноцветные овощи и зелень. А у жены цельная рыбина. Розовая, аж светится изнутри. И к ней набор вилок, поскольку рыба с костями в большом ассортименте. Но жена с ней легко управилась, оставив на блюде аккуратный скелетик. Когда я спрашиваю, где она научилась этому проворству, жена темнит. Говорит, например, что в прошлой жизни была виконтессой английского двора. А я, значит, был деревенский валенок. Ложку держу строго в правой, ем так и первое, и второе. И сухофрукты из компота. А в левой – батон (шутка).

Лобстер вкусом напоминал курицу. Или крабовые палочки. Белое мясо неясного происхождения, впрочем довольно аппетитное.

Когда я увидел счёт – \$325, то на миг поверил, что это галлюцинация. Ошибка, которая сейчас разъяснится. Секунд пять тупо глядел на цифры. Цифры не изменились. Лобстер – \$170, рыба – \$112 и шардоне – \$43. Нашими около трёхсот, полтора дня моей работы. Хотел уточнить, но сочувственное лицо тётушки резко охладило. Так врач смотрит на больного, огласив диагноз. Вот же фраер, млядь! Ладно, за фраерство надо платить. Я молча достал кредитку.

Минуя парочку, вошедшую за нами, я заметил, что оба едят лобстеров. И мне сделалось легче.

Постскриптумы.

1. Недавно я рассказал эту историю знакомому, долго жившему в Сингапуре. Посмеявшись, знакомый объяснил, что Лодочный Причал – всем известное место разводилова туристов, у которых денег больше, чем мозгов.

2. Я глянул в мультитране слово «special». Второе его, ресторанное, значение – фирменное блюдо. Видимо, хозяйка знала оба.

3. Мы вовсе не обиделись на город Сингапур. Более того, когда вернёмся (хорошо бы насовсем), я обязательно приглашу жену в тот самый ресторан. И закажу лобстера и розовую форель. Почему – не спрашивайте. Я всё равно не знаю.



ИРИНА (ЛЯЛЯ) НИСИНА

Родилась на Украине в городе Винница. Закончила Казанский Институт Культуры и Винницкий Педагогический институт. В 1994 году переехала на постоянное жительство в Австралию, живёт на Голд Кост в штате Квинслэнд. Главы из повести и отдельные рассказы опубликованы в многочисленных

журналах, сборниках и газетах («Нева», «Новый журнал», «Стороны света», «Крециатик», «Чайка», «Австралийская мозаика» и др.).

СТОЯНКА ТРИДЦАТЬ МИНУТ

– Коробку побольше выбери, чтоб на крышке цветы красивые, или набережная, например, или Москва-сити. Даже лучше с видом города, пускай полюбуется! И рубашку мне приготовьте белую, ту в которой я орден получать ходил! – дед взволнованно метался по кухне.

– Алиса, ты еще здесь? Да беги же в магазин, мне еще собираться! И смотри, самых дорогих, шоколадных, и чтобы свежие, там, кажется, печатать должна стоять.

– Печать! – фыркает Алиса. – Нет, мам, ты слышишь? Впервые на моей памяти дед интересуется годностью пищевых продуктов. Он у нас больше по продуктам жизнедеятельности лабораторных мышей.

– Иди скорее! – машет рукой мать. – Дед и так места себе не находит! Дедом его называют уже давно. Сашка, внук старший, очень любил деда, всегда ждал его с работы, сидя под дверью, и допрашивал всех: «Дед где? Дед?» Так и остался Алексей «дедом». А когда он академиком стал, то и на работе так прозвали.

Алиса столкнулась с Сашей в дверях. В руке сын нес красивый букет красных и белых роз.

– Дед! – с порога кричит в кухню Саша, – Дед, я букет купил – закачаешься!

– В воду, в воду поставь пока! – засуетился дед. – До поезда еще четыре часа. И в темное место, в ванную, или в кладовку.

Светлана с удивлением наблюдала за мужем. Всегда такой уравновешенный, спокойный, уверенный в себе, он сегодня вел себя как мальчишка, молодой, увлеченный, ошарашенный открывшимися перед ним перспективами. Она помнила его таким, она и полюбила его за эту неукротимую энергию, плещущую через край. Сама Светлана никогда не

рвалась к высотам, не стремилась делать карьеру. После рождения Алисы на работу больше не вышла, а когда дочь, едва дождавшись совершеннолетия, выскочила замуж, Светлана занялась воспитанием внуков.

– Может мне пойти подстричься? – вдруг вспоминает дед. – Или сойдет, а, Сашка?

– Дед, мы же с тобой неделю назад стриглись! – Саша уже устроился за столом. – Не комплексуй, ты у нас мужик хоть куда! Давай лучше пообедаем. Бабуль, ты котлетки сделала?

Светлана разлила суп. Сашка принялся сосредоточенно уничтожать содержимое тарелки, дед с отсутствующим видом работал ложкой, по всему видно было, что мысли его далеко.

Вернулась Алиса, положила на край стола огромную коробку конфет с фотографией новой набережной. Фонари на коробке были выпуклые и очень натурально светились.

– Шикарная коробка, дед, – похвалил Саша, прожевав котлету, – полный отпад! Мне, например, никто такую красоту не подарит!

– А то ты конфет не ел! – возмутилась Алиса. – Бабушка каждый день тебя пичкает то шоколадкой, то мармеладкой.

– Аля, отстань от ребенка! – встала на защиту своего любимца Светлана.

– Зачем ты его дразнишь? Ешь, Сашенька, – она погладила внука по голове, – ешь, маленький! У меня конфетки есть, я тебе сейчас достану.

– Слушай, маленький, – Алиса налила себе супу и присела к столу, – деда мне везти, или ты с ним на вокзал съездишь?

– Я, конечно, – подпрыгнул Саша, – мне нужно тренироваться, правда, дед?

Дед не ответил. Светлана забрала у него пустую суповую тарелку и поставила перед ним котлеты, но он даже за вилку не взялся.

– Дед, а дед, – Саша вырুলивал со двора. – Пока мы едем, ты Расскажи мне про эту Алю.

– Не Алю! – с досадой поправил дед. – Она не Аля, а Алька, ну, то есть, Александра. Ее отец не хотел называть ни Сашей, ни Шурой, придумал вот, Альку. Мы с ней вместе работали. Знаешь ведь, что я после института в Свердловске жил?

– Это который Екатеринбург, да?

– Да, Саша, он самый. Вот мы с Алькой в Екатеринбурге вместе работали. Молодые были, веселились, после работы в кино ходили, в дом культуры...

– На танцы, что ли? – прыснул Саша.

– И на танцы тоже, – усмехнулся дед. – Ты думаешь, что я всегда стариком был?

– Ты, дед, для меня всегда был дедом, – дипломатично отозвался Саша, – но старым ты еще не скоро будешь. Ты пока у нас мужчина в расцвете сил, как Карлсон, который живет на крыше.

Дед и внук смеются: история про Малыша и Карлсона – их любимая.

– Ты рассказывай, дед, – подгонял Саша, – про эту Альку. Она какая? А кто ее муж, а дети у нее есть?

– Она, Саша, – вздохнул дед, – самая красивая, самая добрая, и вообще...

Самая-самая! А про мужа и детей я ничего не знаю, связь с ней мы не поддерживали. Получилось так, что я в Москву уехал, работу нашел, твою бабушку встретил, – завертелось все. В Свердловск я уже не вернулся, никогда больше там не был. – Он опять вздохнул.

– Я понимаю, дед, – прошептал Саша, нацеливаясь на узкую парковку. Они медленно, – времени до прихода поезда еще полчаса, – вышли на перрон. Саша нес букет, а дед огромную коробку с конфетами.

– Вот примерно здесь, да, дед? – Саша показал на лавочку возле таблички «Третий вагон».

Дед положил коробку на скамейку, подтянул отглаженные брюки и аккуратно уселся рядом. Коробку с конфетами он поставил ребром на колени и, ссутулившись, почти совсем скрылся за раззолоченной фотографией.

– Знаешь, Саш, – говорит он неуверенно, – ты, наверное, когда поезд придет, пойдешь погуляй. Алька тебя не знает, может, постесняется при тебе рассказывать... – он долго молчит, потом, решившись, поднимает голову и смотрит Саше в глаза. – Мы с ней были очень близкими людьми... Вот!

– Да я уж понял, дед, – Саша снисходительно похлопал деда по манжете рубашки. Сашин браслет из металлических пластинок звякнул о дедову запонку. – Я и сам хотел отойти. Вы разговаривайте, я в сторонке посижу, у меня и книжка есть. Вчера, кстати новый «Дозор» на телефон скачал!

Дед улыбнулся Саше и кивнул головой, но мысли его далеко, и про книжку он уже не слышит. Саша положил цветы на скамейку рядом с дедом, а сам нашел свободную лавочку возле ларька. Он садится и неотрывно смотрит на деда, готовый в любую минуту прийти на помощь. Наконец, радио неразборчиво объявляет прибытие поезда, стоянку тридцать минут и номера вагонов с головы. Саша успокаивается: лавочку они с дедом выбрали правильно.

Поезд медленно вытягивал зеленую ленту состава вдоль платформы. Дед встал и подхватил со скамейки букет. Заскрежетали тормоза, и поезд остановился. Проводницы выстроились у своих вагонов: одна в одну куколки, юбочки, ножки, каблочки, – Саша даже засмотрелся. И, конечно, пропустил дедову знакомую. Глянул, а они уже обнимаются, и у деда плечи вздрагивают, а у Альки этой руки трясутся, просто ходуном ходят. Дед ее совсем заслонил, только руки и видны, да еще юбка по ветру плещется. Вот дед ее к лавочке подвел, сели они. Со спины только и видно. Волосы светло-русые красиво подстрижены.

– Крашенные, конечно, у нее волосы, вот бабуля уже давно волосы красит! – ревниво думает Саша. – А платье бирюзовое яркое, как у молоденькой, только с белым кружевом вокруг шеи, мама так не носит! А дед-то, дед! Руки целует без перерыва, вон, носовой платок из кармана вытащил, слезы ей вытирает. Подумаешь!

Поезд, скрипя и отдуваясь, медленно отползал назад на запасные пути.

Там уже ждут два прицепных вагона – пассажирский и почтовый.

Потому и стоянка такая долгая, целых полчаса. Потом поезд подойдет к перрону еще на пять минут, соберет своих пассажиров, вышедших прогуляться, и покатит по рельсам в северную столицу.

Состав, наконец, уехал, стало тише, и Саша прислушался к разговору.

– Что ты говоришь! И давно?

– Тридцать два года назад, – голос у этой Альки звонкий, молодой, а вот интонации какие-то виноватые.

– Он хороший мужик, я Валеру отлично помню! – это дед.

– Да, Алешенька, он хороший, добрый, Алика баловал, и Верочку, конечно!

– Так у тебя двое?

– Да, Алешенька, двое: мальчик и девочка.

Они помолчали.

– А директор сейчас Валька Семенов, помнишь? – дед кивнул, взял Альку за руку, поднес к губам. – Римма у него секретаршей, ушла из науки, а из института не смогла уйти. Трубников зам по науке, – голос у Альки дрогнул.

– А Гриша с Лилей?

– Давно уехали! Помнишь, у них много лет детей не было? А потом близнецы родились! Дети болели очень, Лиля уволилась, ну, и уехали они. Гриша науку забросил, в военном госпитале работает. А Фатыхов в Казань переехал, ему там кафедру дали!

Дед, не сводя с Альки глаз, кивает.

– Алешенька, а ты помнишь зефир развесной? Мы его пополам делили, а потом ты свою половинку мне отдавал, помнишь?

– Помню, конечно! А ты помнишь, как Гриша с Михалычем за водкой ходили?

Оба смеются давней истории.

– А Михалыч как?

– Умер Михалыч, мы, все наши, и хоронили, у него ведь родных никого, детдомовец...

– Что ты говоришь! Ох, Михалыч, Михалыч, – дед опустил голову, потер висок.

– А ты как живешь, Алешенька? Про работу твою я все знаю, про звания все, статьи многие читала. А семья, дети?

– Дочка моя, Алиса, журналистка, очень интересные интервью берет, глупостей не пишет. По телевизору много выступает. Сереброва ее фамилия, это по мужу. А муж ее врач, доктор наук. Да у меня уже внуку восемнадцать лет! – дед заулыбался. – И внучка есть, отличница, в седьмом классе уже.

– Хорошо! – одобряет Алька, – Ты молодец, Алешенька, что тогда не вернулся... Зато каким человеком стал, академик, лауреат! Алик по твоему учебнику учился... – голос ее дрожит.

– Алька, а ты куда едешь? – вдруг вспоминает дед. – Ты сама или с Валерой? – он оглядывается кругом в поисках незнакомого Валеры.

– Я сама, Алешенька, я...

Загрохотала, приближаясь к платформе, электричка. Двери синхронно раскрылись и стали выпускать на перрон уставших за день людей. Стало шумно, кто-то смеялся взахлеб, заорал ребенок. Когда толпа рассеялась, и электричка, с шипением закрыв двери, отошла, Алькин поезд уже подали на посадку, и Алька с дедовым букетом в руках стояла возле своего вагона. Вокзальное радио над самой Сашиной головой громко объявило отправление поезда. Алька повернулась лицом к деду, сказала какие-то вежливые слова, улыбнулась, встав на цыпочки, положила букет на пол в тамбуре вагона, и обеими руками взялась за поручни. Дед протянул к ней руки, словно хотел поддержать, помочь влезть на высокую ступеньку. И непонятно как, совершенно спонтанно, на Сашин взгляд, они вдруг начали целоваться как подростки. Алька покрывала поцелуями дедово лицо, а он прижимал ее к себе, совсем, по мнению Саши, неприлично прижимал.

Саша вскочил со скамейки и поспешил поближе к деду, мало ли что!

Проводница в короткой форменной юбке оторопело смотрела на них, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, но красный флажок подняла, решила, наверное, пусть люди попрощаются.

– Видно, любовь у них! – громко сказала она проводнице соседнего вагона, жадно смотревшей на деда с Алькой.

Саша даже засмеялся. Ну, какая такая любовь может быть у деда и бабки?

– Пассажирка, вы конфеты забыли, – заторопила Альку проводница, – вон, на скамейке коробка ваша, заберите!

Алька, не слушая ее, взобралась по ступенькам. Досадливо махнув желтым флажком, проводница опустила тяжелую железную подножку.

– Валера умер год назад, – сказала Алька, обернувшись. Она стояла на самом краю рядом с проводницей. Бирюзовая ее юбка трепетала на ветру как живая.

Дед ахнул, сделал шаг к вагону. Машинист дал гудок, и поезд медленно сдвинулся с места.

– Конфеты-то дорогие, пассажирка, заберите, вон, коробка какая большая! – с завистью проводила глазами скамейку другая проводница.

Дед, не глядя под ноги, шел за вагоном. Саша подхватил его под руку.

Алька, держась за поручень, высунулась из вагона.

– Моему сыну тридцать семь лет. – ровным голосом сказала она. – Он блестящий врач, давно защитил докторскую, сейчас работает в Швеции.

Я еду к нему, и в Россию, наверное, больше не вернусь. Прощай, Алешенька! Вот теперь точно прощай! – Она хотела что-то еще сказать, но задохнулась, и отступила вглубь тамбура.

А дед, Сашин дед, такой сдержанный и такой невозмутимый, уверенный в себе академик, учивший маленького Сашу, что они, Барышевы, не плаксы, смотрел вслед поезду, и слезы текли у него из-под щегольских затемненных очков. Он сделал еще пару шагов, и с помощью Саши опустился на скамейку, чуть не придавив коробку с конфетами.

– А конфеты, – жалким голосом сказал дед, – конфеты она не взяла. Сказала, что самые лучшие конфеты она ела в прошлой жизни.

Дед и внук сидели на перроне до самых сумерек. Они молчали. Дед вспоминал Свердловск, а Саша думал, что за все в жизни нужно платить, и что беда приходит, когда ты меньше всего ее ожидаешь.



ЛЕОНИД ПОДОЛЬСКИЙ

Окончил Ставропольский медицинский институт.

Кандидат медицинских наук. Автор книг: «Потоп»

(1991), «Эксперимент» (2012) и

«Идентичность» (выходит в декабре 2016 года).

Готовит к изданию эпические романы

«Инвестком» и «Распад» (частично публиковались в

виде отрывков). Публиковался в журналах «Огонек»,

«Москва», «Юность», «Дети Ра», «Зинзивер»,

«Российский колокол», «Кольцо А», «Зарубежные записки», «Южное

сияние» (Одесса), «Новый ренессанс» (Германия), «Семь искусств»

(Германия), в «Литературной» и «Независимой газете», в альманахах

«Московский парнас», «Золотое руно», «Муза» «Созвучье муз» и ряде

других изданий. Лауреат и дипломант премий «Лучшая книга года» и

«Герой нашего времени» за книгу «Эксперимент» (2012). Главный

редактор альманаха «Золотое руно» и одноименного интернет-портала.

ВОСПОМИНАНИЕ

Это было давно, в другой жизни, в маленьком среднеазиатском городке – с белыми домами, пыльными деревьями, бесконечными полями хлопка, окружавшими город со всех сторон...

Летом городок плавился от солнца, стонал, беспокойно ворочался от духоты ночами. Чтобы уснуть, поливали водой полы, а чаще устраивались во дворах: даже в больших домах, двух- и трехэтажных, чуть не каждый строил себе во дворе сарайчик, и ночные сны протекали при серебристом лунном свете под тонкое, как звон монист, журчание арыков. В особенно жаркие дни город вымирал. Все, кто мог, прятались по домам, уезжали в горы – невдалеке начинались отроги Тянь-Шаня, или целыми днями пропадали на Зеленом мосту у желтого, мутного сая. Зато улицы, особенно в Старом городе, с глинобитными домиками без окон, и высокими, выше человеческого роста, дувалами становились совершенно пустыми. Лишь изредка по пыльным избитым мостовым медленно проходили ишаки, запряженные в двухколесные арбы с возницами в тюбетейках и стеганых халатах. И только базары и чайханы, расположившиеся в тени чинар, выглядели маленькими оазисами в раскаленном мареве.

В такие дни Старый город, этот последний раскаленный островок Востока, напоминал фантастический лунный пейзаж, испещренный кратерами узеньких улочек. Посередине островка возвышалась громада бывшей мечети. В мечети давно жили люди, с минаретов в любую погоду свисали простыни и детское белье, придавая ей вид дешевой киношной декорации.

К вечеру, когда жара слегка спадала, город оживал, на улицах появлялись люди. Старый город оглашался детским многоголосьем, из парков и от автостанции тянуло ароматными дымками шашлыков, зазывно покрикивали торговцы чебуреками и восточными сладостями; вспыхивали огни, стайки подростков, лузгая семечки, собирались у кинотеатров, в парке начинало крутиться колесо обозрения, откуда, как на ладони, словно сошедший с картин Сарьяна, был виден почти весь город, этот экзотический, многоязычный, грязноватый симбиоз России и Востока.

Но оживление обычно бывало недолгим: ночи на юге наступают рано, и город, уставший от дневного зноя, едва расправив легкие, торопился отойти к короткому освежающему сну.

К сентябрю ртутный столбик снижался градусам к тридцати. Начиналась пора свадеб, по утрам и вечерам протяжно дудели карнаи, пышно праздновали тои, базары ломились от изобилия – бесконечные ряды дынь, арбузов, гранатов и винограда, здесь же горы резаной моркови, лука, риса для плова, огромные тыквы, варятся лагман и манты, девчонки в тюбетейках с множеством косичек продают только что выпеченные домашние лепешки. Кажется, все только продают и почти никто не покупает.

Открывались и ковровые ярмарки, заполнявшие целые кварталы. Вместе с коврами торговали всякой всячиной. Особенно выделялись ряды с тюбетейками, ножами с инкрустированными ручками, и цветистыми восточными шелками. Люди, казалось, спешили насладиться короткой передышкой между летним зноем и хлопковой страдой, когда город снова станет почти необитаемым.

Обычно в начале сентября на месяц-полтора в городок приезжал цирк. Он раскидывал шатер в единственном парке, и сразу вокруг начиналось столпотворение: приезжали целыми семьями из близлежащих кишлаков, приходили торговцы после ярмарок и базаров, валом валили школьники, горожане, привозили даже на автобусах ребят из соседних городков, – цирк был единственным доступным зрелищем, если не считать футбол.

Мы в школе узнавали о прибытии цирка раньше всех. Еще за несколько дней до афиш в нашем классе появлялись два брата-близнеца Петя и Жора, кочевавшие с родителями вместе с цирком. Братья обычно держались особняком, чуть ли не каждый день сбежали с уроков и ничего не смыслили в математике и физике, так что наша учительница Евгения Петровна вскоре начинала хвататься за сердце и пить на уроках валокордин. Но зато на переменах, а иной раз и на уроках Жора с Петей демонстрировали удивительные фокусы: выплевывали из пустого рта шарики, вытаскивали носовые платочки из ушей, втирали чужие монеты в рукава, доставали неизвестно откуда у доски шпаргалки, или с помощью зеркала списывали контрольные. Впрочем, фокус со списыванием удавался им не вполне: больше троек они никогда не получали.

В десятом классе вместе с Петей и Жорой появилась и Таня. Ее родители были известными воздушными акробатами, и Таня уже несколько лет выступала с ними в совместном аттракционе. Меня Таня поразила с первого взгляда. У нее была прелестная фигура, изящная и гибкая, как у змейки, божественная походка, – когда она шла, все мужчины, забыв о собственных женах, не отрываясь смотрели ей вслед, и даже женщины восхищались и охали, – темные густые волосы, белая кожа, но самое главное – глаза. Глаза были большие, с легкой раскосинкой, какого-то необыкновенного зеленоватого оттенка, ласковые, и вместе с тем печальные. И еще, помню, у Тани были необычайно густые и длинные ресницы. Словом, я влюбился с первого взгляда той необыкновенно чистой и робкой юношеской любовью, которая потом очень редко повторяется и в которой я боялся признаться даже самому себе. На взаимность я не рассчитывал. Я это слишком хорошо понимал. Так что даже не любовь у меня была, а лишь мечта. Прекрасная, чистая, несбыточная мечта. Ведь, в самом деле, не мог же я, обыкновенный стихоплет, высокий и нескладный, висевший на кольцах, как мешок, и так и не научившийся перепрыгивать через коня, всерьез мечтать о ней, бесстрашной, грациозной и блистающей.

Мысленно я теперь все время разговаривал с Таней. Воображал, как мы идем рядом, держась за руки, и говорим о самом сокровенном... Или мечтаем вместе о будущем... Никогда еще я не разговаривал так, как с Таней...

Но – только мысленно воображал я этот разговор, потому что в жизни, просидев рядом с Таней целый почти месяц, я, наверное, не сказал с ней и нескольких десятков слов. Я все время пытался придумать какие-то

необыкновенные, несуществующие слова и не умел разговаривать с Таней на обыкновенном человеческом языке. Только подолгу украдкой поглядывал на нее, и бывал несказанно счастлив, если Таня просила у меня учебник или тетрадку, чтобы списать урок.

Моя влюбленность, хоть я о ней никому не сказал ни слова, конечно, очень скоро перестала быть тайной. Девочки, естественно, завидовали Тане – они вообще не любили ее, – но это я понял лишь много лет спустя, а тогда я просто страдал из-за разных глупых разговоров. К тому же иногда мне казалось, что они нарочно смеются надо мной...

Как-то на перемене мой приятель Вова Кутепов отозвал меня в сторону, чтобы сообщить распившую его новость,

– У Татьяны, оказывается, есть жених. Джигит из конной группы. Петька говорит, он может раздавить тебя одним пальцем.

– А Таня?

– Она его боится...

Моя любовь стала еще безнадежной.

Скорее всего, спасаясь от своей безнадежной любви, я и согласился пойти с Вовой в парк на танцы – ему не хотелось идти одному; на танцплощадке я был всего один или два раза. У меня много времени уходило на уроки, да и чувствовал я себя на танцах неуютно. Там была своя, мало знакомая мне жизнь – со своими королями и принцессами, своей субординацией, жестокими драками – один на один и кодла на кодлу, на кулаках и с солдатскими ремнями; с прыщавыми щеголями в брюках-дудочках, дешевой любовью, надеждами на замужество и, наверное, одиночеством...

К тому же я плохо танцевал. Фокстрот или танго – еще куда ни шло, топчись себе в тесноте почти на одном месте, но вот когда играли чарльстон или вальс, тут я пропадал, потому что совсем не чувствовал музыку. Впрочем, пропадал героически, «пропадал, но прикрывал грудью товарища», как сказал обо мне кто-то из ребят.

В тот день, как и раньше, эта чужая жизнь текла мимо, совсем не трогая меня, только мне было еще тошнее, чем обычно – и от сладковатой музыки с навязчивыми завываниями саксофонов, и от улыбающихся, ожидающих или притворно безразличных женских лиц, и от своей партнерши, полногрудой, с вставными золотыми зубами, в безвкусном обтягивающем платье, и от позорно разомлевшего в женских объятиях Вовы, и даже от мыслей о том, кто победит сегодня – Бецман или Жела. Я с трудом дождался перерыва и, не попрощавшись с приятелем, потихоньку выскользнул с танцплощадки. Тоска, еще более жестокая,

чем та, что привела меня сюда, гнала меня теперь прочь. Мне хотелось уединения, я обходил многолюдные аллеи, потом, помню, довольно долго сидел у пруда. Вокруг всюду целовались и обнимались парочки; всюду слышались шепоты; остывая, стонала земля, стонали деревья от легкого ветерка, стонал от любви оркестр на танцплощадке, ему вторил другой – в цирке, тянулись дымки из уличной шашлычной, где-то за оградой кричал пьяный. Парк казался огромным, шевелящимся, чувственным чудовищем...

Тоска томила меня, но странно, не было сил уйти; парк, словно магнитом, притягивал меня к себе; неясное ожидание и щемящая грусть водили меня по полутемным аллеям. Я бездумно бродил, не выбирая дорогу, пока не оказался у колеса обозрения.

Все аттракционы уже давно закрылись, только полупустое колесо обозрения – в его люльках сидели, обнявшись, три или четыре парочки, – продолжало вращаться в темноте. Парочки улетали в темноту, навстречу звездам, исчезали в невидимых верхушках деревьев. Мне тоже неудержимо захотелось покататься. Я направился к кассе и вдруг в нескольких шагах от себя увидел Таню. Она одиноко стояла, прислонившись к дереву и не видела меня...

Меня сковал страх. Ноги сразу стали ватными, сердце заколотилось, и все слова, что еще минуту назад я придумывал, чтобы сказать Тане, вдруг сразу выскочили из головы. Я бы, наверное, так и не решился подойти к ней, но еще больше я боялся показаться себе трусом, а потому скованной, деревянной походкой двинулся к Тане.

– Добрый вечер, – я не узнал свой голос. Он был совсем чужой, охрипший.

Таня, не заметив мое волнение (или только сделала вид?) радостно улыбнулась, и от этой улыбки, как утренний туман от первых солнечных лучей, рассеялся мой страх.

Я купил два билета на колесо обозрения. Мы сели рядом, застегнули ремни. Механик включил мотор и наше кресло медленно поплыло в темноту.

– Как хорошо! Правда хорошо? – радостно воскликнула Таня и схватила меня за руку. Кажется, это был единственный раз, когда я услышал ее смех.

– Ты сегодня не выступаешь? – спросил я.

Смех оборвался, что-то больно кольнуло меня в сердце.

– Не надо сейчас об этом, ладно?

– Хорошо, не надо.

Я обнял Таню за плечи.

– Тебе не холодно?

– Нет.

Таня не отстранялась. Она, казалось, не чувствовала мое прикосновение. Скрытые от всех темнотой, мы сидели рядом, плыли в ночи и глядели на россыпи огней внизу. Старая мечеть вдали, неровно освещенная, представлялась нам ветряной мельницей, город – целым сонмом заснувших призраков. Откуда-то из темноты доносились слабый запах увядающих цветов и музыка, будто далекий морской прилив. Волны то накатывались на берег, то разбивались о камни... – Ты когда-нибудь была на море?

– Нет. Я была только в Москве, и то всего несколько дней. Я всю жизнь кочую по маленьким городкам...

Танин голос был печален. Мне хотелось сказать ей что-нибудь приятное, но что? Я молчал...

Колесо завершило круг. Я снова купил два билета. В последний раз, потому что было уже поздно и аттракцион закрывался.

Мы опять поплыли навстречу звездам. На сей раз я успел рассказать Тане про лебединую верность – эту историю-быль рассказывали в Сочи, в дендрарии, и теперь воспоминание о лебеде, кинувшемся, сложив крылья, с высоты на землю, когда умерла его подруга, было связано для меня с морем.

Таня ничего не отвечала, только зябко повела плечами и грустно посмотрела на меня.

Колесо остановилось. Мы вышли. Мы были одни.

– Давай погуляем, – предложил я.

– Только уйдем подальше. Меня будет искать Альберт.

Мы свернули в самую темную аллею, что вела к пруду, поросшему тиной. Летом здесь катались ребята на лодках. Но был сентябрь, сезон закончился, и лодки, словно выброшенные на берег гигантские доисторические рыбы, темными глыбами лежали у воды. Мы с Таней бросали в воду камешки, слушали всплески воды, любовались звездной рябью, и нам казалось, что мы видим, как по воде бегут круги.

– Послезавтра я уезжаю, – сказала Таня.

Я вдруг подумал об Альберте. Он ведь поедет вместе с Таней. Он будет всегда рядом. Тане никуда от него не убежать...

Я взял ее за руку, и мы долго сидели, обнявшись, на перевернутой лодке. Кругом было тихо. Оркестр в парке давно уже смолк. Время перевалило за полночь.

– Идем, пора, – Таня поднялась и отряхнула платье.

– Мы еще увидимся? – глупо спросил я. – Может, ты напишешь?

– Если хочешь, приходи завтра в цирк. Я буду выступать.

Я снова обнял ее за плечи и хотел поцеловать. Таня отвернулась. Мое лицо погрузилось в ее волосы. Они пахли фиалками, речной свежестью.

– Не надо, – неуверенно сказала Таня.

– Ты мне очень нравишься.

– И ты мне тоже.

Я услышал, как она вздохнула.

– Таня...

Таня нежно охватила руками мое лицо, потом коснулась губами моих губ. Ее губы были холодные, два чистых ледяных кристалла...

– Я представлял это совсем иначе...

– Так оно и есть.

Таня прижалась ко мне, я обнял ее за плечи, нашел губами ее губы...

Потом она выскользнула из моих объятий.

– А теперь пора идти.

– Подожди еще хоть немного.

– Нет, пора.

Таня была старшей, рядом с ней я чувствовал себя мальчиком и потому подчинился. Я проводил ее совсем немного, потом она ласково пожала мою руку и, прежде чем я успел опомниться, растаяла в темноте...

Больше я никогда ее не видел. На следующий день я не попал в цирк, а потом Таня уехала...

Пробежали годы. Все растаяло. Юность, как весенний сон, и тот далекий, на мираж похожий город. Воспоминанья давно уже подернулись прозрачной паутинкой ностальгии. И только изредка, когда я со своими детьми иду в цирк, я иногда ловлю себя на мысли, что мне все еще хочется встретить Таню. Я с волнением всматриваюсь в лица воздушных акробатов. Но под куполом цирка всегда другие, такие же прекрасные, сверкающие, и такие же незащитные, как она тогда...



ФЕДОР ОШЕВНЕВ

После технического вуза четверть века отдал госслужбе: начинал командиром взвода, позже был военным и милицейским журналистом, прошел "горячие" точки. Выпустил десять книг. Причислен к направлению "жестокое" реализма. В периодике регулярно печатаюсь последние пять лет, на сегодня прошло 149 публикаций в российских и зарубежных изданиях. в том числе в Интернет-альманахе "45-я параллель.

У КАЖДОГО – СВОЕ

Над затихающим селом стыл морозный зимний вечер...

Вдруг задремавшая под яркой луной улица ожила и на ней раздались частые нетерпеливые выкрики: «Пошла-а! Ну же, пошла!»

Молодой мужчина, стоя в санях, безжалостно нахлестывал взмыленную, закусившую блестящие удила караковую лошадь, бешеным скоком несущуюся меж сугробами рыхлого, поутру выпавшего снега. Рывком натянув задубевшие на холоде вожжи, мужчина еще на ходу прыжком вымахнул из саней. Подбежав к большому крестовому дому, настойчиво застучал кнутовищем в одиноко светившееся окошко. Человек за стеклом привык к неожиданным визитам – обзывала профессия врача...

На крылечке дома, в теплой болоньевой куртке нараспашку, стоял агроном из хутора – человек редкой, почти медвежьей силы. Из-под затертой пыжиковой шапки, искрящейся блестками морозной пыли, выбивались темные пряди мокрых волос; руки в меховых перчатках нервно сгибали упругое вишневое кнутовище.

– Доктор, скорее! – прерывисто выкрикнул поздний гость. – Жена с утра не разродится!

Врач молча скрылся в сенях. И через минуту выбежал на порог дома, хрустнув утоптанном снегом под зимними полусапожками и на ходу застегивая пальто. В руках держал чемоданчик с намалеванным на его крышке красным крестом в центре белого круга.

– Когда начались схватки? – привычно поинтересовался врач, бережно укладывая чемоданчик на цветное одеяло, подоткнутое поверх умятой, слабо пахнувшей овсяной соломы.

– Утром, часов в восемь еще, – скороговоркой отозвался агроном, торопливо запрыгивая в сани. – Я только на работу ушел...
– А кто с роженицей сейчас? – перебил врач, боком садясь в сани и натягивая на длинные пальцы с аккуратно остриженными ногтями перчатки козьего дымчатого пуха.
– Кто? Да мать же и... – тут агроном на секунду загнулся было, взмахнув кнутом. – Ну и соседка-повитуха. Акушерка наша в отпуске, к родственникам укатила...

– И что же?

– А то! Чтоб у этой коновалки руки отсохли! Ч-черт... – и агроном, не окончив фразы, зло рассек воздух кнутом. Сапно вздымавшая парующие бока лошадь испуганно дернулась черным крупом и нехотя тронула с места...

До хутора – километров шесть по накатанной санями и машинами проселочной дороге. Понукаемая лошадь мчалась, обидчиво подтянув нижнюю губу и отрывисто выстукивая копытами частый ритм по глухо отзывавшейся мерзлой земле. Крепко придерживая на одеяле свой чемоданчик, врач, сочувствуя агроному, подумал: «При родах солнце не должно заходить дважды! Сутки, не больше суток, иначе... Спешить! Спешить!!!»

Неожиданно в сухом, выжимающем из прищуренных глаз слезу воздухе, перекрывая легкий скрип полозьев на льдистых местах дороги, послышались голоса, кричащие не в лад игривым переборам гармошки. Ближе, четче становились развеселые голоса.

– Эгей! Побереги-ись! – зычно крикнул вперед агроном.

Вот они уже – рукой подать – две разукрашенные, с колокольцами на дугах, тройки.

– Давай, родимые! Еще давай! – деловито и радостно покрикивал на вороных лошадей с вплетенными в гривы разноцветными лентами дюжий возница-бородач передней тройки, одетый в белую дубленку и по-ямщицки подпоясанный брусничным кушаком. Рядом, на этих же санях, нескладно выкрикивали: «Горрько!» хмельные дружки с полотенцами, переброшенными через плечо, а гармонист перебирал перламутровые клавиши трехрядки.

Второй тройкой (коренник – гнедой жеребец и серые в яблоках пристяжные) молодецки правил статный лейтенант в распахнутой ветром парадной шинели. В центре расписных саней жених обнимал обложенную шубами, закутанную пуховым платком невесту с

раскрасневшимися щеками; здесь был и ряженный в костюм полногрудой цыганки парень, и кто-то в бурой медвежьей шкуре...

– И-эхх, гуляй, так твою перетак!

– Маэстро, дави на клавиши!

– А ну, пошли, родимые!

Смех. Крики. Цокот копыт. Частые переборы гармошки. Свадьба!..

– Доктора везу! Пропустите! – вновь зычно и резко прокричал агроном. Но голос его, наполовину заглушаемый голосистой гармошкой и пьяными криками, относил ветер. Агроном крикнул еще, еще, уже почти догнав вторые свадебные сани. На тройках его наконец хорошо расслышали, но не поняли. А вернее, не захотели понять.

«Чего надрываешься, дурень? Неужели не знаешь, не понимаешь, что мы – свадьба – просто не можем пропускать вперед никого? Плохая примета: тогда, по поверью, молодым всю жизнь не будет в доме счастья», – возможно, подумалось на тройках тем, кто был потрезвей. А вернее всего, что и нет...

– Бесплезно! – сквозь зубы, по-звериному, прорычал агроном. – А что, если... – и, сплюнув через угол рта, нервно дернул вожжами влево, пытаясь обогнать свадьбу обочь, но запаренная в беге лошадь сразу увязла в глубоком придорожном снегу.

Агроном, чертыхнувшись, круто и трудно вывернул на грунтовку. Врач с тревогой приподнялся и крикнул ему:

– Опоздаем!..

Агроном затравленно молчал, до боли сжимая в руках твердые от мороза вожжи с ременными наконечниками, а в прищуренных от ветра глазах его зарождался невиданной силы гнев.

Со свадебных саней заорали неприличную частушку про обрюхатевшую в девках. И тут агроном, придерживав вожжи и наполовину даже сам не осознавая, что же делает, закричал – отчаянно и испуганно, что есть мочи и срываясь на хрип. Он страшно, грязно обругал невесту...

Резко тормознули тройки. Так резко, что парень, одетый в костюм дородной цыганки, и еще кто-то с передних саней кувыркнулись в снег. Захлебнулась на высокой ноте трехрядка, с растянутыми мехами полетела в сани...

Лейтенант пытался остановить разом рванувшихся к агроному парней, но успел лишь сшибить с ног гармониста и тут же упал сам, намертво сцепившись в яростном объятии драки с бородачом-возницей, оравшим лейтенанту: «Уйди!» – вперемешку с руганью; жених грубо волочил за собой плачущую, ухватившуюся за полы его тулупа невесту и тоже через

слово матерился; запутавшись в длинной юбке, подвернула ногу «цыганка»; неумело ломал оглоблю из саней трусоватый дружка, а его товарищ первым набегал на агронома; испуганно визжали, съезжившись в санях, невестины подруги...

Завернув лошадь, агроном швырнул вожжи врачу, который неловко поймал их. Стеганув напоследок мокрый от пота конский круп, агроном спрыгнул с саней, сжимая в руке кнут.

– Гони!!!

Объезжая по сугробам остановившиеся вдоль дороги свадебные тройки, чуть не сцепившись отводами с передними санями, врач еще успел заметить, как агроном в два движения сдернул с плеч стесняющую его куртку и с силой, с оттягом, дважды полоснул нападающих кнутом, а дальше все смешалось в один рычащий, бесформенный клубок дерущихся, каждый за свое.

Стиснув зубы, врач хлестнул вожжами тяжело бегущую лошадь, заставляя ее наддать ходу. Совсем рядом мучилась жесточайшей человеческой болью роженица, уповающая на его помощь, истово надеющаяся на нее...

– Но-о! Но-о! – понукал врач лошадь.

Да, умом он сейчас понимал, что при родах солнце не должно заходить дважды, а значит, надо мчаться и мчаться, и только вперед, сквозь ночь, к будущей матери. И как же он ненавидел в душе это понимание...

Вот и замелькали по сторонам дома соседней деревни, за которой уже был виден нужный хутор, и по улице прокатился заливистый собачий брех. Припозднившийся прохожий, остановившись, проводил удивленно-любопытным взглядом мчащиеся сани. Еще минуты две – и лошадь сама остановилась у родного порога.

В прочищенном от снега дворе, у калитки, сосредоточенно дымили отец и младший брат агронома – парень лет восемнадцати, которые тут же поспешили навстречу долгожданному гостю.

– Наконец-то! – обрадованно воскликнул отец, отбрасывая в сторону и окурки, и пустую смятую пачку из-под «Примы». – А почему один?

– Он на дороге со свадьбой дерется, – единым духом выпалил врач и стремительно взбежал на крыльцо...

Отец и брат агронома примчались на место драки, вконец загнав несчастную лошадь, со страхом прижимавшую уши под нещадными ударами вожжей и кнута. К тому времени агроном уже давно не сопротивлялся свалившим его наземь и теперь насмерть забивающим парням, лишь в полутьме сознания инстинктивно прикрывал голову.

Лейтенант оттаскивал озверевших парней от лежащего ничком агронома; невеста, до бровей вывалившаяся в снегу, плача, всё цеплялась за жениха; стонал возле саней дружка, получивший первый удар кнутом, бережно прикрывая ладонью поврежденный глаз и ритмично покачиваясь туловищем влево-вправо; держался за свернутую челюсть второй, трусоватый дружка; кое-как поднимался на ноги гармонист, в свалке оглушенный кем-то из своих же; снова мешала «цыганке» юбка, не дающая сильного размаха для удара ногой... Вокруг места драки на снегу и исчерканном каблуками ледяном покрове дороги валялись оторванный рукав грязно-белой дубленки, несколько рукавиц, затоптанная ондатровая шапка.

То один, то другой нападающий прорывались мимо лейтенанта к агроному и пинали его ногами: в живот, в лицо – зло, люто, иной раз с хакающим вскриком мясника, разрубаящего тушу.

Брат агронома еще из саней выстрелил в воздух из захваченной тулки-двустволки. От грома выстрела парни разом опаматовались, остановились и молча, с тупым удивлением уперлись взглядами в человека, недвижно лежащего перед ними на испятнанном кровью снегу. Агроном с помощью отца тяжело, со стоном поднялся и сделал шаг, закусив губу. Потом выхаркнул на истоптанную и продранную до сизого льда дорогу темно-красный сгусток. Еле внятно произнес:
– Не по злобе я, парни. Не по злобе. Ведь жена умирает... Но и вы-то... Э-х-х!

И, слабо оттолкнув отца, со словами: «Я сам», шатаясь от нечеловеческого напряжения сил, медленно побрел к саням.



АЛИСА ХАНЦИС

Родилась в городе Набережные Челны. Работала редактором, журналистом и корректором. Первый же роман Алисы Ханцис «И вянут розы в зной январский» был отмечен литературной премией «Рукопись года» в номинации «Язык» и

получил третье место на конкурсе «Русская премия» в номинации «Крупная проза» (2012). Её рассказы публиковались в журналах «Новый берег» и «Новый журнал», альманахах «Австралийская мозаика» и «Под небом единым», в газете «Интеллигент». Живёт в городе Мельбурн, Австралия.

ВЕТКИ И ЛИНИИ

Что вы сказали, молодой человек? Да, Хантингдейл – с этой платформы. Вам нужен поезд до Пэкинхем. Он будет через 20 минут, так что можете пока тут присесть. Не беспокойтесь, я покажу ваш поезд, вы его не пропустите.

Да, вы правы, поезда здесь ходят не так часто, как в обычном метро. Тут, в Австралии, и слово это не используют, хотя я к этим поездкам отношусь так же, как к их подземным собратьям в других странах. А я их много повидал. Можно было бы сказать, что я с ними провел всю жизнь, но это не совсем правда.

Там, где я родился, метро не было. Это был маленький шахтерский городок в графстве Йоркшир, в Англии. Мой отец работал на шахте, и мне это казалось каким-то волшебством. У меня была любимая книжка, про подземных гномов, которые прячут в пещерах сокровища. С тех пор, как мама прочитала мне ее, в моей душе поселилось ощущение тайны, которая лежит где-то глубоко под нашими ногами. Невидимая жизнь под толщей земной тверди – вот что разбудило мое воображение. Помню, как я пытался копать землю в саду, но как ни старался, ничего, кроме червяков, не находил.

Когда мне было пять лет, мы с родителями поехали в Лондон, и там я впервые попал в метро. Вначале мы долго-долго спускались по лестницам и эскалаторам, а затем я увидел подземелье. Оно было непохоже на шахту, про которую рассказывал отец. Здесь было светло, а стены облицованы плиткой. Не было ни гномов, ни сокровищ, только бесконечно сновали туда-сюда люди и ездили вагончики. Я чувствовал себя обманутым.

Но потом мне понравилось кататься на метро, а еще позже, когда я окончательно перестал верить в гномов, подземные поезда заняли их место в моем воображении. Чудо не умерло. Теперь, во время поездок к лондонским родственникам, мне доставляло необыкновенное удовольствие идти по городу и чувствовать биение его пульса; знать, что глубоко под асфальтом лежит особый мир, не видимый с поверхности. А еще меня пленяла идея спуститься под землю в одной части города и выйти в другой. В этом было какое-то волшебство.

Даже схема подземки восхищала меня. В чудовищном переплетении разноцветных линий была ясность и гармония. Я мог сидеть целый час и водить пальцем по карте, повторяя удивительные названия: "Семь сестер", "Слон и замок", "Королевский дуб". Я нашел свою собственную сказку – на всю жизнь.

После школы я, конечно, приехал учиться в Лондон. Первые несколько месяцев я только и делал, что покорял его подземные просторы. Вначале я старался придумывать поводы, чтобы забраться подальше от первой зоны, которую я облазил в первые же недели. Например, посещение какого-нибудь парка. Но потом прогулки стали самодостаточными. Ехать по неизведанному маршруту, слушать незнакомые названия станций – это было упоение первопроходца. Иногда со мной ездила Джейн, моя одногруппница по колледжу, но чаще я путешествовал один, так мне нравилось больше.

Мое непонятное для окружающих хобби обходилось мне недешево, но любая страсть требует вложений, даже коллекционирование пивных пробок. И я был готов платить за свое удовольствие.

Любимой станцией в Лондоне у меня была Майда Вейл. Странное волнение охватывало меня, когда я приближался к ней, минуя Паддингтон и Уорвик-авеню. А при виде ее трогательно старомодных мозаик в кассовом зале становилось легко и спокойно на душе. Я выходил на улицу и отправлялся гулять без цели, чтобы только вернуться потом к элегантно темно-вишневому павильону. Не знаю, что тянуло меня туда. Джейн, которая, по странному совпадению, жила в доме напротив станции, как-то сказала, что ей тоже нравится район Майда Вейл, потому что рядом находится звукозаписывающая студия, где работали "Битлз". Мне же не было до этого дела, я уже давно не нуждался в дополнительных источниках удовольствия от прогулок на метро, да и музыку я почти не слушал.

До определенного момента моя страсть к метро ограничивалась лондонской подземкой. Но растущий аппетит к изучению этого

чарующего мира погнал меня дальше, и на летние каникулы я поехал в Глазго. Эта авантюра захватила меня целиком, несмотря на обиды родственников, считавших, что я должен больше времени проводить с ними. Я впервые ехал так далеко – познавать частичку подземной жизни гористой Шотландии. При мысли об этом в душе всколыхнулись детские воспоминания о гномах и их золоте. И вот, наконец, я оказался под Глазго и пустился в бесконечный карусельный путь, ведь единственная линия метро в этом городе – кольцевая. Можно было бы предположить, что после дьявольского переплетения десятка с лишним лондонских веток такой аскетизм разочарует меня, но этого не случилось. Я чувствовал себя так, будто отыскал одно из гномьих сокровищ – магическое кольцо из темного золота. В этом метро была какая-то тайна, а в его цикличности – своя философия. Из-за оранжевого цвета символики и вагонов ее называли "Заводным апельсином". Позже я узнал от Джейн, (она навязалась мне в попугачки, сказав, что хочет навестить родных в Глазго), что это название одной из ее любимых книг. Потом она даже подарила мне эту книгу на Рождество, и я прочел ее, когда торчал в аэропорту из-за отмены рейса, но она мне не понравилась. Да, аэропорты вскоре стали неотъемлемой частью моей жизни. Метро в Ньюкасле появилось только в восьмидесятом году, а в то время за новыми впечатлениями мне пришлось ехать на континент. Париж встретил меня клошарами, ночующими на станциях, бродячими музыкантами в вагонах и витиеватым декором в стиле модерн. Мне пришлось по душе и подземная, и наземная жизнь города. Весенний воздух опьянил меня, взору вдруг открылись стройные девушки в соблазнительных платьях, и мне невольно вспомнилась Джейн, которая, в общем-то, была очень даже ничего, даже на фоне этих прелестниц. Я так расчувствовался, что послал ей открытку с Эйфелевой башней – не знаю зачем, просто вышел со станции Ришар-Ленуар и забежал на почту. Потом я, конечно, пожалел об этом порыве, но было поздно. К моменту окончания колледжа я побывал в пятнадцати городах Европы с подземной жизнью разной насыщенности. По небольшим странам было удобно передвигаться автостопом, успевая осмотреть несколько городов за одни каникулы. Мне постоянно не хватало средств, от родителей я ничего не ждал, поскольку разругался с ними, и Джейн меня здорово выручала. Она часто одалживала мне денег, а потом даже взялась подкармливать и, в конце концов, переехала ко мне жить. Я был не против.

К тому времени я уже собирал билеты всех метрополитенов, где бывал, и хранил их в специальном альбоме. На стену я повесил карту мира и отмечал на ней свои маршруты. Меня пустила в свои фантастические недра Москва с ее подземными мраморными дворцами, от которых захватывало дух. Я получил наглядный урок политической географии, сравнив метро Восточного и Западного Берлина, и посетил "самую длинную картинную галерею в мире" – прорубленные в скалах и расписанные художниками станции Стокгольма. Я был молод, одержим страстью и чувствовал, что моя жизнь наполнена особым смыслом. Знакомые к этому моменту пережились и утонули в бытовой рутине, а я был свободен. Заключение брака спустя пару лет не сковало меня: это была простая формальность – почему бы и нет, раз все равно живем вместе.

Вы чем-то обеспокоены? Ах да, поезд... Ничего, они иногда опаздывают – здесь, правда, куда реже, чем в Лондоне, где вечно что-то ремонтируют. А в Париже работники подземки любят бастовать. Не волнуйтесь, посидим еще. Я продолжу рассказ, если вы не против. В семьдесят шестом году я впервые попал на североамериканский континент. Это было давней мечтой. Я спуускался в грохочущую преисподнюю в Нью-Йорке, дегустировал новенький сабвей в белоснежном Вашингтоне и любовался декоративным убранством метро в Монреале и Бостоне. Всего за несколько центов я получал пропуск в подземные лабиринты гигантского Мехико, из которых меня затем выводили картинки-символы – по ним узнают названия станций неграмотные.

После этой поездки я попал на страницы журнала о путешествиях – меня разыскал какой-то дотошный журналист, чтобы взять интервью. Публикация произвела впечатление на всех знакомых, даже на Джейн, которая все чаще выражала недовольство моими поездками, хотя раньше вроде как поддерживала. Но финансово я от нее уже не зависел, а свобода была дороже.

Постепенно покорив Северную Америку, я отправился в Южную, которая, впрочем, не порадовала меня разнообразием – покорил лишь Буэнос-Айрес с его фресками на исторические темы, тогда как Сантьяго и Сан-Пауло были слишком юны и безлики. Тем временем во всем мире постоянно строилось новое метро, и я должен был успеть везде. Это было уже делом чести. Когда я исследовал недра Азии, мной заинтересовались телевизионщики и сделали передачу. Вы сами, наверное, из Японии? Я так и подумал. Из Осаки? Конечно, я там был. У

меня в коллекции даже есть буклетик про ваше метро со схемой линий, стилизованных под иероглиф, – очень оригинально. Так вы, возможно, даже видели ту передачу обо мне. Я стал знаменитостью, хотя Джейн почему-то не выразила восторга и вскоре вообще ушла от меня, забрав обоих детей. Честно говоря, никогда не понимал женщин.

А сейчас я здесь, в Австралии. Только к пенсии удалось выбраться в этот уголок света. Я, правда, долго проболел, еще в Англии. И сейчас врачи не рекомендуют особо летать. Решил пока осесть тут, снял домик рядом со станцией Клифтон Хилл. Метро здесь, правда, наземное, но в этом есть своя прелесть. А подлечусь – поеду по стране, посмотрю другие города. На мою долю чудес еще хватит, не вся карта мира исписана моими маршрутами. Знаете, как это здорово, когда впереди что-то есть. Вот и ваш поезд. А я еще посижу тут, мне спешить некуда. Раньше дома ждала кошка, да и та умерла на днях. Ну, счастливого пути.



ВАЛЕНТИНА ЧЕЛОВСКАЯ

Родилась во Львове. Закончила Университет, факультет романо-германкой филологии. В Австралии с 1998 года. В университете в Канберре защитила диплом по курсу “Психология”. Работает психологом-диагностом в центре нетрадиционной медицины. Стихи пишет с 16 лет. В Украине печаталась в периодических и студенческих изданиях. Публиковалась

в Мельбурне в местной, русскоязычной периодической печати и в сборниках, а также в Германии, в том числе в альманахе «Крещатик», в России – в газете «День литературы». Пишет на трех языках.

ПРЕДБАННИК.

– Боже, как долго!

Кафедра заседала вот уже два с половиной часа, роясь и выискивая нужные цитаты в эпохальном шедевре «Малая земля». Конец. Голова стала чугуновой, а Анне надо было еще бежать к другу художнику на юбилей. Ее муж уже был там. Все должно быть собрались и ждут. Выскочила на улицу, снег падал и таял. Слякоть под ногами.

– Такси!

Анна настойчиво жестом пыталась вырвать такси из вереницы машин, проносившихся мимо. Неожиданно вынырнула машина с зеленым огоньком.

– В магазин, потом на Леси Украинки.

– Что так долго?

Она перевела дыхание. Очки запотели. Полумрак в квартире. За ней закрыли двери. Опять протерла очки.

– Что это?

Почему-то не могла сконцентрироваться. Имениник с пузцом, веселый, поддатый и при этом абсолютно голый. То ли от неожиданности, то ли от резкой перемены мест и явлений, Анна тупо таращилась на его срамное место. Все реакции исчезли, а чувство побитого незнамо за что провинившегося пса смотрящего в пол и ожидающего наказания, осталось.

– Давай, раздевайся, – настаивал муж в полном неглиже и нетерпении.

– В смысле? – растерянно спросила Анна – Ну, как все!

Диалог с мужем вывел ее из ступора.

Вся анфилада огромных комнат была освещена свечами горевшими на полу. Бомонд возлегал кто где. Многие, что изволили быть недалеко,

установились на нее с интересом. Легко подталкивая и игриво подшучивая, муж и именинник затащили Анну на кухню.

– Ну, давай раздевайся, – настаивал муж пытаясь снять ее сумку с плеча.

– Пожалуй, я пойду... Мне все это как-то... Устала... Три часа "Малой земли" меня доконали, – тупо уставившись в пол ответила Анна.

– Что ты кривляешься? Покажись им всем! Вот еще провинциальная Бриджит Бардо!

Муж повернулся и нервно, как-то по-женски, передергивая плечами вышел из кухни.

Чмокнув именинника в лысину, сунув ему быстренько шампанское и цветы, Анна игриво попросилась в туалет с честным обещанием после этого присоединиться ко всем.

Выскочила на улицу, ком в груди. Ветер. Слякоть. Мокрый снег хлестал по ее мокрым щекам усиливая эффект.

– Куда бежать? Позвоню полковнику.

Подковник был соседом. Органически не переносившим ее мужа.

Красив, холост, за сорок. Студент высшей военной академии, вечно пытавшийся затащить ее в постель.

– Привет.

– Привет! Как я рад, ты где?

– Знаешь, слов- то нет.

– Тебя что, кто-то обидел? Я приеду!

И вот они уже в машине. Анна знала, что полковник обладал врожденным чувством такта и искренним желанием ей помочь.

– Куда ты хочешь?– спросил он. – К тебе.

А мысли то и не тут. Теперь понятно, где ее муж проводил столько времени. Люди творчества – народ особый.

Правда, вчера он что-то бормотал о сюрпризе, который они подготовили.

– Да уж, сюрприз прямо сказать, удался!

Она не спрашивала его никогда ни о чем, гордость не позволяла и всегда гасила в себе все вопросы и ответы. Ее брак считался очень счастливым и на очередных тусовках Анна чувствовала, как оглядывались и шептали вслед в восхищении и зависти. – Какая пара...

– Какой бессмысленный этот брак!

Доехали быстро. Дом полковника был рядом. Метра два ростом, он неожиданно схватил ее на руки и внес к себе. В другой раз она бы сопротивлялась, а в этот – было все равно.

– Я так счастлив, как я ожидал этой минуты! От этого всего “восторга” ее просто стошнило.

– Чем утешить мою принцесу? Эта рахатлокумная слизь еле-еле проглатывалась.

– Прости меня, давай просто выпьем, – попросила она. И он принес. Говорить ни о чем не хотелось. Полковник старался всячески развлечь ее, но мысли постоянно отодвигали его куда-то на задний план.

Фразы и обрывки прошлого резко возникали, вырисовывая не очень благоприятную картину. Завкафедрой Анны, когда-то увидев ее мужа, была настолько удивлена, что после занятий пригласила ее к себе на рюмку чая, чтобы выразить свое соболезнование. На тот момент что-то учуяла ее Шамраева, чисто по-женски.

– Дорогая... – полковник был на крепких алкогольных парах. Анна посмотрела на него,

– Наверное я еще не созрела, – подумала она, и они продолжали пить. Было уже где-то часа три ночи или утра. Они просто надрались в стельку и вдвоем, ребячась и толкая друг друга, на карачках поползли в постель.

И, слава Богу, он вырубился сразу, а она, на вечных своих каруселях, искала позу чтоб прикрыть глаза, но так и не уснула и с первым просветлением вскочила и убежала домой.

А там – никого. Взяла документы, дорожную сумку и первым рейсом – к себе, к маме, дочке. Суббота и воскресенье – ее, может хватит времени раны зализать.

Дома всегда спокойно. Но маме не расскажешь, да и зачем? Мама такая правильная, не смогла бы понять и осмыслить все это. Ее глаза всегда были пронзительны, что смотреть в них было так больно, а врать и подавно. Побегала к Светке, к своей кухне. Заскочила на ее второй этаж. Этот темный предбанник перед дверью ее квартиры, всегда напрягал. Закрыла двери и стала шарить в поисках звонка. Какая-то дрожь пробежала по телу.

– Кто-то еще здесь есть, – подумалось в первую секунду.

Состояние напряженности и этого внутреннего беспокойства не проходили.

– Что еще за кундалини? – юмор всегда держал ее на поверхности. Нащупала звонок. Позвонила. Двери открылись.

– Светка! – радостно обняла сестру.

– Привет, а ты как здесь? Смотри, за тобой Виталик стоит, к Саше пришел...

Повернула голову действительно молодой мужчина. – Так вот откуда флюиды!

– Пошли на кухню, – пригласила Светка.

Здесь всегда Анне было тепло, особенно на ее кухне, такой родной и интимной.

Когда-то они могли ночи напролет трепаться и ржать, и садиться за фоно и петь до самых первых петухов, накуриваясь до одури, а потом рыться в окурках, выискивая лучший бычек.

Это было когда-то.

– Кто это? – спросила она Свету. – Кто, Виталик что-ли? – удивилась сестра.

– А, он с Сашей в бизнесе, а что?

– Так, ничего – быстро ответила Анна и отвела взгляд.

В это время мужчины перешли на кухню.

– Вот, скушно без вас, – заявил Саша, целуя Светку в висок. Они были женаты уже не первый год и сохранили очень нежные отношения.

– Можно с вами почаевничать? Виталик оказался напротив.

– Парень как парень, может моих лет, а может младше, ничего особенного! – подумала Анна.

Но вот только тот внутренний озноб, появившийся в предбаннике не проходил, а приобретал какой-то новый окрас, засасывая ее всецело без спросу. И она уже была не в силах справиться с собой и, тем более, с его присутствием – вон там, напротив нее.

Вскочила, как-то глупо попрощалась и бежать. Бежать, подальше от этих глаз, что так внимательно и бессовестно изучали ее каждое движение рентгеном, оставляя пустыннопересохшей и беспомощной.

А на улице разыгралась зима. Анна всегда была счастлива в этом городе детства, просто оттого что она здесь. Солнышко, морозец, снег – выбили слезу, она смахнула ее и понеслась домой. Возле сквера решила перевести дыхание, но кто-то тут же крепко ухватил ее за рукав.

Повернула голову, – Виталик? От неожиданности прищурила глаза, стараясь скрыть удивление.

– Куда вы, куда? – прошептал он, пытаясь поймать Анну за руку. – Эти полчаса я не могу совладать с собой... – Голос Виталика дрожал.

А ей то что ответить? Сказать, что с ней все ЭТО тоже, но ЭТО ведь полная хрень!

И слов нет, чтоб объяснить, да и к чему и что? Молча облизав пересохшие губы, вся в холодном ознобе, Анна прильнула к нему.

Она не помнила, как они оказались в его квартире. Не помнила ничего, только запах подушки пахнувший Виталиком и нескончаемость желания быть с ним.

Несколько звонков позволили официально обыграть житейскую часть вопросов.

Для института – она была на больничном. Для мамы – уехала в Киев.

Для мужа – улетела в межпланетное пространство.

Неделя пролетела секундой. Этот так неожиданно сложившийся пазл не рассоединялся.

А вся ее семейная, так долго длящаяся драма, как-то сразу скопом, отошла далеко-далеко, в какую-то совершенно неважную и уже прошедшую часть ее жизни.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК (ПОТЕРЯННЫЕ СТРАНИЦЫ)



90-е годы в России без преувеличения можно назвать временем интеллектуального Ренессанса. Особое место в этом интереснейшем процессе занимает частное издательство «Водолей», основанное в 1991 году сотрудником Областной Томской библиотеки Евгением Кольчужкиным.

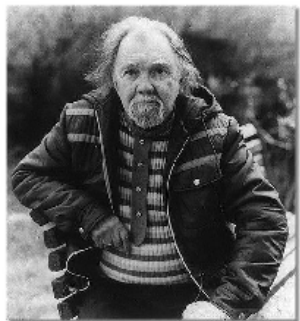
В первую очередь «Водолей» обратился к тем поэтам, писателям и философам, которые по разным причинам в течение десятилетий были обделены издательским вниманием, или просто умышленно преданы забвению. Таким образом, «Водолей» продолжил традиции таких символистских издательств начала прошлого века как («Скорпион», «Мусагет» и т.п.), переиздавая в первую очередь выходившие в них книги. Для такой грандиозной задумки понадобились тесные контакты с филологами, переводчиками и авторами.

С 2002 года «Водолей» получает постоянную прописку в Москве.

Особый вклад в деятельность издательства внес его главный редактор, писатель, поэт, переводчик, историк поэтического перевода Евгений Витковский.

Основная сфера деятельности издательства – Серебряный Век (серия «Серебряный век. Паралипоменон»). Это практически пропущенные, забытые страницы Серебряного Века, изданные добротной и с любовью. Начинаясь эта серия с книги Лидии Алексеевой, двоюродной племянницы А. Ахматовой, за которой последовали тома С. Соловьева, М. Тарловского, С. Петрова, Б. Нарциссова и многих других. Всего к изданию намечено около 200 почти забытых авторов. Открываются совершенно невероятные вещи, каждая книга издательства – это неожиданные встречи, истории, судьбы, достойные отдельного обстоятельного разговора.

Альманах «Витражи» продолжает рубрику «Серебряный век, пропущенные страницы». В этом номере один автор, но какой! Знакомьтесь – Сергей Петров.



ПЕТРОВ Сергей Владимирович

24.3 (7.4). 1911 Казань – 31.10. 1988 Ленинград
Поэт, прозаик, переводчик.

Родился в семье врача. Отец погиб на фронте в 1916 г. В 1927 г. семья переехала в Ленинград.

Петров учился на романо-германском отделении ЛГУ, окончил в 1931 г. В феврале 1933 г. арестован и, после года во внутренней тюрьме ГПУ, сослан в Сибирь. Там его также на год посадили. С 1954 г. жил в Новгороде,

преподавал в пединституте. В 1964 г. принят в Союз писателей как переводчик. С 1976 г. постоянно жил в Ленинграде.

© «Е.В. ВИТКОВСКИЙ»

Сергей ПЕТРОВ

Спиной к былому...

Петров Сергей Владимирович, уроженец Казани (1911–1988), учился в Ленинграде, был арестован – о счастье! – еще до убийства Кирова (если бы после – не посадили бы, а просто к стенке поставили), сидел в «советской одиночке» (это такая одиночка, в которой сидят 10 – 12 человек и где филолог Петров выучил латышский язык со слов неграмотного сокамерника-латыша), в общей сложности провел в тюрьмах, лагерях и ссылках больше двадцати лет, переехал в Новгород, был принят (как переводчик) в Союз писателей СССР.

Его охотно печатали как переводчика: делался том Кеведо – ему отдавали прозу, которую не брался расшифровать ни один испанист, делался том «Жизнеописания трубадуров» – Петрову заказывали вставные стихи со старопровансальского, от которых прочие переводчики бежали как черт от ладана, и так далее. То он вдруг писал стихи на шведском, то на исландском. А в принципе всю жизнь писал стихи на драгоценном, только-петровском русском, который и без словаря-то в его исполнении не всегда поймешь, ибо русский язык

Петрова – не боюсь завратиться с преувеличением – самый богатый в XX веке, сопоставимый лишь с языком Ремизова.

У Петрова не было учеников, хотя состоял он в Ленинградской писательской организации. Зато были – есть и теперь – ученики у его поэзии. Созданная Петровым самостоятельная поэтика – сразу и Рильке, и протопоп Аввакум, и Мандельштам – как хороший чернозем: нравится, не нравится, а поучиться у нее, получить живых соков всегда можно. Он почти ничего не напечатал из собственных стихотворений при жизни, да и после смерти не очень ему везет. Может быть, повезет теперь, на страницах «Октября».

Е. ВИТКОВСКИЙ

© Сайта «Век перевода»

Август

Я смерть как не люблю природы показной,
и не поймут меня ни молнии, ни громы.
Но я попал под августейший зной
и в рыбы жидкие хоромы.
И, как зеленые воздушные шары,
кусты на берегу раздулись постепенно,
и от медвежьей лапчатой жары
крушу с размаху водяные стены.
На грудь всей грудью прет ордастый лес,
и в августе густом я – как букашка в травах.
Сквозь дебри месяца я вскользь пролез.
Но дальше легче ли, скажи, о Боже правый!

Новогодняя fuga

Я под боком живу у новогодья,
не то задумчиво, не то навеселе,
и все солено-горькие угодья –
как скатерть-самобранка на столе –
разостланы. И пробки из бутылок

не выбивает старая судьба.
Сижу спиной к былому, а в затылок
бабахает безмолвная пальба.
И пробираюсь я сквозь дебри января –
седые ледяные громоздины.
И кажется, что стал я пьян, варя
во ржавом котелке мыслительные льдины.
Природа восстает со сна, как древле ода,
а скатерть-самобранка на столе
и стелется все дальше год от года,
и перебранка сыплет по земле
метелицей, и телятся коровы –
галактики в божественном хлеву...
Вопросы, как послед, сизо-багровы,
и как-то боком я еще живу.
Пусть боком, но зато и избоченясь.
Стучу и падаю – ну что из бочки гром.
Еще живу, что квас шипучий, еле пенясь,
и, из последней мочи ерепенясь,
я боком выхожу, и оком, и нутром.
1974

* * *

Что же ходишь ты возле жизни?
Ах, не думай и не гадай!
Хоть единой слезинкой брызни
или слово, как руку, дай!
Протяни! (Не на отсечение!)
Ну а я тебе поручусь
за торжественное мученье
всех пяти оголенных чувств,
за святое четвертованье,
за изломанный костный хруст
и за то, что я, как сознание,
всеобъемлющ и, значит, пуст.
1967

Веселый поселок

Ей-богу, вид убогий за окном,
и около коробки иль колоды
идет с портфелем ежедневный гном,
пустосердечный и густобородый,
весьма разумный выкидыш природы.
И вот, как при Бианте, все при нем:
желудок, мозг, получка и покупки,
и поступь человечья, и поступки.
Хотя в нутре он малость и поломан,
но отдавать себя в починку лень,
и, может статься, вовсе и не гном он,
а сам себе полузабытый гномон
и на несуществующий плетень
наводит он невидимую тень.
А хмурый городской бездомный день
стоит вокруг, как ультразвучный гомон,
и к беззаботным гномовым ногам
не пристают ни грязь, ни шум, ни гам.
С людьми связавшись, время веселилось,
и вот история проистекла:
деревья из бетона и стекла
во град Петров переселились.
Настаивает глупо зодчий черт
на тошной точности и праве линий
прямыми быть, и красоте аборт
он делает, а воздух так же сперт
и заперт, как в великом равелине.
Да и не черт! А так себе, бесенок,
под стать ветришке В-Ус-Не-Дую,
который вертит хвостиком спросонок
и в кубики играет врассыпную.
И вижу я поселок невеселый,
где не гнездятся даже воробьи,
где чахнет зелень и в кругу семьи
чирикают безбедно новоселы,
глядят по телевизору кино,
пьют водку, пиво, иногда вино,
мурлычут и играют в домино,

козла, как Азazelло, забывая,
«Шумел камыш» квартетом запевая,
и беды, и обиды забывая
и про себя легонько забывая.
Ох, мужики и наломали дров!
И все еще летят швырки косые,
кривоколенные. Красуйся, град Петров,
и стой в истории упрямо, как Россия!
1977

Сорок лет со дня смерти Андрея Белого

Лазурь черна...

О. Мандельштам

Был рунист и жирел, как валух.
А экран был – как ранка к ранке.
Жизнь, заверченная на штурвалах,
колесованная на баранке.
Распят был на себе, как Бог.
Молодец посреди богородиц.
О буддический скоморох,
изнасилованный юродец.
Во взошедший над веком лбище,
как в огромную полусферу,
когтем вписывала судьбища
и отчаяние, и веру.
Как малиновый куст, кипел
шут атласный в багровой рясе
и кровавые сгустки пел,
уходя навек восвояси.
В три пространства, как бес, свища
вдоль по осени оробелой,
мозгу ярого был свеча,
только мозг был белый-пребелый.

* * *

Когда живется мне, и я тогда живусь,
переживаясь от стены к обрыву.
А то скачу себе, не дую даже в ус,
зато уж – до горы, и в хвост, и в гриву!

И, погоняя своего коня,
без шапки, без креста, без чекменя
я еду от меня ко мне через меня.

И, каждой Божьей вере изменя
и ничего вокруг не присеня,
я думаю, как бы остаться живу.

Воистину, я круглый дурачина
посередине своего ума!
А жизнь – одна сплошная кортома.
Срядилась жить — готова котوما,
и догорай, моя лучина!

Сильней всех истин – смерть. Но то-то и кручина,
что истина сама и есть кончина,
Иначе ведь она и не сама

Моление об истине

Мне истинки на час, помилуй Бог, не надо.
Я в прописи ее не стану проставлять,
общедоступную, – ну, будь она менада,
еще б куда ни шло, а то ведь просто блядь.
Гляжу на незатейливую шлюшку,
расставленную, как кровать,
и скучно верить мне в такую потаскушку,
и тошно херить мне желанье познавать.
Мне истины на жизнь, помилуй мя, не нужно,
она мне, как жена, едина и нудна,
недужно-радужна, всегда гундит натужно
и выпить норовит меня до дна.
От вечной истины мя, Господи, избави,
я на ногах пред ней не устою.
Но если в силах Ты, а я в уме и вправе,
подай мне, Боже, истину мою!

(24 февраля 1975. Моление об истине)

Мойка

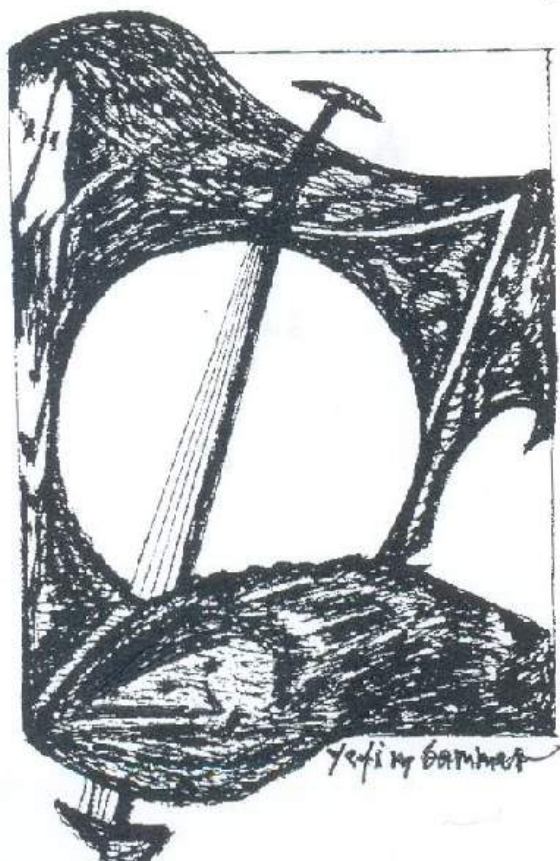
Нынче день какой-то полоротый,
мой, чужой и все-таки ничей.
Вижу я на Мойке повороты
разогретых каменных плечей,

чаек над водой лениво-скользкой
и колонны княжеских хором,
где на лестнице мужик тобольский
пал от пуля, как бык под топором.

Воздух грязен – как белье для стирки,
и в корыте каменном река.
И кирпично-красный призрак Кирки
из бывшего смотрит свысока.

20 февраля 1977

ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА



Пятый континент

Е.В. Витковский, Н.В. Крофтс

О русской литературе Австралии беседуют литературовед Евгений Витковский и заведующая порталом «Русскоязычная литература Австралии» старейшей русскоязычной газеты Австралии «Единение» Наталья Крофтс.

НК: Евгений Владимирович, прежде всего, разрешите поздравить вас с выходом двухтомника «Вечный слушатель: семь столетий поэзии в переводах Евгения Витковского», собравшего основные ваши переводы более чем за 40 лет работы.

Но, отдав дань вам, как переводчику, вернёмся к вам, как к литературоведу, подавшему мне идею заняться исследованием русской литературы Австралии. Давайте начнём наш разговор с самых её истоков. Насколько мне удалось определить, первое стихотворение, написанное русским поэтом на австралийской земле, принадлежало Константину Бальмонту, приехавшему в Австралию в 1912 году. По крайней мере, первое стихотворение, до нас дошедшее.

ЕВ: И не только стихотворения, а ещё и письма – из города Хобарта, штат Тасмания. Город этот Бальмонт обложил со всех сторон! Ругался не меньше, чем наш Гоголь, который попал на Мальту и первым из русских людей зафиксировал: «Язык невесть какой». Но я согласен: думаю, что раньше Бальмонта в Австралии Вы ничего и не найдёте. Другой вопрос, а можно ли считать Тасманию тех лет полноправной Австралией?

НК: Но Бальмонт побывал не только на Тасмании. Из Хобарта он поехал в Мельбурн, который ему тоже не понравился, а потом в Сидней – и этот город ему, наконец, понравился немного больше. Вдобавок у Бальмонта в Австралии ещё и багаж украли – правда, потом нашли. Обо всех этих приключениях он рассказывает в своих письмах.

ЕВ: Ну что ж, если русская литература Австралии родилась во втором десятилетии XX века, и начало своё ведёт от Бальмонта – то не такое уж и плохое это начало. Хотя где-то в то же время в Австралии ещё был Скиталец, автор слов знаменитой песни «На сопках Маньчжурии». И в какой-то период в Австралии побывал Сергей Алымов, написавший в своё время «Хороши весной в саду цветочки» и ещё много чего. Это во

всех справочниках написано, просто никто не обращал на этот факт особого внимания.

НК: Да, как раз 1912 год для русской литературы Австралии был очень урожайным. В этом же году туда приехал и первый русский прозаик, натуралист Александр Усов, писавший под псевдонимом «Чеглок». Он, кстати, увидел Австралию в том же непривлекательном свете, что и Бальмонт. Как ни забавно, оба эти автора, независимо друг от друга посетив Австралию в 1912 году, написали вещи, озаглавленные «Чёрный лебедь». Оба эти произведения говорили об истреблении австралийских аборигенов, о жадности и жестокости белых колонистов. Только у Бальмонта это было стихотворение, а у Александра Усова – рассказ. И как раз где-то в это время в австралийском городе Брисбене поселился и упомянутый Вами Сергей Алымов. Вообще, судьба у этого человека поразительна; даже непонятно, трагедию ли писать про его жизнь или «прохиндиаду». В наше время мало кто помнит имя создателя «Цветочков». И уж совсем единицы знают, что впервые Алымов начал публиковаться в Австралии: он прожил здесь пять лет после побега из сибирской ссылки, куда угодил за участие в революционной деятельности группы анархистов-коммунистов. Или что он долго считался (да и сам себя считал) создателем песни «По долинам и по взгорьям». Что основал несколько кафешантанов в китайском Харбине – и что там же попал в тюрьму за дуэлянство. Что вошёл в число поэтов, участвовавших в конкурсе написание гимна Советского Союза. Что был репрессирован и работал на Беломорканале. Что сам напросился на фронт и за боевые действия был награждён орденом «Красная звезда» и медалью «За оборону Севастополя». Что в 1942 году на своём юбилее он при свидетелях расстрелял портрет Сталина, висевший на стене – да так, что одна только рамочка осталась. И что этот же человек – автор популярных песен «Любимый Сталин», «Песня о Сталине» и прочих опусов в том же духе. Правда, в Харбине, Алымов писал строки совсем иного характера:

Звёзды – алмазные пряжки женских, мучительных туфель

Дразнят меня и стучатся в келью моей тишины...

Вижу: монашка нагая жадно прижалась к пуфу

Ярко-зелёной кушетки... Очи её зажжены.

ЕВ: И всё-таки первый большой поток русской эмиграции хлынул в Австралию уже после Второй Мировой войны. С ним же появились у вас поэты Константин Халафов и Борис Нарциссов.

НК: Евгений Владимирович, вам не кажется удивительным, что два поэта, попавшие в Австралию из послевоенной Европы примерно в одно и то же время, настолько диаметрально противоположны по духу, по видению Австралии? В стихах у Бориса Нарциссова «пересохший континент» страшен, а у Константина Халафова он светлый, уютный, домашний:

Где они: болезнь, тоска, тревоги?
В жизни редко думал я о Боге,
И зачем мне думать? Всё равно,
Мыслью не постичь и не измерить,
То, во что я начинаю верить,
Что душа, и лес, и Бог – одно.

ЕВ: А Халафов весь светлый. И потом: Нарциссов-то прожил в Австралии всего полтора года, а Халафов – девятнадцать лет. И совершенно больше никуда не хотел ехать, ему явно нравилась страна, в Австралии у него и так всё было хорошо.

НК: Да, я недавно встречалась с внучкой Константина Халафова, Анной, и, судя по её рассказам, жизнь у него была очень наполненная, благополучная. Он очень серьёзно занимался и орнитологией, и общественной деятельностью, и музыкой – и при этом был ещё и преуспевающим инженером. Так что, действительно, Константин Константинович прожил в Австралии счастливую жизнь. А почему уехал из Австралии Борис Нарциссов?

ЕВ: Нарциссов уехал не «откуда», он уехал «куда». Ему предложили очень хорошее место в Америке. А это в начале 50-х годов играло серьёзную роль, потому что хорошо устроиться было непросто. Бориса Нарциссова пригласили, даже буквально вытащили в Америку, потому что он был специалистом достаточно уникальным в своей области. Иначе он спокойно жил бы себе в Австралии и разводил цветы. Борис Нарциссов очень любил цветы разводить, говорил: «У меня такая фамилия...»

Но интересно вот что: хотя в Австралии Борис Нарциссов был недолго, всего полтора года, в творческом плане этого ему хватило. Его поэзии Австралия дала очень много: ощущение другой страны, другого полушария, другой планеты, если хотите. Помните его «эвкалипты – погиб ты»?

НК: Да,
Этот серо-зеленый покров – эвкалипты.
Это – шкуры змеиные слезшей коры.

И вот так без конца. И ты знаешь: погиб ты
Здесь, в краю эвкалиптов и тусклой жары.

ЕВ: А дорога в Америку была двусторонняя. Например, Михаил Волин поехал в Америку на какое-то время – а лет через десять вернулся назад. Хотя, конечно, Волин в русской литературе остался, в основном, только как соавтор песни Вертинского «Дорогая пропажа». Причём не очень понятно, что там писал Вертинский, а что – Волин; Вертинский же очень часто переделывал для своих песен чужие стихи.

НК: Вы знаете, в Австралии Михаила Волина ещё помнят как специалиста по йоге. Но вообще в русской литературе Австралии, особенно в прошлом веке, было много колоритных фигур. Например, совсем недавно Владимир Кузьмин, главный редактор газеты «Единение», нашёл стихи Владимира Петрушевского. Стихи у этого человека интересные, но судьба – вообще удивительная. Петрушевский родился в 1891 году, был крестником Александра III. В Гражданскую воевал в армии Колчака, а потом из Владивостока эмигрировал в Индонезию – и там стал начальником геологической службы разведки вулканов. И только выйдя на пенсию, в 1950 году, переехал в Австралию, в Сидней. И таких вот интересных судеб было немало. Евгений Владимирович, а если говорить об авторах более позднего периода и уже нашего времени, кого знают за пределами пятого континента?

ЕВ: Вы, наверное, помните сборник «Антология русских поэтов Австралии», вышедший в 1998 году? Туда вошло несколько приличных авторов, довольно известных: Клавдия Пестрово, Елена Недельская, ныне здравствующая Нора Крук. Но почему-то в этом сборнике не было ни Юрия Михайлика, уже живущего к тому времени в Австралии, ни других названных нами имён, кроме, пожалуй, Михаила Волина.

НК: Как мне кажется, сильные авторы русской Австралии сейчас всё больше стараются найти единомышленников и аудиторию за пределами Австралии. В наши дни это стало вполне возможным. В этом году австралийский автор из Мельбурна, Алиса Ханцис, получила третье место на конкурсе «Русская премия», в категории «Крупная проза» за исторический роман «И вянут розы в зной январский». Австралийские авторы публиковались во многих толстых журналах: «Новый мир», «Нева», «Новый журнал», «Октябрь», «Юность», «Новый берег», «Интерпоэзия» и других. А несколько авторов нашего портала «Русскоязычная литература Австралии» были опубликованы и в

многотиражных изданиях России: «Литературная газета», журнал «Работница» и прочих.

Да и в самой Австралии происходят события, которые позволяют узнать про новых авторов. Например, моя последняя поездка в Мельбурн, по приглашению Залмана Шмейлина и его объединения «Лукоморье», позволила мне познакомиться с интересными авторами – и на портале газеты «Единение» появились новые имена, среди которых – Инга Даугавиете, Александр Грозубинский, Юрий Вайсман.

Да и новые встречи с уже знакомыми авторами позволяют больше узнать о русской литературе пятого континента, услышать стихи в авторском прочтении. Например, Юрий Михайлик иногда выступает в сиднейском «Клубе книголюбов». А в этом году произошло ещё одно радостное событие: украинское издательство «ТОН Ключ» выпустило первую книгу Нора Крук на русском языке, «Я пишу по-английски о русском Китае».

ЕВ: Это просто замечательно! Ведь Нора Крук – это интересный поэт и восхитительный человек с уникальной судьбой. Она родилась в 1920 году в Харбине, её стихи вошли в антологию «Русская поэзия Китая», публиковались во многих русских изданиях, от «Литературной газеты» до «Нового журнала», но вот книги на русском языке до сих пор у неё не было.

НК: Совершенно верно. Но, наконец, в этом году Нора провела презентацию своего первого русского сборника, куда вошли не только её стихи разных лет, но и воспоминания. Это было, по-моему, замечательное событие в культурной жизни русской общины Австралии. Такие книги позволяют нам запечатлеть и сохранить историю нашей культуры, историю литературы русского зарубежья – и сделать всё для того, чтобы, как написала Нора в одном из своих стихотворений, «в ладонях осталась память».

Евгений Витковский (р. 1950) – переводчик, писатель, поэт, литературовед. Создатель сайта «Век перевода», редактор и издатель антологий «Семь веков французской поэзии», «Семь веков английской поэзии», антологии поэзии русского зарубежья «Мы жили тогда на планете другой», собрания сочинений Георгия Иванова, двухтомника Ивана Елагина, собрания сочинений Арсения Несмелова и др.

АЛЕКСАНДР КУЗЬМЕНКОВ

ЕДИН В ТРЕХ ЛИЦАХ

Литература / Литература / Поющие в репейниках
Кузьменков Александр

Говорить о Михаиле Веллере – задача не из лёгких, настолько он многолик: то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник. Широк человек, я бы сузил. Будет с нас и трёх ипостасей: филолог, прозаик, гуру.

Филолог

Для начала, следуя привычке, брошу ложку мёда в бочку дёгтя. Отношение к М.В. у меня более чем противоречивое. Веллер-филолог много симпатичнее прочих своих близнецов: умён, дерзок и за словом в карман не лезет. Выводы его чаще всего бесспорны, а характеристики точны и ядовиты. Да загляните хоть в «Песнь торжествующего плебей» – сами всё поймёте:

«Сорокин сегодня один из самых модных и самых известных русских писателей. Уберите все взломы табу из его текстов – и от текстов ничего не останется. Останется серое текстовое полотно из заурядных фраз».

«Лимонов создал условно-автобиографический, бытовой, описательный текст без каких бы то ни было видимых литературных достоинств. Язык, сюжет, детали, психологизм решительно вялы и заурядны. Но циничная откровенность и грязнотца... – это было нечто из ряда вон выходящее».

Справедливости ради замечу, что филологические штудии Веллера, как правило, подпорчены не лучшим знанием предмета. М.В. без тени сомнения может приписать Достоевскому педофилию (сплетня Страхова, никак им не подтверждённая), может объявить еврея Горенштейна поволжским немцем, может запросто перепутать гауляйтера Вены Бальдура фон Шираха с драматургом Хансом Йостом. Но кто из пишущих Богу не грешен да царю не виноват? Тем паче главные претензии впереди:

«Человеку свойственно играть не в того, кто он есть на самом деле»
(«Гонец из Пизы»).

Вот и у пчёлки с бабочками то же самое, сказал бы наш герой.

Прозаик

Аксиома: охотнее всего каждый говорит о себе, любимом. Веллер не исключение: его хлебом не корми, дай потолковать о трудах и лишениях литературной юности. О спартанской жизни впроголодь, о многодневных, до сердечного приступа, поисках единственно верного слова в тысячах тонн словесной руды. М.В. поёт Лазаря настолько проникновенно, что сама собой вспоминается сентенция Сквороды: Господь, по великой милости своей, сделал всё нужное лёгким, а всё трудное – ненужным. Ну не надо бы вам в писатели, Михаил Иосифович, вы и проза суть вещи несовместные. От того и все страдания – большей частью абсолютно никчёмные.

Если угодно – несколько фраз для дегустации:

«Прочёркивая и колотя глинозём... рвала короткое пространство конница» («Всё уладится»). Послушайте старого металлурга: глинозём, он же Al_2O_3 , – сырьё для производства алюминия и на полях Гражданской, клятвенно заверяю, не водился. Ибо первый алюминиевый завод в СССР построили лишь в 1932 году.

«Фрукт пах затхлюю и клею» («Всё уладится»). Пах затхлюю, помилуй Бог! Попробуйте-ка без запинки выплюнуть этот шершавый слиток из взрывных, фриктивных и латеральных...

«Всё дальнейшее она воспринимала под лёгкой шандарахнутостью» («Приключения майора Звягина»). От комментариев воздержусь – скучно доказывать очевидное.

Однако Веллер, великий начётчик, наверняка знаком с постулатом Лебона: не факты поражают воображение толпы, а то, каким образом они представляются. И потому не скупится на акафисты самому себе, выдавая откровенные провалы за невысказанные достижения:

«Затвор лязнул. Последний снаряд. Танк в ста метрах. Жара. Мокрый наглазник панорамы. Перекрестие – в нижний срез башни. Рёв шестисотсильного мотора. Пыль дрожью по броне. Пятьдесят тонн. Пересверк траков. Бензин, порох, масло, кровь, пот, пыль, степная трава. Пора! Удар рукой по спуску... Хрен кто сегодня может так работать, деточки. Идите сюда, плюньте мне на ботинок» («Моё дело»).

Это всегда пожалуйста, Михаил Иосифович. Благо есть за что.

Телеграфная череда назывных. Не высший пилотаж. Пильняк. Лимонов. Козлов (Владимир). Бородатый еврейский анекдот: «Хаим всё. – Ой!»

Сколько угодно. Погонными километрами. Оптом и в розницу. Не забудьте вытереть ботинок.

Продолжим наши экзерсисы. Опять-таки цитата:

«В «Чужих бедах», одна из ирреальных сцен, герой выпускает из пистолета обойму в своего директора школы. «Бледнея, Георгий Михайлович рванул трофейный вальтер, рукой направил в коричневый перхотный пиджак». Какой рукой направил?.. Вот на эту чёртову руку я потратил качественный рабочий день» («Моё дело»).

Опустим список из 43 разномастных прилагательных и огласим результат терзаний:

«Итог был: взвешенной. Кто стрелял из пистолета – поймёт точность... В этом слове и точность, привычность, и спокойная решимость».

Шедевр, стало быть. Поднимите мне веки – не вижу! Прибегнем к презумпции недоверия, ибо практика есть единственный критерий истины. Разложим фразу на составляющие. Во-первых, глаза мозолит психологическая нестыковка: бледнея – взвешенной. О какой спокойной решимости речь, коли персонаж побелел от волнения? Во-вторых, *«рванул трофейный вальтер, взвешенной рукой направил»* – семантический плеоназм. Попробуйте удержать пистолет ногой – очень скоро поймёте, что руку поминать здесь вовсе незачем, и все адовы муки с эпитетами были напрасны...

Кстати, Веллер-прозаик вполне мог бы стать объектом поношений Веллера-филолога. Ибо легко нарушает все табу своего двойника – скажем, на *dirty fiction* или обценную лексику:

«Крахмальный халат распахивается и летит в сторону. Ничего красивее и сумасшедшее голой Маши невозможно себе вообразить. Она остаётся в белой шапочке на вороной гриве, и густой треугольник в низу смуглого литого живота у неё тоже вороной... Округлые массивы её ягодиц перекатываются в движении. Она нарочно расставляет ноги, цокая каблучками, туфли на каблучках удлиняют её ноги, мускулистые, крепкие, прямые, и между ног сзади нам виден чёрный курчавый островок...

– Ой, Машенька... какая у тебя смуглая, горячая, узкая, красивая...»
(«Самовар»).

Обрываю цитату на полуслове: хватит Роскомнадзор гневить.

И последнее – практически любой текст М.В. испорчен разудалым, цыганочка с выходом, слогом:

«Их аристократическим происхождением можно, пардон, подтереться». («Любовь и страсть»).

Предвижу стандартные возражения: про тиражи и переиздания, про перманентный восторг читателей, про «Легенды Невского проспекта» и «Байки скорой помощи», ставшие бестселлерами... Тиражи и аплодисменты – ей-богу, не лучший аргумент. Они говорят не столько о талантах, сколько об умении навязать себя публике. Тому в истории мы тьму примеров слышим: хоть Бенедиктов с Булгариным, хоть Донцова с Акуниным. Прав был непопулярный ныне Чаадаев: «Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной». А у бестселлеров, по слову Веллера-филолога, есть одно отличительное свойство: они легко читаются, но про прочтении в голове ничего не остаётся.

Уж коли графа Монте-Кристо из тебя не вышло, впору переквалифицироваться в управдомы...

Гуру

...но не таков наш герой. Он предпочёл скромно переквалифицироваться в философы.

К несчастью, поэт в России больше, чем поэт. Потому всяк отечественный литератор, от Достоевского до Лимонова, рано или поздно осваивал профессию проповедника. Сколько помню, есть единственное похвальное исключение из общего правила – Николай Гумилёв, который писал жене: «Аня, если я начну пасти народы, убей меня!»

Учительствовать Веллер начал давненько. «Майор Звягин», вполне по профессору Преображенскому, под завязку набит рекомендациями космического масштаба и космической же глупости. Но житейских советов в жанре self-help Михаилу Иосифовичу показалось катастрофически мало. Красть – так миллион, любить – так королеву, рассуждать – так о Большом взрыве, энергетических полях, энтропии и сингулярности.

Необходимое лирическое отступление. Выпускнику филфака позволительно толковать о мироздании лишь в одном случае: жарким июльским вечером, нащупывая застёжку лифчика на спине подруги. Во всех остальных ситуациях такого рода резонёрство выглядит комично. Тем паче философия в её классическом изводе приказала долго жить. Всеобъемлющие учения создавали наши предки, ибо их мироздание особой сложностью не отличалось: Земля стояла на трёх китах, небесная

твердь была хрустальной, а псоглавцы за пределами ойкумены крестились кукишем. После Великой французской революции представления о Вселенной и человеке начали меняться, будто картинки в калейдоскопе. «Традиционные понятия философии стали обнаруживать свою бессодержательность... Философия больше не внушала доверия к своим способностям достичь обещанной цели: дать людям доступные формализации модели какого бы то ни было понимания», – писала С. Зонтаг.

Выдумывать теории глобального свойства в постфилософскую эпоху могут либо сектанты, либо дилетанты. Тем не менее Веллер-гуру уверен в своей непогрешимости: *«Вы меня извините, в современной России не существует философии, кроме, простите великодушно, моего энергоэволюционизма»* (Интервью «Независимой газете», 29 мая 2008 г.). Право, не знаю, чего тут больше – сектантской мегаломании или дилетантского апломба...

Пересказывать постулаты энергоэволюционизма, пожалуй, не стану. Во-первых, трактатами М.В. забиты все полки в книжных магазинах: «Всеобщая теория всего», «Всё о жизни», «Человек и система», «Социология энергоэволюционизма», «Психология энергоэволюционизма», «Эстетика энергоэволюционизма» и проч. Если не боитесь неизбежного морального вреда – милости прошу припасть к первоисточникам. Во-вторых, пёстрый коллаж из обрывков Шопенгауэра, Спенсера и Оствальда, Тейяра де Шардена и Шпенглера вряд ли заслуживает пересказа. Во всяком случае, в учёном мире проповеди Веллера до сего дня снискали всего один отклик – язвительную статью доктора философских наук, зампреда научного совета РАН Д. Дубровского. Не хотите ли ознакомиться с экспертным заключением?

«Нетрудно увидеть, что перед нами некая смесь банальностей, общих мест с теоретически неясными, некорректными утверждениями... Чтобы эти расхожие слова и выражаемые с их помощью онтологические утверждения обрели определённый философский смысл, они должны получить, по крайней мере, гносеологическое обоснование. О необходимости такого обоснования и о том, как это делается, наш автор не слыхал... Для тех, кто серьёзно изучал философию, очевидно, что перед нами дилетантские, маловразумительные повторения пройденного, представленные местами в эпатажном виде... Может быть, М. Веллер действительно писатель (я не читал его произведений), но к философии

он имеет весьма отдалённое отношение... Он верит, что, придумав пару хлипких силлогизмов, он постиг сущность человека и мира».

Время собирать камни

Приведём всё сказанное к одному знаменателю.

Веллер – феномен отнюдь не литературный и уж тем более не философский, но экономический. Живое подтверждение расхожей истины: в постиндустриальном обществе 70 процентов цены товара составляет бренд.

«Что главное? – имидж. Какой? – у которого высокий рейтинг. А без паблисити – хоть шуйзом об тэйбл, хоть тэйблом об фэйс» («Ящик для писателя»).

Непримиримый борец с засильем имиджей и паблисити, М.В., опять-таки по профессору Преображенскому, должен лупить себя по затылку: медийный персонаж, гомункул из телевизионной реторты, созданный посредственностями для посредственностей... И тут хоть шуйзом об фэйс, хоть тэйблом по тому же месту. «После смерти писатели попадают в телевизор», – горько усмехнулся Г. Садулаев.

Михаил Иосифович! А может, всё-таки, в управдомы?

СКАЗ О СОРНОЙ РЫБЕ, ИЛИ ПЬЮЩИЙ ИЗ ПРОРУБИ

Публикацию подготовил **Юрий Беликов**:
она согласована с героем **Сергеем Кузнечихиным**

Этот материал в «45-й параллели» был представлен следующим образом:

«Ежели когда-нибудь в будущем решат поставить памятник дикороссу, не надо метаться в поисках натуры – сей замысел нужно воплощать по образу и подобию Кузнечихина».

Это слова Юрия Беликова, живущего в Перми поэта и основателя «движения дикороссов». И предшествуют они обширному и, с нашей точки зрения, увлекательному диалогу двух поэтических братьев, который открывает рубрику «Дин» юбилей в 4-м номере родственного «45-й параллели» литературно-художественного журнала «День и ночь». «Сказ о сорной рыбе, или Пьющий из проруби» – так озаглавлен этот диалог, а посвящён он круглой дате – 70-летию замечательного красноярского поэта и прозаика Сергея Кузнечихина, которое нагрянуло 14 июля сего года.

Кто-то скажет: «Прогагарили!» Ан нет. Юбилей, он весь год юбилей. Тем более, когда речь об одном из любимых авторов – обладателе Гран-при интернет-марафона «Сокровенные свирели «45-й параллели» и прилагающегося к этому марафону главного приза – «Золотой розе».

«Местное время», «Дополнительное время», «Уходящее время» – вот названия стихотворных книг Кузнечихина (а их, разумеется, неизмеримо больше), свидетельствующих о том, какое внимание мастер уделяет категории Времени. А по волнам сего Времени плывёт таинственная «Бич-рыба» – недавно выплеснувшая из глубин столичного издательства «Эксмо» мощная книга кузнечихинской прозы.

О чём этот диалог? О категории Времени, о «Бич-рыбе», о дикоросском сознании, о том, кого можно «записать в дикороссы», а кого – нет.

Итак...

Когда-то, в прошлой жизни я обитал в Переделкино. Дача, где меня приютили на зиму, располагалась напротив дома Булата Окуджавы. Иногда я встречал его – в телогреечке, в грузинской войлочной круглой шапочке. Но никогда не возникало дикого желания познакомиться. Во-первых, не привык навязывать собственного сообщества. Во-вторых, круг моих друзей-собеседников, о существовании которых Булат Шалвович и другие именитые москвичи, вероятно, даже и не подозревали, значил для меня гораздо больше. Круг мой – это Юрий Влодов, Сергей Нохрин, Михаил Тарковский, Сергей Князев... Намеренно ставлю многоточие, ибо названными фигурами он, разумеется, не исчерпывается. Впрочем, Тарковского, должно быть, именитые знали, но

исключительно – как носителя «столбовой» фамилии. Иногда вечерами мы устраивали в стенах редакции журнала «Юность», где я тогда работал, заседания «теневого редколлегии». Засыпали прямо там, в кабинете главного редактора – на сдвинутых стульях.

Помнится, в те же годы я познакомился и с Сергеем Даниловичем Кузнечихиным – сначала с его прозой и стихами, а затем – с ним самим. И он тоже пополнил круг моих друзей и писателей, которых я неизменно читаю и ценю. Пытался опубликовать его рассказы в «Юности», да меня вскоре от неё отлучили – «за смугу».

– «За смугу», – это же хорошо! – ободрил меня Эдуард Лимонов. Ранее, словно предвидя, я написал:

*Он пахнул смолой и смутой.
И вскоре уснул без сил.
И долго Иван кому-то
во сне кулаком грозил...*

Несмотря на то, что смутьяны во все времена у чиновников, стражей порядка и обывателей не в почёте, это про таких вот мужиков, как Кузнечихин. Он и на зоне был бы мужиком, и в миру – мужик. То рыбу ловит, то грибы собирает, то папоротник заготавливает. Заметьте: иные витии ждут-не дождутся, когда папоротник расцветёт, а Данилыч занят его заготовкой. Витамины, однако. Мощный фильтр от радиоактивных пакостей. Кузнечихин и в писаниях своих – мужик. Егор Прокудин из «Калины красной». Прикиньте: много ли в теперешней литературе нашей мужиков? Либо паханы, либо шныри-шестёрки, либо фраеры-толерасты... А мужики... Есть, конечно. Но – наперечёт. И я радуюсь, что в столичном издательстве «Эксмо» это оценили. Когда-то Владимир Корнилов, один из почитаемых Данилычем поэтов, определил русский масштаб: «Но единственно, что я понял: жить в России надобно долго». Сергей Данилович, что называется, поставил этот эксперимент на себе. Дождался-таки, когда накануне его семидесятилетия из народных глубин выплеснется кузнечихинская «Бич-рыба» вся в ржавых крючках, поелику, сколько разов с них срывалась, зато с чешуёй из светящихся букв: «*Проза Сергея Даниловича Кузнечихина – крупное явление русского искусства, со времён своего Золотого века существующего под мусорной горой официоза. Это искусство, как ему и положено, никогда не было равно советской литературе, не вламывается оно и в рамки нынешних откровенно коммерческих или псевдоинтеллектуальных проектов.*»

Сие «явление» мне довелось лицезреть и на берегу ещё не оттаявшего Байкала, где мы пили на пару из горла, закусывая сладким ветром; и на фоне каменного профиля Макса Волошина, где пинала нас под зад коктебельская фестивальная волна; и на сцене московского Домжура, откуда по просьбе автора я читал нежнейше-редкостное кузнечихинское «Потом два сердечка, что в ставнях

прорезаны, /зажглись и не гасли уже до утра», а вечная стражница собственных эмоций Марина Кудимова восклицала из зала: «Класс!»; и на «струге Ермака» в парке истории реки Чусовой, с коего под пеленой дождя, съедающего зрителей, Данилыч оглашал свои дикоросские строфы:

*Бронза на Руси всегда свинцова.
Храм нетрудно превратить в тюрьму.
Вологда, убившая Рубцова,
Памятник поставила ему...*

Тогда мне подумалось: «Вот если бы сейчас Ермак Тимофеевич вновь набирал охотников для своего исторического похода, но уже не Восток, а на Запад, он непременно пригласил бы одним из атаманов Сергея Даниловича». И ещё: «Ежели когда-нибудь в будущем решат поставить памятник дикороссу, не надо метаться в поисках натуры – сей замысел нужно воплощать по образу и подобию Кузнечихина».

– Данилыч, я знаю, что ты можешь сейчас перечислить писательские имена, не входящие в обойму авторов, которые у всех на слуху. Не ошибусь, если назову в ряду твоих избранных Александра Тинякова, Анну Баркову, Аркадия Кутилова, Льва Тарана... Так и слышишь реплику одного из персонажей кузнечихинского рассказа «Момчик»:

«Слушай, а может... забыли твоего момчика в энциклопедию внести?» Но для тебя не внесённые в обойму «момчики», частенько значат больше, нежели те, «энциклопедические»? В России всё время так: есть официальная литература и есть литература отшибная, обочинная, которую та же официальная презрительно именует второстепенной. А может эта, отшибная литература, действительно второстепенная, и мы сжились-смирились, по выражению Виктора Астафьева, с участием областных и краевых авторов? И нас вполне устраивает собственная ущербность? Или надо разбираться с каждым случаем в отдельности, как, допустим, с печальным примером покончившего с собой во Владивостоке поэта Геннадия Лысенко, который, на твой взгляд, был не хуже Рубцова, да не нашлось сапога, раздувающего этот самовар?..

– Юра, ты же сам когда-то написал в той же «Юности»: «Известность – подруга таланта, но талант ей не друг». Можно сколько угодно искушать читателей утверждениями типа «всенародно любимый поэт». А я пожимаю плечами: если поэт действительно всенародно любим, это не требует никаких марочных наклеек. Стало быть, у штампующих марочные наклейки большие на сей счёт сомнения. Полагаю, нет смысла доказывать, что известность не имеет никакого отношения к качеству текстов. Впрочем, и понятие качества весьма относительно. Литература не спорт, где результаты чётко измеряются секундами, сантиметрами или килограммами. Здесь всё субъективно, а субъекты гнездятся в столицах.

Более того, если и появляются критики, живущие в областных центрах, то местные авторы (не считая литературного начальства) их не интересуют, потому что критики те пишут о столичной литературе в надежде засветиться в лучах чужой славы. А «обочинные» или «отшибные», как ты выразился, прозябают в тени и потихоньку теряют уверенность в себе и спиваются. Наиболее амбициозные уезжают спиваться в столицу. Потом возвращаются. Очень накатанная дорога. Так было всегда и, боюсь, что в лучшую сторону ничего не изменится.

Ты назвал талантливого поэта Геннадия Лысенко, покончившего с собой во Владивостоке. Но живёт, к примеру, в Нижнем Новгороде Елена Крюкова. Очень яркая поэтесса. Вроде и в Москве покрутилась, и маститые критики о ней что-то писали, однако уехала домой и выпала из поля зрения...

– Но только – не зрения дикороссов. Я помню стихи Лены:

*Ты юродка, воробей, птаха-плаха, птенчик милый,
Приручительша зверей в боевом зверинце мира,
Просто с Города-Китай, просто нищенка с Таганки,
Просто выгнал тебя Рай с золотой своей гулянки.*

Это – из той общей и мощной дикоросской подборки, которую дал, как ни странно, в две тысячи десятом году журнал «Киевская Русь», публикующий авторов преимущественно на украинском, а тогда напечатанный их исключительно на русском. С признанием устами главного редактора этого журнала Дмитро Стуса, что «поети-дикоросси унікальні явище в російській поезії...» Ты ведь тоже был участником той дикоросской вылазки в пределы Украины?

– Да. Вместе с Аней Павловской и уже покойным Прокошиним. Кстати, у меня есть большой цикл, можно сказать, книга – «Там гибли поэты». О них (или о нас) – жителях провинции, вступивших на эту скользкую дорогу, о тех, кто не смог смириться с ущербной участью местного поэта.

– Тогда можно я напомним слова одной из твоих героинь? «Ты думаешь, в провинции они благороднее, чем в столице?» – спрашивает она. И отвечает: Заблуждаешься. Да ну их. Никого не хочу видеть и говорить о них не хочу». Но я-то говорить о них хочу. И поэтому любопытствую: обозначение главок этого твоего сочинения – «Поэт В.», «Поэт Т.» или «Поэт Ч.» – прозрачная шифровка реальных красноярских персонажей или – стилизация под шифровку? И, если всё и все узнаваемы, как в этом случае восприняли цикл «Там гибли поэты» (ведь он большей частью опубликован?) сами узнаваемые и те, кто их узнавал?

– Конечно, это стилизация. Два рассказа даже стилизованы под мои личные воспоминания. Возьмём рассказ «Поэт Ч.», в котором герой-геолог пишет стихи за не воевавшего ветерана войны, потом кончает жизнь самоубийством. Я знал, что похожий путь прошёл Павел Мелёхин. Мы не были знакомы. Всё, что происходит в рассказе, – плод воображения. Но меня заинтересовала психология

и мотивация «литературного негра» советских времён. Ты дружил с Влодовым, которого, по праву можно назвать «негром № 1», и написал о нём в «Юности» интереснейшее эссе.

– Кстати, Влодов знал Мелёхина. Или, как сказал бы сам Влодов, это Мелёхин знал Влодова...

– Наши герои чуть ли не антиподы. Подозреваю, что Мелёхин был ближе к Влодову, нежели к моему геологу, хотя Влодов дожил до преклонных лет, а Мелехин и мой герой не выдержали нагрузки. Теперь, когда статус поэта, мягко говоря, снизился, о поэтических заработках даже и заикаться нет смысла, их маленький «бизнес» полностью перешёл в прозу и процветает в ней почти легально, символизируя время эрзацев и мнимых величин.

В других рассказах цикла доля документальности тоже не велика, но все они спровоцированы реальными судьбами. Писал я в основном об ушедших, поэтому «прототипы» претензий не предъявляли. А узнавания были. Один из моих старых знакомых, почитав «Поэты А. и Я.», сказал: «Как точно ты описал Рубцова, словно не один литр с ним выпил!» Не захотел мой знакомый узнавать себя, любимого. Или поскромничал? Разубеждать я не стал.

– Если помнишь, у Бориса Корнилова есть такие строки:

*Айда, голубарь, пошевеливай, трогай,
Бродяга, – мой конь вороной!
Все люди – как люди, поедут дорогой,
А мы пронесём стороной...*

Считаешь ли ты, переваливший свой семидесятилетний рубеж, что так оно и произошло: поэта и прозаика Сергея Кузнечихина «пронесло стороной»? От мейнстрима, как любят изъясняться некоторые. А может, и хорошо, что «пронесло»? Как в твоём давнем стихотворении «Тост-1984»:

*Ну что же, мой друг, мы привычные,
Пускай не по нраву шашлычная,
Но, коли пришли, посидим.
На этом пиру не участники,
а всё же возьмём собачатинки,
поморщимся, но ведь съедим...*

Другие-то не «булькали под столиком» и «шёпотом не сдвигали стаканы бумажные». Вот и пусть теперь завидками исходят...

– Один молодой поэт, почитав «истории Петухова», признался, что завидует моему богатому жизненному опыту. Что-то, конечно, довелось повидать, попробовать на вкус, но знаю очень много людей с более кудрявыми биографиями. Я, допустим, не воевал, не сидел и женат всего один раз. Список

пробелов можно продолжить. В молодые годы тянуло на приключения, иногда искал их вопреки здравому смыслу, на то и молодые годы. «Мейнстрим» звучит ужасно, мне ближе – «большак» или – «столбовая дорога», но только как слова. Меня на те «большаки» и «столбовые дороги» не тянуло и не тянет. Когда заканчивал институт в Калининне, нынешней Твери, на распределение к нам приехал мужичок и заявил, что в тридцати пяти минутах езды от Курского вокзала есть станция Электроугли, там открывается новый НИИ. Ему требовалось пятнадцать человек, предпочтительно мужского пола. Он увлекательно расписывал перспективы защиты диссертации, получения квартиры, карьерного роста. Я даже не слушал его, потому как был нацелен на Сибирь. С той поры живу в Сибири. А лет десять назад задал себе вопрос – как бы сложилась жизнь, если бы я клянул на подмосковную наживку? Защитил бы диссертацию или нет – зависит от везения, квартиру бы получил быстрее, чем в Красноярске. Но о чём бы я писал? К тому времени было закончено около сотни стихотворений и мне казалось – неплохих. Теперь оставил из них меньше десятка. А вот в какую сторону понесло бы мои дальнейшие писания? Честно скажу – не знаю. Я задал этот вопрос ближайшему другу. Он: «Стал бы известным поэтом, мэтром».

Сомневаюсь. Подозреваю, что мог бы вообще завязать. А если бы продолжил, то получился бы совсем другой автор. Но ни в коем случае не человек мейнстрима. Это не в моём характере.

– Он-то тебя, очевидно, и подвиг составить поэтическую антологию «Свойства страсти»), которая, несмотря на свой «фантастический» тираж – пятьдесят экземпляров – тем не менее, привлекла внимание и читателей, и прессы. И дело здесь не в заимствованном у Пастернака названии, а в материи, из которой это словосочетание слеплено. Таким уж Господь создал человека, что последнего по большей части интересует, скажем, не истовость молитвы принявшего постриг, а как он, принявший постриг, борется со страстями. И тут стихотворение «Любовь на Кунцевской даче» Павла Васильева, включённое тобой в антологию, выглядит, безусловно, помощнее пушкинского «Я помню чудное мгновенье...» Вернее, они – разных весовых категорий... В этом смысле почему тебя притягивает именно страсть как предмет изображения, а не утончённое любовное чувство? И кто из авторов «Свойств страсти» наиболее полно выражает и оправдывает ту особенность, за которую ты рекрутировал их в свои антологические тенёта?

– Один наш общий приятель выпустил книгу собственных стихов под этим наименованием и посчитал, что я заимствовал для антологии заголовки у него, а не у Пастернака. Вариантов названий было много. Дольше всех продержалось «Любви тяжёлое дыхание». Ты правильно подумал. Отталкивался от «Лёгкого дыхания» Бунина. Великий мастер очень тонко передал человеческую потребность в любви. Потому и велик. Чаще всего попытки изображения «утончённых чувств» заканчиваются текстами, в которых эти чувства смазываются и пропадают или превращаются в назидательные ханжеские

декларации. Этим и переполнены все официальные антологии. А я люблю полнокровную поэзию. У неё больше изобразительных возможностей и она, мне кажется, честнее. Это и было главным требованием при отборе. А главным желанием – привлечь поэтов с «обочины», о которых мы уже говорили. Больше половины авторов ни в каких антологиях не печатались.

Одна из наших образованных читательниц возмутилась, как я посмел выделить всего шестнадцать строчек для Евтушенко и целых сто двадцать (!) отдать Льву Тарану, о котором даже в родном Красноярске мало кто слышал. Да так. Справедливости ради. У Евтушенко и без меня предостаточно популяризаторов. А, допустим, Наталье Нутрихиной из Санкт-Петербурга это же самое соотношение очень понравилось. Искал малоизвестных авторов, а у знаменитых старался выбрать не растиражированные стихи. Иногда брал принципиально эпатажных поэтов. Волкова, например, или Ирину Кадикову. А для контраста, чтобы дать страстям отдышаться, – Любовь Столица из Серебряного века. Расширенный вариант книги можно посмотреть в интернет-альманахе «45-я параллель» или на сайте стихи.ру. Я добавил туда много женских стихов. Женщины, вопреки устоявшемуся мнению, пишут «про это» более откровенно. Кто не поленился найти «Свойства страсти», может убедиться, почитав Нину Краснову или Елену Крюкову.

– Все знают строки Александра Сергеевича: «Мне грустно и легко; печаль моя светла; Печаль моя полна тобою...» А у Сергея Даниловича новая стихотворная книжица «Уходящее время» начинается с вопроса: «Откуда светлые стихи?» И тут же – ответ: «Из тьмы, как это ни печально». А дальше – крещендо этого ответа:

*И надо, что ни говори,
Не озаренье, не прозренье,
А нечто тёмное внутри,
Чтоб выдохнуть стихотворенье.*

То бишь, по Пушкину, стихи порождает «светлая печаль», а по Кузнецихину – «нечто тёмное внутри». Так?.. Ницше и Фрейд здесь бы поаплодировали. И не только они. Пушкин, может быть, – тоже, поскольку сознавал: «... и гений, парадоксов друг». Получается, чем больше поэт истемнён страстями, пороками и обстоятельствами, тем больше у него шансов на возвышенное?.. И это – как избавление...

– Если уж на то пошло, то «печаль моя светла» – не причина, а следствие. Первые-то строчки пушкинского стихотворения какие? «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» То есть и здесь «светлая печаль» порождена чем? «Ночной мглою». И народ вовсе не случайно утверждает, что чужая душа – потёмки. Понятно, что сочинители народ сложный. Но я давно заметил интересную особенность: бытовые тираны, обозлённые на весь мир или нечистоплотные в человеческих отношениях авторы, щадят своих героев,

рисуют их светлыми красками и заставляют совершать благородные поступки. Плюгавенькие и трусливые мужичонки живописуют подвиги суперменов. И наоборот, хоть я ангелов среди писателей не встречал, но вполне добропорядочные люди рисуют законченных негодяев и делают это весьма достоверно. Первые, мне кажется, пытаются замаскировать свои человеческие недостатки. А вторыми движет любопытство, желание заглянуть за черту, но страх и совесть не позволяют опуститься до уровня персонажей созданных собственной фантазией. Конечно, бывают и счастливые совпадения. Но не уверен, что это пойдёт на пользу стихам или прозе, рождённым от такого вот соития. Инцест, как известно, ведёт к вырождению.

– У каждого своя степень удачи. Я был знаком со свердловским профессором Анатолием Алексеевичем Малаховым, с группой которого мы вместе искали клад Емельяна Пугачёва в одной из пещер реки Чусовой. Так вот, там, в тайге, он показал мне изобретённый им прибор и то, как он действует. С его помощью у человека определялось два коэффициента: интеллекта и удачи. Помню, Малахов рассказывал мне, что у Сталина был невысокий коэффициент интеллекта, но очень высокий коэффициент удачи. Выше, чем у Ленина. Если, допустим, сравнить Кузнечихина с Решетовым, то я, например, знаю, что мой нынешний собеседник увидел Чёрное море совсем недавно – в возрасте шестидесяти семи лет, оказавшись в Коктебеле на Волошинском фестивале. Алексей же Леонидович Решетов моря вообще не видел, в самолёте никогда не летал, около двадцати пяти лет отработав в Березниковской калийной шахте. Значит, можно сказать, что Сергей Данилович Алексея Леонидовича удачливее? «Ни премий, ни прений», как написал в эпиграмме на Решетова уже упомянутый Юрий Влодов.

У Кузнечихина в этом смысле есть преимущество: Сергей Данилович – обладатель Гран-при интернет-марафона «Сокровенные свирели «45-й параллели» с присланной ему лауреатской «Золотой розой». Кстати, по поводу этой самой «розы». Влодов, который поплёвывал на все титулы и премии, на мой взгляд, не имел высокого коэффициента удачи. Но при этом всё-таки выдавал желаемое за действительное: при случае любил вводить в состояние обожания несведущих, подчёркивая, что он-де – лауреат международной литературной премии... «Золотая роза». Как ты понимаешь, на ходу придумал. Ты, в отличие от него, эту «розу» хотя бы получил. Вообще, насколько нужна писателю «госпожа удача»? Или, напротив, «золотое клеймо неудачи», о котором в своё время обмолвилась Анна Ахматова, собственно, и делает из человека поэта? Вот переиначил бы что-то в писательской жизни своей, если получил бы на то Божье соизволение?

– Я даже рассказы не переписываю, а ты на жизнь замахваешься! Язык правлю, добавляю или вычёркиваю детали, но сюжеты и характеры не меняю. В советские времена заставляли, но я не переделывал. Не из упрямства или уверенности в собственном совершенстве. Просто не умею.

О приборе, определяющем коэффициент удачи, не знал. Интересная штука. Готов пройти испытание, хотя результат знаю наперёд. Коэффициент будет низким. В конце перестройки Свердловская киностудия заинтересовалась моей повестью «Пруха». Вызвали на семинар. Телеграмму принесли с грифом «Правительственная». В глазах почтальонши уважение, переходящее в заискивание. Я и командировочные получил. Потом встречу передвинули. Потом на студии что-то случилось – и обо мне забыли. Перестройка подарила надежду и сама же её разрушила. Чуть раньше, в восемьдесят втором году «Дружба народов» обещала напечатать повесть «Ноль пять». Приказали никому не предлагать. Ждать надо было около года. Я целомудренно ждал, тем более, что и предлагать некому. За это время они напечатали «Полтора квадратных метра» Бориса Можаева. Главред Баруздин получил выговор, а папка с моей рукописью скромненько возвратилась в Красноярск. Повесть вышла в «Советском писателе» в сборнике «Аварийная ситуация» в конце девяностого года, когда народ читал книги, о которых знал давно и наконец-то дождался. А если бы напечатали в восемьдесят втором, тогда бы, может быть... Но не напечатали.

Такие вот грустные отношения с гулящей девкой по кличке Удача. Лестно, что ты меня сравниваешь с замечательным поэтом Решетовым, но не будем лукавить, рассуждая об удачливости. Решетов к тридцати годам издал три или четыре книжки, причём одну из них уже в твёрдом переплёте. У меня первый самостоятельный сборник вышел в сорок пять лет. И вышел только потому, что перед этим Москва издала книгу прозы. Правда, родной Красноярск облагодетельствовал двумя брошюрками по двадцать четыре страницы в составе кассет, но и они выходили, когда мне было далеко за тридцать. А стихами в твёрдом переплёте я и в семьдесят похвастаться не могу, при наличии упомянутого тобою Гран-при и «Золотой розы» на полке. Любой премии я бы предпочёл достойно изданную книгу...

– Как уживаются в тебе поэт и прозаик? Пётр Вегин однажды заметил: «Во мне умирает прозаик – его отпевает поэт». Я знаю поэтов, перешедших на прозу и ничего другого (в смысле рифмованного или ритмизованного) делать не могущих. А Кузнечихин?.. Насколько присутствует прозаик Кузнечихин в поэте Кузнечихине? И наоборот: насколько поэт Кузнечихин не даёт покоя прозаику Кузнечихину? Я просто посвящён в некоторые особенности твоей поэзии, которые могут шокировать натуры утончённые или, по меньшей мере, заставить их поморщиться. Цитирую по памяти: «...провонявший от страха / и от пота – слепой, / через мины – на плаху / или в новый запой». Или – того круче, что, помнится, хором декламировали прибывшие в одночасье в Пермь поэты-дикороссы: «Как море в отлив убывает / бравурный аккомпанемент, / долги и гондоны всплывают / не в самый удобный момент...» А может, в случае с Кузнечихиным нет никакого противоречия между поэзией и прозой?

Вспоминаю сейчас твою давнюю повесть «Крестовый дом» о судьбах женщин первой древнейшей профессии и, несмотря на искус темы, не нахожу там

отпечатков пальцев, которые выдавали бы в прозаике поэта. Редчайший случай...

– Наш общий знакомый Саша Ёлтышев как-то написал: «А Кузнечихин пишет прозу / и так озлобленно при этом / шлёт за угрозою угрозу/ в себе живущему поэту.../. Он немного драматизировал их отношения. Озлобленности нет. Но, главное, Саша забыл упомянуть о третьем в этой компании – инженереналадчике с большим стажем. Он-то и познакомил поэта с начинающим прозаиком. Инженер относился к творениям обоих сочинителей весьма иронично, но вовсе не потому, что ни того, ни другого не печатали, а на правах главного консультанта, критика и кормильца. Сочувствуя обоим, он предложил прозаику написать повесть и вмонтировать в неё стихи поэта. В качестве примера он привёл популярного в те времена Михаила Анчарова. Только потребовал, в отличие от Анчарова, – не возвеличивать своего героя до уровня талантливого поэта, а вложить стихи в уста какого-нибудь забулдыги. Повесть была написана, но издавать её никто не хотел. А поэта потихоньку начали печатать. Прозаик взревновал и выкинул почти все стихи из повести, сказав, что они нарушают стройность повествования. И был прав.

А если серьёзно: мне кажется, что поэтичность вредит прозе больше, нежели помогает. С первых рассказов старался избежать кривосмешения. Эталон прозаика для меня всегда был и остаётся Чехов.

– Иными словами даже в цикле «Там гибли поэты» и в повести «Санитарный вариант, или Седьмая жена поэта Есенина», где всё те же поэты – действующие лица, ты этого «кривосмешения» не допустил?

– Мне кажется, это далеко не поэтическая проза. Поэты в ней всего лишь герои.

А вот влияет ли прозаик на поэта? Если начну отрицать, наверное, слукавлю.

У меня всё-таки много сюжетных стихотворений, а это, как ни крути, ближе к прозе. Мозги, наверно, так устроены?! И в этом виноват инженер-наладчик с большим опытом. Но натура частенько не желает подчиняться мозгам.

В оправдание могу сказать, что я не первый и не последний на этом распутье. В промежутке между Пушкиным и Романом Солнцевым достаточно длинный список имён. Кстати, и Юрий Беликов, в этом смысле тоже грешен.

Но, тем не менее, когда я начал писать прозу, редакторов почему-то раздражала эта «многостаночность». Чуть ли не в двоежёнстве обвиняли.

– Ты сам – из дикороссов первого призыва. То бишь участник получившей в своё время известность антологии «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)», увидевшей свет в московском издательстве «Грааль» в две тысячи втором году. Я не знаю, можно ли считать сие сообщество неким общественно-литературным движением, но, судя по тому, как на Волошинском фестивале в Коктебеле, где выступила четвёрка дикороссов, ко мне начали подходить некоторые участники этого феста и проситься «записать их в дикороссы», в нынешнем социуме существует некий запрос на *такую* поэзию и прозу. Что это за поэзия и проза? Как бы ты определил наличие или отсутствие дикоросского сознания в той или иной творческой личности? Отчего этот дикоросский запрос и, соответственно,

призыв возникает? И кого из классиков русской поэзии, прошлых и нынешних, ты бы «записал в дикороссы», а кого бы – ни в какую?

– В начале девяностых появилась многочисленная группа сочинителей с очень похожими стихами. Предположим, Некто захотел бы объединить их в новый «изм». И ничего бы из этого не получилось, потому что каждый автор стал бы отрешиваться от похожести и агрессивно настаивать на собственной самостоятельности. Поэтому бродскизма, в отличие от символизма или футуризма, не состоялось. Течение вышло из берегов, растеклось, превратилось в мелкие озёра или болота.

Стилистической близости у дикороссов нет и быть не может. Нас объединяет другое: тяга к воле, беспартийность (в широком смысле этого слова) и принципиальное нежелание идти по дороге, которая объявлена единственно правильной. Литературная мода для нас не икона, не идол, а, скорее, пугало. У издателей и столичных критиков наши творения не в чести. Их можно понять. И мы иногда вроде понимаем, но дикоросская поперёшность характера сопротивляется и не даёт свернуть на главную (по их мнению) дорогу. Если бы довелось выпивать с Пушкиным, я бы (захмелев и осмелев) предложил бы ему вступить в дикороссы. Мне кажется, он подходит по всем статьям. Без всяких сомнений записал бы к нам Дениса Давыдова, Некрасова, Цветаеву, Тинякова, Есенина, Георгия Иванова, Павла Васильева, Леонида Мартынова, Анну Баркову. Из невозведённых в классики обязательно пригласил бы Вениамина Блаженного, Владимира Корнилова, Глеба Горбовского, Валентина Устинова, Михаила Анищенко, Веру Кузьмину. Называю имена и тихо посмеиваюсь: кое-кто из них наверняка содрогнулся бы от предложенного соседства. Но на то они и дикороссы, чтобы, в том числе, содрогаться и поперёшничать. Несмотря на героическую биографию, не стал бы записывать в этот «полк» Гумилёва, потому что у него диктаторские замашки. По тем же причинам отказал бы Брюсову и Маяковскому. Я не люблю снобов, поэтому отказал бы Ахматовой, Бродскому и Кушнеру. Вне списков остались, например, Клюев, Блок, Пастернак, которых очень уважаю, но они другие.

– Два года назад в известном столичном издательстве «Эксмо» была издана книга твоей прозы довольно внушительного объёма (свыше шестисот страниц!) с названием, в котором заложена полемика: «Бич-рыба» (сразу вспоминается астафьевская «Царь-рыба»). Конечно, разницу между царской особой и бичом (бывший интеллигентный человек, кто не знает) объяснять не надо. И всё-таки – чем продиктована эта полемика, чем принципиально отличаются художественные миры Виктора Петровича Астафьева и Сергея Даниловича Кузнечихина? И почему (вот уж бы никогда не подумал!) «Бич-рыба» вышла в серии Index Librorum, что означает «интеллектуальная проза для избранных»? Хотя, как я понимаю, главный герой кузнечихинской панорамы русской провинциальной жизни Алексей Лукич Петухов, о чём свидетельствует и аннотация, ведёт свою генеалогию от вполне народного персонажа – барковского Луки Мудищева...

– Не стану юлить и отнекиваться: дескать, случайно получилось, помимо воли сорвалось с языка... Нет, всё сделано в полном здравии и твёрдой памяти. В близкое окружение Астафьева я никогда не лез, рукописями своими не обременял, предисловий не просил, стихов ему не посвящал. Когда вышла «Омулёвая бочка», на каком-то собрании решил осчастливить классика книжкой, всё-таки о рыбалке, а страсть сия уравнивает и генералов и рядовых. Подписал: «Создателю «Царь-рыбы» от сочинителя «Бич-рыбы». Или что-то в этом роде, точно не помню. Но слово придумалось именно в тот момент. Рассказа «Бич-рыба» тогда ещё не существовало. Астафьеву, как мне показалось, надпись не понравилась, посмотрел на меня довольно-таки холодно, но ничего не сказал. А я ничего не спросил. Не в моих привычках. Рассказ написал лет через пять. Никакой полемики с Астафьевым у меня даже в мыслях не было. С Распутиным – другое дело.

Валентин Григорьевич в повести «Пожар» чуть ли не главной бедой Сибири объявил приезжий народ «архаровцев» (словечко, между прочим, заимствовано у Лескова). На приезжих грешили всегда, дескать, понаехали и сразу пошло воровство, драки, разврат... А в жизни частенько случается обратное. Стоит появиться в посёлке заезжим строителям или монтажникам, как просыпается местная шушера и творит свои грязные делишки, благо есть на кого стрелку перевести. Об этом рассказ «Сообщники». В «Бич-рыбу» он не вошёл по техническим причинам, издательство ограничило объём книги, и за бортом осталось больше двадцати рассказов.

И всё-таки твой вопрос более чем уместен. Моя книга о другой Сибири. Во-первых, изменилось время, но главное, что Астафьев и Распутин писали о потомственных сибиряках, а я, в основном, об «архаровцах», которых они не жалуют.

Между прочим, не лишне уточнить, что все русские сибиряки вышли из «архаровцев». При желании нетрудно сопоставить царя и бича, потом провести параллели и подправить меридианы.

Почему книга появилась в серии для избранных интеллектуалов? Не знаю.

В издательскую кухню «Эксмо» я не вхож. Может быть, решили познакомить читательскую элиту с настоящей Россией?

– И представляющий «настоящую Россию» Алексей Лукич Петухов, это своего рода современный шут Балакирев, юродивый, коим издревле на Руси позволялось то, что запрещалось другим. А именно: говорить истину с улыбкой на устах сильным мира сего. В Петухове сконцентрировалось дикоросское сознание, чьи зарубки ты уже обозначил. Складывается впечатление, что «Бич-рыба» для Кузнецихина – это книга жизни. Не только потому, что она – о многих её «ползучих» проявлениях, которые создатели «интеллектуальной прозы для избранных», вообще-то, обычно обходят стороной. Однако и потому, что она наверняка писалась на протяжении всей жизни? Но меня интересует, как прорастал Алексей Лукич в Сергее Даниловиче? Когда впервые постучался и по какому поводу?

– Самоуничижение паче гордости – очень характерно для русского человека. Петухов – типичный русский мужик. Он вроде и широк, но при этом сам себя старается заузить. Не в поступках. На словах. Называет себя бичом, а присмотреться – какой же он бич? Его можно упрекнуть, что часто меняет работу. Но ведь работает. И работает не плохо. Может и машинку швейную починить, и мотор лодочный перебрать и регулятор наладить – мастер на все руки. И, в общем-то, человек ответственный. Недоделанную работу не бросит. Может выпить, но не пьяница. При желании, мог бы даже профсоюзную карьеру сделать. Но ему скучно быть положительным героем. Неинтересно на этом самом мейнстриме. Его всегда тянет свернуть на обочину и поискать более короткий путь. А то, что попытка срезать угол и выиграть время заканчивается долгим блужданием с преодолением неожиданных препятствий, на это он не ропщет и от новых промахов не зарекается (здесь он, пожалуй, покрепче дикороссов пишущих).

Авторские заявления, что первоначальный замысел изменился не по воле сочинителя, а по настоящему требованию героя, уже превратились в штамп. У меня подобного не случилось. Когда садился за повесть, я всегда знал, чем она закончится. А если не знал – не садился. А Петухов заартачился, характер показал. Даже теперь, когда книга, на мой взгляд, закончена, он все ещё домогается со своими историями.

Первые рассказы появились в восемьдесят пятом году. Сплавлялись по речке Имбак и угодили в затяжной дождь. Выбираться из палатки ни желания, ни смысла. Чтобы как-то скрасить время и поддержать боевой дух связчиков, забавляю их весёлыми историями. Рассказал, как в Дудинке попил из проруби и у меня начала смерзаться борода, ощущение такое, словно кто-то вцепился в неё и тянет что есть сил. Боль чувствую, а понять не могу, кому челюсть моя не понравилась. Потом рассказал, как в той же Дудинке знакомый мужик поймал нельмушку и, чтобы рыбнадзорцы не оштрафовали, отрубил ей голову и приладил щучью. Дождь не кончается, приходится ещё что-то придумывать, слушателям деваться некуда, слушают. А друг мой Гамлет Арутюнян возьми да и скажи: «Запиши, Серёжа, авось и напечатают, крамолы-то никакой».

– То бишь всем последующим всплескам «Бич-рыбы» человечество обязано двум стихиям – затяжному дождю и... Гамлету? «Бич» или не «Бич», вот в чём вопрос...

– Во многих интервью кочуют две фразы «Хороший вопрос» и «Спасибо за вопрос». Первую прими на свой счёт, а вторую перадресуем сначала Шекспиру, а потом Лаврентию Павловичу, который отправил отца Гамлета поработать в Сибири и маму его, сельскую учительницу из центральной России, – тоже по статье № 58.

А у меня выхода не было. Я ответил: «Бич»!

К тому времени почти вся моя «серьёзная проза» лежала в столе неоднократно отвергнутая редакциями, и надежда на публикацию еле теплилась. Вернулся в город. Записал. Где-то, через год рассказы взяли на радио. Не центральное.

И даже не краевое. Эвенкийское. В газеты попали чуть позже. Но, главное, сам увлёкся. Проза, которую писал раньше, в том числе, «Крестовый дом», о котором ты уже сказал, была строго реалистичная, а здесь появилась возможность пофантазировать, поиграть словом. Сказ очень гибкий и вольный жанр, в нём есть, где разгуляться дикороссу. Вначале были только рыбацкие рассказы. Полагал, что на них Петухов и закончится. Потом забрёл на выставку Владимира Капелько, увидел панно под названием «Утро в деревне Косая» (или Кривая, точно не помню). На огромном холсте весёлый художник разбросал пёстрые сюжеты, изображающие пробуждение в разных избах, на сеновалах, на берегу речки... Тут-то и появилось желание сотворить нечто подобное, но более масштабное. Не о деревне, а о России. И Петухов для замысла был самым подходящим героем. Можно сказать, что не мне, а ему пришла эта идея, и он нагло заявил, что без Алексея Лукича, мне бы до такого не додуматься и задуманное не завершить. В конце концов, у него даже рыбацкие истории не столько о рыбалке, сколько о людях.

– Книга твоя густо населена. Иногда читаешь хорошую вроде прозу, даже можешь получить некоторое удовольствие от мастерства автора, потому что герои тщательно прописаны, поступки их оправданы, но не оставляет ощущение, что этих людей ты уже где-то видел, читал о них у других авторов. Петухов рассказывает не только о себе. Он без церемоний знакомит со своим пёстрым окружением. И я сразу отметил: многие из его друзей или врагов раньше в русской литературе, пожалуй, не встречались. Взять хотя бы пожарника с медсестрой, братьев Саниных, Мстителя, Мубуту, Перепёлкина, Дядьку, Клиндухова, Красного селькупа. Хотя, Торела, на мой взгляд, – из шукшинских чудиков.

– С Торелой ты, наверное, прав. Думаю, если бы Василий Макарыч встретил его, не удержался бы, вставил в рассказ. Но не встретил. Оставил мне. Красного селькупа один главный редактор отказался печатать, сказав, что он не похож на селькупа. Полагаю, что он сравнивал с Дерсу Узала, которого сто лет назад подарил нам замечательный путешественник Арсеньев. С тех пор Узала под разными именами кочует от одного автора к другому. А мой селькуп не может на него походить, хотя бы потому, что закончил ВППШ, долгое время находился на руководящей работе и вернулся к исконным занятиям только после того, как райком перестал существовать. И второе, весьма существенное отличие, рассказывает о нём не интеллигент, скованный политкорректностью, а рабочий мужик, у которого нет желания и необходимости притворяться. Тоже самое и с рассказом «Оккупант». Я с уважением отношусь к смелости вышедших в шестьдесят восьмом году на Красную площадь. Но теперь этот протест хотят представить чуть ли не всенародным. Не было такого. Народ, кроме тех, у кого близкие оказались в Праге, можно сказать, не обратил внимания на государственную акцию. Да что народ, если признанный бунтарь Высоцкий пел:

*...Занозы не оставил Будапешт,
А Прага сердце мне не разорвала...*

Уже в нашем веке, когда рассказ был написан, мне довелось слушать телевизионную беседу Познера и Гайдара. На вопрос ведущего: «Когда вы разочаровались в советской власти?» Егор Тимурович, не задумываясь, ответил: «Когда русские танки вошли в Прагу». Потомку автора «Тимура и его команды» в это время было двенадцать лет. Страшно представить с какими душевными муками разочарованный вундеркинд упорно поднимался по карьерным ступенькам презираемой им власти. Петухов во власти не разочаровывался, потому как никогда не клялся ей в любви. Не волновала его и реакция просвещённой Европы. Но ему жалко было парня, которому Прага надломила душу. Не друга, а просто земляка. Такими людьми я и старался заселить книгу, чтобы панорама получилась, насколько это возможно, полной.

– Причём – не только заселить не затёртыми в современной литературе героями, но и наполнить свежими сюжетными ходами, которые, впрочем (Бог – свидетель!), склонны проявляться в обыденной жизни. Вот тебе пример. На днях пошёл выгуливать собаку. Ранее утречко... Вдруг смотрим (я и собака, которая тоже удивилась): навстречу мужик с корзиной. Я, как твой Алексей Лукич, «заглядываю в корзину»...

– «А там одни мухоморы»?..

– Точно! «Молоденькие. Крепкие. Ядовито-красные». Как в кузнечихинском рассказе «Странный гость». Я сразу вспомнил твой путеводные строки о том, что «странника видели не испорченные газетами люди, причём трезвые», а я же, хоть и «трезвый», но, сам понимаешь, «испорченный газетами». Но, тем не менее, – лицезрю мужика с мухоморами. Честно говорю: чтобы стряхнуть наваждение, в этом месте я захохотал, ибо знаю, что клин клином вышибают и «странным» всегда убедительно долбануть по «странному». В ответ прилетело: «Ещё и смеётся!..» И тут я воспроизведу поставленные тобою же в конце рассказа вопросы: «Кто это был? Зачем он явился к нам с корзиной мухоморов? Может, какой знак подать хотел?» В рассказе твой Лукич отмахнулся: «Не знаю». А что молвит Данилыч?

– Знаю, но не скажу, потому что могу сплести.

– Прямо-таки притча! Вообще твой Петухов изъясняется ими довольно часто. И хотя москвич Максим Лаврентьев, написавший несколько веских слов для задней обложки «Бич-рыбы», возводит твою генеалогию к Зошенко, Лескову и Гоголю, я бы отправил читателя ещё дальше – к пушкинскому Пугачёву из «Капитанской дочки»! Во-первых, у Пушкина – Савельич, у Кузнечихина – Лукич. Оба – из народа. Во-вторых, там ведь Емельян Иванович тоже горазд до притч: «Орёл клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!» А вот речь кузнечихинского персонажа из рассказа «Странный гость»: «Орёл, утёр деревне нос, хорошие грибы, только здесь не Питер. «Скорую помощь» не вызовешь, а до районной больницы успеют ли довести – не знаю». Как ты считаешь, притчевое иносказание – порождение конкретного времени, в котором довелось сформироваться автору, или свойство

русского народного сознания, восходящего к речи юродивых и кликуш, и тех же легендарных шутов при царском дворе?

– О литературной генеалогии я как-то не задумывался. Просто мне хотелось написать весёлую книгу о России, о русском мужике, непохожем на солдата Чонкина, открытом, но не без лукавинки. А если он немного юродствует, так это не психическое отклонение, а маска, без которой не выживешь, если начнёшь говорить правду при тотальном ханжестве. Теперь, когда тотальное ханжество превратилось в тотальный цинизм, нужна другая маска.

– Неужто – «Золотая»?!

– Нет, Юра... От «Золотой маски» правды не дождёшься. Зачем она ей? Только во вред. Боюсь, что бандитская, или какого-то другого человека с ружьём.

– Читая «Бич-рыбу», поймал себя на мысли, что её, как некогда «Горе от ума», можно всю растащить на цитаты. Книга начинена крылатыми выражениями, но не подчёркнуто претендующими на афоризмы, а как бы обронёнными вскользь, между делом. Например: «Какая радость от полированной мебели, если удобства в конце коррид ора?», «Старый дёготь, что кривой ноготь, маникюром не закрасишь», «Кого-то язык до Киева довёл, а меня до профкома», «Мужья начальниц – работники неважные, но уметь пить они обязаны...», «...а я – дурак обыкновенный, для того, чтобы на меня посмотреть, не надо включать телевизор, достаточно выйти на улицу». Известно, что авторы в процессе работы над тем или иным творением пользуются записными книжками, откуда они выуживают нужное в данный момент. Это – нормально и называется внутренней авторской лабораторией. Но откуда черпает свои «лукизмы» Сергей Данилович? Они рождаются в процессе возникновения текста или берутся со «склада заготовок»?

– Записными книжками пользоваться не умею. Пробовал, не получилось. Кочевой образ жизни, долгое отсутствие «рабочего стола», разгильдяйство и прочие недостатки характера не способствовали систематизации. Бывало, запишешь, а в нужный момент этой записи под рукой не оказывается. Сиди, гадай, что нацарапал в книжке – лишняя трата нервов и потеря рабочего настроения. Приходилось надеяться на память. К тому же, писалось в рукопашную, потом переписывалось, потом перепечатывалось на машинке, как минимум два раза. В процессе переписок эти «перлы» и рождались. Иногда использовал известные поговорки. Но поскольку Петухов не Попугаев, повторять слепо он не соглашался – переделывал и добавлял своё. Плюс ко всему отец мой Данила Александрович постоянно выдавал сочные афоризмы, но лучшие из них, повинуюсь новому закону, печатать нельзя.

– Но я-то, видимо, от тебя, Данилыч, поднабрался – от поговорок петуховских. Намедни раскрыл твой одноимённый рассказ «Бич-рыба», и разглядел сделанную ранее собственную пометку карандашом, как некую подначку автору: «Начал про налима, а хвалу воздал ершу». Вот у Астафьева всё понятно: «Царь-рыба» – осётр. Это даже в памятных знаках запечатлено – что у вас по дороге в Овсянку, что у нас – возле ставшего ныне музеем дома, построенного

в Чусовом ещё мало кому известным Виктором Петровичем. Посему ты уж скажи как рыбак рыбаку, тем более, если речь о некой видовой особенности, давшей название всей книге: «Бич-рыба» – это всё-таки налиим или ёрш?

– На Енисее и для налима, и для ерша есть общая характеристика – сорная рыба, но чтобы придать книге хоть какой-то вес, можно вспомнить знаменитое ахматовское: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи...» – ну, и так далее. К тому же начать одним, а потом резко свернуть в сторону для Алексея Лукича весьма характерно. Стройности рассказа это, может, и мешает, но человек он вольный, ему законы не писаны. В отличие от ерша и налима, с осётром намного сложнее. Ты знаешь, какой штраф за него? Поймают рыбнадзорцы с хорошим уловом – без штанов останешься. Виктору Петровичу, как лауреату Государственной премии и другу двух президентов, скорее всего, простят. А Петухову (или мне) до смерти придётся расплачиваться. Кстати, в Дудинке рыбаки называют осетра ершом и детишек своих к этому приучили, на случай если ребенку вдруг похвастаться захочется. А то ляпнет в неподходящей компании, дойдёт до чужих ушей, а следом и неприятности подкрадутся. Приятель мой, Миша Хомайко, родом из деревни Дворец, которая сейчас на дне нового рукотворного моря, рассказывал, что охотники у них выходили на промысел затемно, чтобы избежать лишних глаз и лишних разговоров. Осторожный народ.

– Только теперь до меня докатилась вся подспудная мощь замысла Кузнечихина!.. Оказывается, «Бич-рыба» – это альтер эго «Царь-рыбы»?!

– Я тоже вроде осторожничал, но ты разговорил меня. И я расслабился. Проболтался. Теперь знатные литературные особы, которые ведают, как и о чем писать, обвинят меня в самозванстве и закатают в асфальт большака, чтобы никто не нашёл. Представь себе центральную магистраль, по ней мчатся роскошные автомобили, в кустах прячутся разбойники с большой дороги, а на обочинах зазывающе улыбаются девушки с трассы, а под асфальтом покоятся нежелательные свидетели...

– Что касается «нежелательных свидетелей», большаков, мейнстримов и прочих единственно верных дорог... Помнишь, как в «Разговоре с комсомольцем Н. Дементьевым» Эдуард Багрицкий писал: «А в походной сумке / Спички и табак, / Тихонов, / Сельвинский, / Пастернак...» Это, как говорится, один вариант мейнстрима. Давнего. Были и другие «столбовые дороги» – «секретарские»: Всеволод Кочетов, Георгий Марков, Анатолий Иванов. Но пыль на этих дорогах, если не считать некоторых экранизаций, быстро улеглась. Был и остаётся диссидентствующий мейнстрим: Солженицын, Аксёнов, Войнович. Там до сих пор пыльно. Удивительное дело: как ни старались приспособить туда творчество Варлама Шаламова, он всё равно ушёл в сторону. Однако существовал и большак – Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василий Белов. Сейчас вот тоже, если смотреть исключительно телевизор, в России «три анимационных богатыря» – Прохан, Прилепа и Шаргунишка. Не будем про «богатырей». На них всегда найдётся Соловей-разбойник. Но некоторых-то

и трогать не могли – икона. И тут я вспоминаю практически притчу из книги Ларисы Васильевой «Душа Вологды». Описывая свои встречи с девяностолетней, жившей в лондонской эмиграции полумифической Саломеей Андрониковой (та самая Соломинка, которой посвящал стихи Мандельштам), Лариса Николаевна, в свою очередь, передаёт её реакцию на прочтение книг Астафьева, Распутина и Белова. На «Живи и помни» Распутина: «Это серьёзно». На «Плотницкие рассказы» Белова: «Белов поскучнее, хотя пишет ярче». А вот – на «Царь-рыбу» Астафьева: «Этот самый сильный из всех ваших «деревенских». Он не деревенский. У него тяжёлые подвалы в душе. И тёмная вода в глазу...» А? Как тебе нравится эта «тёмная вода в глазу»?! А ведь Саломея, которой посвящал стихи не только Мандельштам, но и – Ахматова и которая состояла в переписке с Цветаевой, конечно же, не ведала об этой особенности астафьевского зрения – про то, что он видел одним глазом! Но как видел?! Так, что, по её мнению, мог дать фору четырём другим зракам – Распутина и Белова. Любопытно, что в разговоре со мной прозаик Владимир Крупин, иногда причисляемый ко второму эшелону того самого большака, однажды сказал, имея в виду художническую особенность Астафьева и не зная о той реплике Саломеи: «У него – звериный глаз!» Согласен ли ты с приведёнными характеристиками?

– Без оговорок. Глаз уникальный. Ярче Астафьева природу в русской литературе не живописал никто. Мастера были. Но я говорю о яркости, даже о ярости, можно сказать. Глубоко сомневаюсь, что его можно равноценно перевести на иностранный язык. Или – язык кино. Здесь, в отличие от иностранного, нетрудно понять насколько киноверсия слабее прозы. Но я догадываюсь, что ты спросил о другом. Давай вспомним о замечательном стилисте Георгии Семёнове, которого тоже можно назвать кудесником русского языка. Нет, с кудесником я поспешил. Это не о Семёнове. Ему больше подходит – волшебник. И притча тут выстраивается таким образом: с Астафьевым они начинали почти одновременно, издательская судьба Семёнова была тоже достаточно удачной, а заслуженной славы не было. Почему? А не потому ли, что в его глазу отсутствовала та самая «тёмная вода»?

Дунькины дисклеймеры

Дисклеймер номер раз: несмотря на филологическое образование и врожденную грамотность, весь синтаксис в моих текстах, включая знаки препинания – авторский, в стиле «поток сознания или здравствуйте Вирджиния Вульф». Тексты я пишу, именно что визуально рассчитывая на свой синтаксис, поэтому редакторские претензии на тему «тут не оформлена прямая речь, позор и ганьба» не принимаются.

Дисклеймер номер два: все тексты писались для моего блога в Фейсбуке, где их, как и другие, не вошедшие в эту подборку, можно найти под уникальным тэгом #ДунькавУтконосии. Отсюда и специфическая стилистика, менять которую я категорически отказываюсь.

Приятного чтения!

Катаклизма феминизма

Вот так уедешь в Австралию – рано или поздно напишешь историю про coming out*, здесь это дело популярное. В этом случае, правда, у нас случился coming out наоборот. На голубом, так сказать, глазу. Melbourne Cup – the race that stops the nation, австралийский вариант скачек в Аскоте, на время которых, согласно девизу мероприятия, жизнь в стране останавливается. Ну, не знаю как насчет страны, а в университете у нас точно никто не работал: шляпки, фасинаторы (ау, коллеги-переводчики, придумали у нас уже слово приличное для этой фигни из перьев?), каблуки (в кои-то веки), ставки, ажиотаж и плохое австралийское шампанское. Все лучше, однако, чем упираться носом в монитор.

Я, как назло, шляпку (нежно люблю шляпки, и они меня тоже) дома забыла, не выгуляла; зато выгуляла чужую – соседней профессорше пришлось срочно куда-то бежать по делам и наши с ней шляпные интересы временно совпали: тащить этот аэродром с собой на встречу ей не упало, ну а мне – в самый раз.

И вот иду я вся такая в аэродроме и бретельках смотреть скачки, а рядом идет коллега. Коллега – ну как бы это вам описать – мечта читательницы женского романа: итальянец-полукровка в самом расцвете лет, красивый чрезмерно-киношной красотой, с глазами цвета небес Адриатики и безупречным вкусом в одежках. Не женат. Все это, вкупе с полным отсутствием интереса к департаментскому женскому полу, дало повод

для устойчивых слухов, что он, так сказать, "интересуется" по другой линии.

Как жаль, что из моды вышли шляпки и платья в обтяжку, печально мурлычет коллега. Ты выглядишь, как в кино пятидесятых (ну неправда, куда мне до тогдашних див, формы подкачали, но шляпка явно из тех времен, да) – вот это были женщины, вот это была женственность... теперь редко такое увидишь...

И, вдруг, словно очнувшись: ты прости, что я такое говорю, я не сексист, нет, я за равноправие, ты не подумай. И ужас такой в глазах плещется, что а ну как я его сейчас выдам совету по этике на расправу и поругание. Господи боже. Успокойся, говорю, я русская женщина, а мы, русские женщины, очень хорошо знаем разницу между равноправием и уравниловкой. Прочитывала ему Евтушёнку про унижение женщины до равенства с мужчиной. Объяснила, что меня абсолютно не напрягает открывание передо мной дверей и ношение вместо меня тяжелых чемоданов, равно как все это не мешает мне делать карьеру. Что женственность – это то еще оружие пролетариата, не хуже бульжника, надо только уметь им пользоваться. Ну и прочий краткий ликбез для ушибленных политкорректностью.

Во взгляде коллеги просверкнул не вполне свойственный австралийской интеллигенции злобный огонек.

Слушай, а можно я тогда еще скажу? Вот эти бабы, которые не умеют им пользоваться, они больше всех и ратуют за "равенство"! Знаешь, я ведь тоже... тоже двери открывал и цветы дарил, мне хочется это делать, но страшно ведь... не знаешь, где нарвешься... пару раз нарвался, теперь уже на воду дую. Куда подевались женщины, fucking shit?

Адриатические глаза при этом исправно и весьма неполициткорректно косили в декольте.

Мдя, думаю, факультетские дамы, мать вашу растак – не гей он у нас, ох не гей. Это в консерватории надо...гмм... рояли настроить.

Иначе они вам так и будут играть "Over the rainbow" вместо марша Мендельсона.

**coming out – публичное признание в нетрадиционной ориентации*

Про фёрби, рыженькую и Фридриха де ла Мотт Фуке

Началось все с того, что слева от меня, на скамейке станции Кройдон, куда я, как обычно, приплюхнулась в ожидании поезда, чтобы в тиши и одиночестве занырнуть в книжку, раздался нечеловеческий вопль.

Pet me more! I love you!

И еще более нечеловеческий хохот децибел этак в сто.

Даже ностальгически перечитываемый ведьмак Геральт в ебуке сделал финт и принял боевую стойку. Что уж говорить обо мне: я подпрыгнула и воззрилась в сторону звука, фирменным патентованным взглядом «а нельзя ли потише, вашу мать налево, ятутчитаююще».

И тут же взгляд притушила, потому что слева сидела девочка.

Рыженькая. Ну как это обычно: локти, колени, косички, школьный рюкзак, юбка в горошек, нелепая, слишком широкая панамка от солнца, лет 10-12. Словив взгляд и поворот, девчушка сгорбилась, как будто в ожидании удара; локти-колени оцетинились и совершенно по-матерински укрыли от меня источник звука.

Я устыдилась и послала рыжушке утреннюю, еще не смазанную муторным офисным днем улыбку. Острые углы расслабились, на меня искоса глянул всё ещё недоверчивый зелёный глаз, контакт был установлен.

На коленях у рыженькой угнездились нечто фиолетовое с желтыми ушами. Уши колотились в разные стороны, мех топорщился, спрятанный внутри динамик издавал истошные крики.

Надо же, какой, говорю; активный. Кто это у тебя?

Это фёрби. Ты что, никогда не видела фёрби?

Нет, говорю, представляешь, какая я отсталая – слышать-слышала, а не видела ни разу. А что с ним нужно делать?

Его надо любить, серьёзно ответила рыженькая. Всю жизнь.

А, вот оно как. Ишь ты как замахнулась, девочка моя. Любить всю жизнь. Хотя чёрт его знает, с фёрби может и получиться. Не пристаёт, когда не надо, не нудит, в душу не лезет, знай чеши его да ублажай. Да и вырубить при желании не вопрос, не то что...

Но этими тухлыми взрослыми мыслями я с соседкой делиться не стала, а сразу провела тест на прочность контакта. Дай, говорю, поддержать любимца твоего. Дашь? я не обижу...

Покосилась, протянула руку, дала. Фиолетовый монстрик на щекотку и почесывание за ухом реагировал вполне адекватно: верещал, повизгивал от удовольствия и дергал ушами. Прикольно, чо.

Тут проснулся станционный динамик и с привычным убойным индийским акцентом объявил, что поезд, которого мы ждём, ушел в нирвану, а о прибытии следующего будет объявлено дополнительно.

Ага, то есть нам с фёрби и его хозяйкой тут еще минут двадцать груши околачивать. Ну да не впервой, Sydney Rail, take your time, и пусть весь мир подождёт. Продолжим.

У меня их четыре штуки, фёрбиков – девочка все еще косилась, но уже явно не боялась. Я присмотрелась: странная вообще девчушка, и вот эти косые взгляды, и как горбится, и углы вот эти. ДЦП? совсем легкий? может быть...

А зачем тебе их столько, спрашиваю. Всех всю жизнь любить? (не удержалась, все таки сыронизировала, язык без костей).

Да, любить. Мне ведь надо кого-то любить, правда? особенно, когда одиноко.

Ой-ёё, здравствуй, рыжая сестра по детству. В моём детстве, правда, фёрби не было. Оно и к лучшему. Уж если любить, то лучше этих, со шпагами и в шляпах. Эти хотя бы не орут, а если и орут, то про куклапа и когда твой друг в крови. Все веселее.

И чётко в параллель моим мыслям, вопрос:

А ты что делаешь, когда одиноко?

Я – книжки читаю. Фёрби, оно, конечно, хорошо, но круче книжек от этого дела ничего нет.

Врёшь, убеждённо заявила рыженькая, почёсывая монстрика. Книжки – это скучно. Мы эту мутотень в школе проходим, помереть с тоски. Игры еще куда ни шло, но это так, время убить. А мне - мне любить надо.

Приехали, милая моя. Вот смотрю я на тебя, на эти твои локти-коленки-косички – ты же нашей дурной породы, книгочейка, мечтательница, я ж тебя насквозь вижу, и глаза правильные, с чудинкой, и инакость, и непохожесть, всё как доктор прописал. Только о чем же тебе мечтать, дорогая моя утконосочка, если у тебя дома, как тут принято, книжек дай бог штук пять, четыре кулинарные и одна сберегательная...

Нет, говорю. В школе оно и вправду мутотень – настоящих, интересных книжек вам не дают, не положено. Это самой надо найти, это не для всех. Ага, а глазки-то загорелись, не для всех – это значит, для нас. Я ж говорю, наш человек.

Ну хорошо, говорит. Вот эта, твоя книжка, она про что?

Экхэм. На раскрытой на тот момент странице прыткий ведьмак аккурат ко времени завалил фигуристую чародейку Йеннифер на очередном сеновале. Ну дык про это-то им как раз в школе очень даже рассказывают, подумала я, да и весь цикл в два слова не уложишь. А девочка-то вот она, здесь, ждёт ответа, и чует моя чуйка, что от этого ответа многое зависит.

И тут меня как стукнуло. Год 1984-ый, нас трое десятилеток без родителей, едем поездом в пионерский лагерь в Абхазию, а с нами – чтобы вручить ценный груз встречающим в целости и сохранности –

студентка-сопровождающая, дай ей бог счастья и кулек конфет впридачу. Потому что девица эта полночи нас развлекала шедеврами мировой литературы в собственном пересказе – и ночь эта мне запомнилась навсегда, на всю жизнь – стук колёс, сумрак купе, взволнованное дыхание соседок – и – Гамлет. И – король Лир. И – Ундина, чтобы уж добить окончательно. Как я потом узнала уже на втором курсе универа, в романтической версии Фридриха де ла Мотт Фуке.

Поезд. Встреча. Сказка. Новый, получается, виток спирали.

Книжка моя – говорю – про рыцаря. Рыцарь этот отправился в дремучий лес, заблудился и попал в маленькую рыбацкую избушку, где жили старик со старухой и их приёмная дочь, Ундина. Хижина их стояла на берегу озера, а в озере когда-то давным-давно утонула их маленькая дочка. А через несколько дней после несчастья, тёмной ночью, когда рыбак с женой сидели и горевали о погибшем ребенке, когда лил проливной дождь, выл холодный ветер и духи леса бесновались в лесной чаще, к ним в дверь постучалась маленькая девочка с золотыми, вот как у тебя, волосами... и выросла девочка в замечательную красавицу, и влюбился в нее рыцарь без памяти...

Подошел поезд – мы в него кое-как запрыгнули (да, подволакивает ножку, совсем чуть-чуть, все-таки ДЦП), умостились друг напротив друга, я продолжала вытягивать из памяти давно забытый сюжет – лесная свадьба, священник, как у Ундины появилась душа, возвращение в мир людей, прежняя возлюбленная рыцаря, заваленный камнем колодец...

Под рукой у рыженькой пронзительно взвизгнул мохнатый зверёныш.

Мне надо было выходить.

Э-эй... локти и колени прямо таки рванулись за мной, на выход... Ну а дальше-то? подожди, я хочу знать, чем оно...

Undine, говорю. Ю-эн-ди-ай-эн-и. Забей в гугл. Прочитай сама. Там все есть. И таких книжек там много, очень много, на всю жизнь хватит. Надо читать, солнышко, слушай меня, обязательно надо читать.

Там точно есть кого любить.



СЕРГЕЙ ЛАЗО

Родился в г.Житомире (Украина), по образованию филолог. На родине его окрестили «человеком - оркестром». Один во многих лицах: музыкант, певец, композитор, поэт, драматург, журналист, продюсер, модератор культурных программ. Чувствует себя счастливым человеком, потому что занимается любимым делом, имеет хорошую семью.

Сергей Лазо – автор 17-ти книг и шести дисков. Член Союза писателей и Союза журналистов Украины, лауреат ряда украинских и международных премий. Концертирует, неразлучен с гитарой. Любит живопись, современную хореографию и путешествия на воздушном шаре. Большой поклонник джаза.

МУЗЫКАНТЫ УХОДЯТ ИЗ МИРА

Виталий Колесник

Когда-то учился в музучилище, но так его и не закончил. Романтик, прятавшийся в раковину себя самого. Бессребренник, собака по гороскопу и по жизни. С «Ямахой», выдавшей вида, которую таскал в Тернополе, Москве, Питере, по ресторанам и гастролям. Ничего не скопил, один в прокуренной полутёмной комнате, с «битлами» на обшарпанной стене и продавленным диваном. Осталась песня.

Кто, если не ты,

Грусть мою по ветру развеет...

В Тернопольском драмтеатре ставили смелую по тем совковым временам пьесу прибалтийца Грушаса – «Любовь, джаз и чёрт». Нужна была песня. Я написал текст и отправился к Колеснику, который жил в соседнем дворе. Он, конечно, загорелся, сразу сел за клавиши. Через день запаниковал режиссёр, мол, песня нужна срочно, без неё не выстраиваются какие-то мизансцены и так далее. Я позвонил Витьке. Тот стал пространно формулировать вызревание некоего полифонического замысла, но я остановил эти творческие метания одной фразой:

– У тебя есть день. Не успеешь, отдам текст Перчуку...

Игорь Перчук был очень уважаем среди музыкантов и, понятное дело, с песней бы не тянул. На следующий день я лично заявился к творцу, не стал слушать его сбивчивых аннотаций и предисловий – показывай, что есть! Он обречённо сел за пианино, приладил к подставке скомканный текст и выдал. «Какой же ты, собака, красавец!» Я обнимал его, рассыпался в восторгах, которые по большому счёту мало что значили: мелодия, голос – вне всяких похвал! Витя конфузился:

– Голос как голос... Немного похож на Фила Коллинза...

Думаю, если б Колесника записать на тех студиях, где работал Колинз, последнему, возможно, пришлось бы потесниться.

В общем, песня удалась и явно тянула на шлягер. Однако не хватало припева. Думали, рожали, но ничего путного не выходило. Подвизали даже Перчука, случайно залетевшего в Тернополь. Он, оторвавшись от рюмки, что-то наваял на пианино, и закрыв крышку, снисходительно подытожил:

– Ну, что-то в этом роде...

Закончилось тем, что мы коллегиально сочинили припев, который и по сей день вызывает некоторую неудовлетворённость. Витькин запев сильнее припева, а в песне должно быть наоборот.

Как-то, почти одновременно, мы сделали ошеломляющее открытие: иногда в снах звучали песни, которые смело можно было назвать шедеврами. Такие откровения, конечно, вдохновляли, и мы делали героические попытки как-то зафиксировать ночные виденья. Я настраивал себя на аварийное пробуждение. Безрезультатно. Бессовестно храпел, а дивные песни, райски звучащие во сне, бесследно исчезали, оставляя утром лишь воспоминания об испытанной радости. Витя пошел дальше. Он изобретал и экспериментировал, пытаюсь все-таки ухватить за хвост ускользающие шедевры. Около разваливающегося дивану – места дислокации снов – он установил кассетный магнитофон с микрофоном, чтобы при малейшей возможности, едва вынырнув из сонных тенет, успеть записать заветную мелодию. У меня для этой цели в изголовье всегда покоились ручка и открытая тетрадь. Как-то среди ночи, не зажигая свет – не вспугнуть бы! – даже что-то записал, однако утром так и не смог разобраться в таинственных каракулях. Витькин опыт оказался успешнее. Как-то он позвонил в передобеденную пору и взволнованно сообщил:

– Только что проснулся. Удалось записать! Какая тема! Чувак, ты очумеешь! Это атомная бомба! Причем, даже не по пьяни!..

Неужели удалось?! Я полетел к Колеснику (нас разделяли каких-то сто метров) – и вот мы уже припали к заветному магнитофону. Тема действительно была гениальной. Даже не сговариваясь, сразу определили название: Yesterday. Жаль лишь, что значительно раньше она приснилась Полу Маккартни...

Набирали обороты шальные 90-е. На глазах рождался и становился на ноги отечественный шоу-бизнес. Дико, хаотично, беспредельно, как всё в этой разваливающейся державе... Зато пьянила упавшая с неба свобода.

Из Питера на побывку в родной Тернополь приехал Саша Назаров, создатель и лидер довольно известной группы «Форвард». Он демонстрировал свои аранжировки, которые создавались на новейших синтезаторах, сэмплерных инструментах, и мы задыхались от восторга – наконец-то стали пробиваться правильные звуки, появилась возможность достойно одеть собственные песни. Он сотрудничал с композитором А.Морозовым, я очень удивился удачному сочетанию совкового лиризма и современного электронного звучания. Интересный голос Виктора Салтыкова (по рассказам, недавно оторванного от токарного станка), цепляющая песня «Улетели листья» (достойный текст поэта Николая Рубцова)... Назаров – красавец: абсолютно раскован, прост, весел и циничен. Щедро угощает собравшихся музыкантов, протягивает кому-то тугой бумажник, «возьми что-нибудь выпить и закусить», никогда не пересчитывает деньги – и это без апломба, без понтов и намёка на собственную значимость. Уезжает покорять Москву другой бас-гитарист, Володя Дубовицкий, и – о, чудо! – покоряет. Фантастическая карьера: старт – ансамбль Валентины Толкуновой, сложный тандем с пока ещё мало известным Игорем Крутым, затем «АРС», «Песня года», Давид Тухманов, роды «Электроклуба», куда перетянул и Назарова, и Салтыкова... Через год-другой приехал повидаться с родными. Встретились, он знакомит с новой женой (рыжеволосая огненная красавица с восточными глазами). Мне вскользь нашёптывает: «Увидишь, скоро она будет популярней Аллы Пугачёвой...» Я иронично улыбаюсь и стараюсь запомнить фамилию, явно взятую напрокат из музыкальной терминологии: Ирина Аллегрова. Зря, кстати, улыбался... Тогда-то и возникла идея создать свою команду, ну и, ясное дело, занырнуть под крыло «Электроклуба», быстро набирающего популярность. Застрельщиком проекта стал Анатолий Мельник, соратник Дубовицкого и Назарова по первой тернопольской команде «Искатели» из далёких тинейджерских 70-х. Так появился квартет «Макси», который стал гастролировать с «Электроклубом», играя в первом отделении на разогреве. Работа в раскрученном коллективе, с хорошими музыкантами, конечно, много дала. Я писал тексты, Мельник – музыку, аранжировку делали сообща, хотя больше всех потел над синтезатором Толик. Витя Колесник пел. Голосом, слегка похожим на Коллинза. Он и песни пописывал, и на клавишах играл. В общем, сделали вполне приличный по тем временам альбом, и виниловый лонг-плэй вот-вот должен был выйти в монопольной «Мелодии». Но, зная, не судилось, и зависли наши песни на километровых бобинах студийной

плёнки... Я в состав «Макси» не входил, на гастроли не ездил, но всегда ждал возвращения приятелей, иногда приезжал в Москву, где они на Шаболовке снимали квартиру... Время шло, жизнь и обстоятельства вносили свои коррективы. Первоначальный «Электроклуб» разваливался, нужно было решать, что делать дальше. Приглашала Аллегрова, но решили остаться с Салтыковым. «Макси» трансформировался в «Армию любви»... Однако и этот проект не выдержал испытания временем. Музыканты вернулись домой. Витька женился, уехал с женой в Питер. Новых песен я от него не слышал – вероятно, бытовые бури не способствовали вдохновению. Однажды он признался:

- А ведь Аллегрова хотела петь нашу песню...
- Какою? «Кто, если не ты»?
- Да. Но я не дал.
- Ну ты мудило... Чего же не дал?!
- А мне что тогда петь?
- Так новую песню написали б!!!

Потом Колесо вернулся в Тернополь, уже без жены, грустный и непривычно пополневший. Всё в ту же прокуренную комнату с пианино и старым надорванным плакатом битлов. Он по-прежнему висел на стене, испещрённой номерами полузабытых телефонов. Витя играл в ресторанчике, где-то на отшибе, иногда выныривал, появлялся на горизонте, однако бывшего бунтарского единения уже не было. Все мы оставались друзьями, но при этом у каждого была уже своя собственная жизнь... А если не связывает жизнь, то что же связывает?

Года разводят... А с годами нас
Уж не разлуки – встречи разлучают.
Спасает, что никто из нас не знает,
Кто проведёт кого в последний раз.

Пути Господни неисповедимы, и так случилось, что именно мне пришлось провожать его в последний путь. Как-то нелепо всё произошло: Витя поздно вернулся с работы, утром плохо себя почувствовал. Отвезли в больницу, а вечером взорвалась поджелудочная. И всё. Никто ничего толком не знал, никто не успел помочь. Когда я примчался в больницу, он был уже в морге. Там сразу же задали вопрос:
– Надо помыть, одеть, привести в порядок. Кто будет оплачивать?

Вот уж не думал, что когда-нибудь буду организовывать Колесу услуги морга... Стали искать одежду, нашли какой-то пиджак, брюки, в которых его никто раньше не видел. Возникла дилемма, в каких туфлях хоронить: старых или новых, даже нехоженных? Настояли, чтоб ушёл в новых... Потом привезли гроб, и водитель траурного автобуса заявил, что не обязан укладывать покойников. Вот и пришлось вдвоём с Вадимом (тоже музыкант и старый приятель) переносить негнущееся тело с бетонного стола в деревянный ящик. Даже в этом кошмарном состоянии не мог заставить себя воспринимать происходящее, как свершившийся факт. Смотрел на землистое осунувшееся лицо и не верил, что это Витька Колесник. Тот самый, когда-то вернувшийся с первых московских гастролей, весёлый, счастливый, неожиданно разбогатевший на новые джинсы и только-только появившийся кассетный плеер «Sony Walkman»... Воткнув мне в ухо один наушник, и одновременно слушая другой, он восторженно делился: «Новый Стинг. Тру-у-ба-а! Вот как надо лабать!»

– Да ты сам поёшь как Коллинз!

– Не-е... Так, иногда, слегка похоже...

Кто, если не ты
Грусть мою, словно сон, развеет.
Кто, если не ты,
Высушит и слёзы, и дожди,
Кто руки мои
В ласковых ладонях согреет,
Кто, если не ты, если не ты.
Одна лежит дорога в два конца,
Любовь обоих делает сильнее,
И если разлучаются сердца,
Становятся счастливей и добрей...

.....

Далее проигрыш.

«БОЛЬНО ТОЛЬКО,
КОГДА СМЕЮСЬ»





ЛЕВ ВАЙСФЕЛЬД

Послевоенный одесский выпуск. До 2000 – Одесса. Сейчас – Нетания, Израиль. Публикации в периодической печати, в альманахах. В 2011 – сборник стихов.

В 2006 - Международный конкурс сатириков и юмористов – 1-е место в номинации «Афоризмы».

Когда муза в отлучке, а потерять форму не хочется, я отправляюсь в недра Интернета на поиски неадекватных вопросов, требующих соответствующих ответов.

КАКОЙ ВОПРОС!

– Во что можно верить, не боясь разочароваться?

– В моей душе от женщин ранка,

И с ними завязал я прочно.

А верю постоянной Планка –

Она-то не изменит точно!

– Когда лучше грабить кондитерскую?

– Кондитерские (видел я воочию),

обычно грабят утром или ночью.

А я их граблю, если делать нечего,

как правило, и днём, и поздним вечером.

– Парни, скажите пожалуйста, на что вы в первую очередь обращаете внимание, когда знакомитесь с девушками?

– Когда знакомлюсь с девушкой у сквера,

Прошу бумажку из вендиспансера.

– Как отучиться материться?

– В жизни может пригодиться

Даже классно материться.

Знать, конечно, надо только

Где, когда, кого и сколько.

– **Что такое Котовасия и откуда это пошло?**

– Да, жил в Одессе Котов Вася -
С него она и началась.
Напился как-то в стельку с Васей я -
Вот и случилась скотовасия.

– **Почему у женщин промежность расположена вдоль тела, а не поперек? Саша**

– Саша, это что - упрёк?
Неэстетично "поперёк".

– **У женщин ноги потеют так же, как у мужчин?**

– Когда фужер "Мартини" бахнут,
То не потеют и не пахнут.

– **Если мы с парнем в разлуке чуть больше месяца это ведь не значит, что или я, или он изменяем? Неужели никто не верит, что есть на свете еще девчонки и парни, для которых отношения важнее, чем секс?**

– Ты веры в парня не теряй,
Но, доверяя, проверяй:
Рабы физиологии
Не все, но очень многие.

– **Только для интереса – а у вас когда был первый поцелуй?**

– Да, был он – первый! Точно был.
Но стар я стал... Когда? – Забыл.

– **Когда будет Сабантуй?**

– Желанье выпить, плоть бунтует –
Вот это время Сабантуя!

– **Кто-нибудь оформлял ипотеку? Как оно?**

– Сперва оформил ипотеку.
Потом работал "на аптеку"!

– **Я же не рабыня? Гаянэ**

– День добрый, Гаянэ, и здрасте!
Все мы рабы своих пристрастий.

– **Вы разделяете мнение некоторых о тупости блондинок?**

– Ну да, конечно, это глупость.

А всё ж люблю я их за тупость!

– **Риск – дело благородное? Стоит ли рисковать всем ради неопределенного будущего без гарантии на успех?**

– Нет, всем не стоит рисковать.

Закрывать все двери. Лечь в кровать.

– **Авреи это нация или?**

– Нет, авреи – не нация,

А на Оскара номинация.

– **Как приручить мужчину?**

Подкармливать, чесать за ушком,

И напрокат давать подружкам.

– **Как бороться с оооочень завышенной самооценкой?**

Нет однозначного ответа:

Попробуй пИсать против ветра...

– **В какой стране красивее всего?**

Я в детстве жил в стране красивой самой.

Со мной ещё там жили папа с мамой.

– **Чем удалить клей с одежды?**

Не простая с клеем битва ...

В помощь - ножницы и бритва.

– **Загадка. Помогите ответ придумать! Очень нужен оригинальный ответ! По небу летели два крокодила, один оранжевый, а другой в Африку, так сколько же лет моему ёжику?**

– Постоянно пьяный ёжик

Больше двух прожить не может!

– **Простит ли парень измену?**

– Не будьте Вы в такой тревоге:

Простит, но поломает ноги...

– **Почему европеоидная раса самая малочисленная на планете Земля?**

– Да, очень дохленькая раса...
Предохраняются, зараза.

– **Однажды я написала стихи, вот и нашла их спустя 2 года.**

– Подобное точно отыщешь едва ли...
Уж лучше бы, правда, Вы б их потеряли.

– **Кто хочет со мной познакомиться?**

– Кто хочет? Да здесь все хотят –
Мне некому дарить котят.

– **Каво вы можете?**

– Вопрос построен очень уж лукаво.
Ну, я отвечу, что могу какАво.

– **Что делать, если парень в розыске?**

– Объясните в мягком виде:
Раньше сядет - раньше выйдет.

– **Если творчество посвятил одному человеку, а потом понимаешь, что на самом деле другому, что делать?**

– Только не впадать в отчаянье:
Измените завещание.

– **Что погубило Обломова?**

– Причину я скрывать не стану –
Конечно же, любовь! К дивану.

– **Изобрели машину времени. Ваши действия?**

– А я, чтоб успокоить эти страсти,
Угнал и разобрал бы на запчасти.



НАТАЛЬЯ РЕЗНИК

Родилась и училась в Ленинграде. С 94-го - в США, в штате Колорадо. Публикации стихов и прозы в журналах "Новая юность", "Интерпоэзия", "Студия", "Дружба народов", "Вестник Европы" и др.

Лень продолжать. Пусть будет одностишье...

Поехать согласилась только крыша...

Я всех умней, но это незаметно.

Хотелось бы кому-нибудь хотеться...

Гиппопотам - как много в этом звуке!

Национальность у меня не очень...

Не вас ли стриг безрукий парикмахер?

Хотелось бы чуть-чуть всемирной славы...

Под шубой оказалась не селедка.

Давай я сверху. Хорошо, подушка?

Больной, проснитесь! Вас уже вскрывают.

"Ты действуй. Я посплю", - сказала совесть.

Пойди приляг. Желательно на рельсы.

Да, я не пью, но я не пью не это.

Всей правде обо мне прошу не верить.

Забудь меня. Сожги мои расписки.

Люблю тебя как брата. Но чужого.

В кровати было весело и шумно...

Контрольный выстрел мало что исправил...

Напрасно я опять геройски гибну...

Два дня не сплю, не ем уже три ночи...

Упал кирпич на голову. К чему бы?

Печальный взгляд... Вы не сексопатолог?

Ну что тебе сказать о логарифмах?..

Бежать за пивом помешали ноги.

Вас прямо не узнать! Несите паспорт.

Страхует жизнь лишь тот, кто не бессмертен!



МАША РУБИНА

Мария Рубина - поэтесса из Массачусетса, урожденная петербуржска, постоянный автор журналов "Чайка" и "Фонтан", создатель немногочисленных лирических и многочисленных юмористических стихотворений, миниатюр и афоризмов, в том числе беспардонно ушедших в народ.

Золушка и Конан Дойль

Из записок Доктора Тухеса.

Предпоследнее дело Шухера Потса.

Эти записи относятся к концу 18.. года. Шухер Потс (к тому времени 90-летний, но ещё крепкий старик) уже давно отошёл от дел, и жил со мной и недавно вернувшейся из реанимации миссис Пупман в небольшом покосившемся домике в окрестностях Лондона. В тот вечер мы с Потсом и миссис Пупман уже лежали в постели и оживлённо обсуждали поднявшиеся цены на овсянку в Шотландии. "Проклятый Обама", – открыл было рот Потс, но тут в дверь позвонили. Миссис Пупман, тяжело перевалившись через Потса, и придавив меня сначала обширной грудью, а потом задом, роняя костыли, хромая и покашливая, пошла открывать. Через минуту она распахнула дверь и доложила: "Миштер Потш, там какой-то молодой шеловек утверждает, что пришёл по ошен вашному телу".

– Миссис Пупман, – сказал Шухер Потс, деловито затягиваясь опиумом из водосточной трубы, – Вы потеряли вставную челюсть.

– Но как Вы догадались, Потс? – удивлённо воскликнул я.

– Это элементарно, Тухес, – ответил Потс. – Посмотрите на Вашу левую пятку.

И вправду – челюсть миссис Пупман накрепко вцепилась мне в пятку.

Так вот почему я хромаю вот уже восемьдесят дней - догадался я. В который раз я убедился необычайной проницательности моего старинного друга.

В спальню зашёл молодой человек со следами порока на измождённом лице. Правый карман его плаща слегка оттопыривался.

– Что Вы можете сказать об этом человеке, Тухес? – спросил Потс, не переставая пыхтеть трубой.

Я посмотрел на юношу и пожал плечами.

– Вам лет 20-45, – продолжил Потс, глядя на молодого человека. – На вид Вы мужчина. У Вас чёрные волосы, голубые глаза, две руки, две ноги и одна голова. На голове у вас два глаза, один нос, один рот и шляпа. Одеты Вы в кожаный плащ и кожаные башмаки, заляпанные грязью. А это значит, что дворник Шлимайлз опять не почистил дорожку к нашему дому. Пора его рассчитать.

Юноша от восторга выдохнул возглас восхищения не тем местом.

– На обед Вы ели седло барашка, – брезгливо поморщился Потс, и опять приложился к водосточной трубе.

– Вы именно такой, каким мне описывал Вас мой покойный батюшка, – опять восторженно выдохнул молодой человек.

– Я раскрою Вам страшную тайну, мой новый друг, – загадочно ответил Шухер Потс, – Ваш батюшка жив и работает у меня дворником.

Юноша схватился за сердце. Лицо его на секунду побледнело.

– Меня зовут Секондхэнд Блоу Джоб Джонсон и Джонсон Джуниор. Я происхожу из старинного рода Джонсонов и Джонсонов, разбогатевших на торговле кишками йоркширских коров для производства колбас. Я прошу прощения за неожиданный визит в столь поздний час, но только Вы можете мне помочь. Дело абсолютно не терпит отлагательства, а секрет его разгадки лежит в моём кармане.

– Не соблаговолите ли Вы показать мне, что находится в Вашем кармане,

– сказал Потс. – Так далеко мои детективные способности не распространяются.

Юноша, лихорадочно блестя румянцем на порочном лице, вытащил из кармана маленькую туфельку.

– Держу пари, что эта туфелька принадлежит маленькой женщине, – воскликнул я.

– Или очень маленькому мужчине, – заметил Потс, не выпуская изо рта водосточную трубу и медленно вылезая из постели. Ревматизм, который он подхватил, лёжа в засаде по пояс в холодной воде возле дворца Дожей, выслеживая венецианского мафиози Пиццо Втоматти, опять давал о себе знать.

– Судя по тому, что туфелька маленького размера, ножка её обладателя тоже чрезвычайно мала. Обладатель этой ножки скорее всего брюнет. Хотя он вполне может оказаться блондином или даже рыжим.

– Вы совершенно правы, – ответил Джонсон и Джонсон, – не сводя

восхищённого взгляда с Потса. – Хозяйка этой туфельки – девушка невероятной красоты, она лысая, и её зовут Мисс Пейджер Эштрэй. Я её никогда не видел, но именно так мне её описал мой батлер. Ровно в двенадцать часов прошлой ночи она убежала из моего дома без кружевных панталон и вот этой туфельки. Если до двенадцати часов сегодняшней ночи я не смогу найти её и жениться на ней, то исполнится страшное проклятие рода Айпэдов и я превращусь в тыкву, потом в йоркширскую корову, и меня пустят на колбасу.

Я прислушался к нашим настенным часам. Несколько лет назад Потсу подарили часы с кукушкой за удачно раскрытое дело об убийстве сумасшедшего часовщика. Особенность этих часов состояла в том, что кукушка куковала каждую минуту, напоминая нам о бренности и преходящести всего живого и периодически настраивая Потса на особый меланхолический лад. Кукушка прокуковала пятнадцать раз.

– До полуночи осталось всего пятнадцать минут, Потс! – закричал я, но с ужасом заметил, что мой старый друг задремал.

– В таких случаях мистеру Потсу обычно помогает горячий крепкий индийский чай, – сказала миссис Пупман и огрела моего друга чайником по голове. Потс немедленно открыл глаза и взялся за раскрытие этого удивительного и непонятного дела.

– Обратите внимание на эти следы, господа – сказал он, указывая на странные отпечатки, отчётливо видневшиеся на паркете.

– За мной, мои друзья – воскликнул Потс. – Эти следы должны пролить воду, то есть свет, на это чудовищное преступление, но поторопитесь. Не исключено, что бедная девушка уже превратилась в холодный труп. Мы бросились из спальни в гостиную.

Я заметил, что в камине лежит полуобгоревший чемодан.

– Что это, Потс? – с удивлением спросил я. – Не находите ли Вы, что там лежит несчастная мисс Эштрэй?

Потс неторопливо подошёл к камину и помешал кочергой угли.

– Не нахожу – ответил он. – Это Ваш чемодан, Тухес, с которым Вы вернулись пятнадцать лет назад из Афганистана после военной операции на мозг.

– Афганистан? А где это? – удивился я. Память уже давно начала меня подводить.

– Это графство в северо-восточной Англии, – спокойно ответил Потс. Тут часы издали страшное хрипение и кукушка прокуковала один раз. Мы бросились обратно в гостиную.

– Потс, до двенадцати часов осталось всего одна минута! – в ужасе

закричал я. – Мы немедленно должны раскрыть загадочное исчезновение мисс Эштрэй!

Сердце моё билось, опережая собственный стук.

– Не беспокойтесь, мой дорогой друг, – вдруг неожиданно хладнокровно сказал Потс, делая последнюю затяжку опиума. – Ровно через секунду я его раскрою.

– Но как, Потс? – вскричали мы.

– Элементарно, – усмехнулся Потс. Потом он подошёл к платяному шкафу и резко раскрыл дверцу. Оттуда вывалилось маленькое существо без панталон, но в одной огромной туфле.

– А вот и мисс Пейджер Эштрей собственной персоной, – улыбнулся Потс. – Сегодня утром она заходила ко мне на кофе и пару затяжек опиума, да так и заснула за столом. Пришлось положить её в шкаф. Кстати, обратите внимание на её ноги, – повернулся он к Джонсону и Джонсону. – Одна нога у девушки в три раза больше другой, что и объясняет потерю ею маленькой туфельки.

– Видите ли, Тухес, – продолжил Потс, – я старею и совершенно забыл об этом. Если бы мистер Джонсон и Джонсон не догадался заглянуть к нам, и мы не начали бы поиски, он бы уже висел в лавке мясника Тайсона в виде колбасы или был бы съеден на ужин каким-нибудь достопочтенным жителем лондонского предместья. – А теперь, мой друг, не побоксировать ли нам перед сном, как подобает порядочным джентльменам?



МИХАИЛ ЮДОВСКИЙ

Родился 13 марта 1966 года в Киеве. Учился в художественно-промышленном техникуме и институте иностранных языков. Два года отслужил в армии, на Дальнем Востоке. С 1989 года – свободный художник. Первую книгу («Приключения Торпа и Турпа») написал в соавторстве с Михаилом Валигурой. Книга была издана в 1992 году в издательстве «Эссе».

В том же 1992 году переехал в Германию (город Франкенталь). Долгое время писал для себя, не участвуя в литературной жизни, не пытаясь публиковаться и выставляя свои живописные работы – в странах СНГ, Европы и Америки.

В 2009 году в Украине вышла книга М. Юдовского «Поэмы и стихи». Поэзию и прозу автора опубликовали литературные журналы и альманахи в Украине, России, Германии, Великобритании, Финляндии, Израиле, Австралии и США. В 2013 году издательство АСТ (Москва) выпустило книгу прозы М. Юдовского «Воздушный шарик со свинцовым грузом», в апреле того же года американское издательство «POEZIA.US» опубликовало поэтический сборник автора «Тела и тени», а в 2014 году в издательстве «Петит» (Латвия) вышла книга стихов «Полусредние века».

Юдовский является лауреатом нескольких литературных премий, его живописные работы находятся в музеях, а также частных коллекциях пятнадцати стран мира. Пишет как на русском, так и на украинском языке. В 2015 году закончил работу над переводом на русский и украинский языки всех сонетов Шекспира.

БОГИНЯ И ЮРОДИВЫЙ

(окончание, начало в номере «Витражи» 2016)

На следующий день Илья Наумович всё в том же сером пиджаке с отдельно доживающей пуговицей, но с огромным букетом пунцовых роз в руках объявился во дворе семейства Горемыко, каждый из членов которого встретил его по-своему: Дунечка попунцовела не хуже букета, невнятный отец Петро Васильевич пробормотал что-то вроде «дуже радый, дуже радый», а необъятная и скандальная Алена Тарасовна с присущей ей откровенностью нрава гаркнула: – Дуню, це шо за прыщ?

– Драгоценная Алена Тарасовна, – спокойно ответил за Дуню Илья Наумович, – я так понимаю, что вы хотели сказать «прынц», а «прыщ» у вас вырвалось от волнения. Совладайте с собою, пригласите меня за стол и угостите вашим знаменитым борщом, о котором говорит весь город.

– Ця божевильна падлюка знае, як подступиться до людей, – буркнула Алена Тарасовна. – Ну, милости прошу у хату. Я б вам, конечно, цей борщ з прывэлыкым удовольствием вылыла б на голову, так жалко ж борща. Дуню, сунь его венік у вазу и скажи своему нэдоразумению, шоб воно сидало за стол. Илью Наумовича, судя по всему, ждали, поскольку стол уже был накрыт, на белой льняной скатерти стояли тарелки и рюмки, в мисках атели помидоры, нежно зеленели огурчики, меж кольцами домашней колбасы бледно розовело сало, а в хрустальном графине таинственно и зовуще поблескивала водка. Петро Васильевич, Илья Нумович и Дуня сели за стол, а Алена Тарасовна отправилась на кухню и вернулась оттуда с огромной кастрюлей, в пузатом чреве которой багрово и тяжело дышал борщ. Петро Васильевич робко глянул на жену и, получив от нее снисходительный кивок, предвкушающе потянулся к графину и разлил водку по рюмкам.

– Ну шо, будэм здорови, – провозгласил он и выпил, чуть ли не крикнув от запретного удовольствия.

– Будэм, будэм, – кивнула Алена Тарасовна. – Вы сальцем зайидайтэ, домашне, свеже... Чы, можэ, вам сала нельзя?

– Почему ж нельзя? – весело осведомился Илья Наумович, кладя тонко нарезанный ломтик сала на кусок ржаного хлеба.

– Ну, жидочки... еврэи, то есть, воны ж сала не йидять?

– И давно вы в последний раз видели еврея, который не ест сала?

– Та я йих вообще никогда не видела.

– Ну, так у вас устаревшие сведенья. С тех пор, как Карл Маркс и житомирский райотдел народного образования отменили налог на добавленную стоимость, сало признано кошерным продуктом, если его употреблять с водкой. Наливайте еще, папа.

Петро Васильевич, с искренней симпатией глядя на гостя, налил по второй.

– Дорогая мама и уважаемый папа, – торжественно проговорил Илья Наумович, поднимая рюмку с переливающейся водкой, – предлагаю выпить за то, что я имею неслыханную наглость оказать вам немислимую честь просить руки вашей дочери.

Алена Тарасовна, уже поднесшая рюмку к губам, едва не поперхнулась. Петро Васильевич принялся робко хлопать ее по спине.

– Убэры руки, шо ты мэни там настукиваешь своей курячей лапкой, – рявкнула на него Алена Тарасовна. Затем она грозно повернулась к Илье Наумовичу.

– Слухай, ты, нахалюга, – сказала она. – Ты зовсим совесть потерял чы с глузду зъэхал? Ты подывысь на мою богыню и на сэбэ в зэркало. Ты ж юродивый. Твоя ж бидна мама, якбы знала, шо з нэйи вылизэ, так всэ ж соби позашивала б.

– Так уж устроено на свете, – притворно вздохнул Илья Наумович, – что из одних вылупляются красавцы, а от других шарахается их собственная тень. Но моя мама, а также мой папа, были такие смешные люди, что нивроку гордились мною.

– Хотела б я подывытысь на тех родителей, шо гордилися б таким шибэныком.

– Увы, – ответил Илья Наумович. – Поглядеть на них вам не удастся. Мои родители, земля им пухом, уже несколько лет как умерли.

Петро Васильевич сочувственно покачал головой и по новой потянулся к графинчику, но супруга хлопнула его по руке своею мощной дланью.

– На их месте я б тэж долго нэ зажила бы, – бессердечно заметила она Илье Наумовичу.

– Мама, зачем вам их место, – пожал плечами Илья Наумович. – У вас теперь будет хороший шанс умереть на своем. Папа, не тушуйтесь, налейте нам еще водки.

– От токо попробуй налыты цьому выродку водки, – грозно предупредила мужа Алена Тарасовна. – Дуню, а ты чога молчышь? Твой отец – шо с него взяты? Вин вже давно нэ рэагирует, як всяки проходимцы обращаются с его женой. Пры ньому можно вылыты на его жену вэдро помоев, а вин будэ стояты и лыбытысь, як той сапог, шо просыть каши.

– Леночка, – вмешался в беседу Петро Васильевич, которому, видно, выпитая водка придала смелости, – шо ты на всех кидаешься, як больна на голову курыца? Такой хороший человек прыйшов... Водку пье, сало йить, доню нашу любить...

– А тоби шоб выпить було с кем, так уже и хороший человек... Ты бы хоч спытав, яка у цього хорошого человека фамилия.

– Альтшулер, – с удовольствием представился Илья Наумович. – Илья Наумович Альтшулер.

– Чув? – Алена Тарасовна повернула к мужу сделавшееся бурякового цвета лицо. – Хочэш, шоб твоя доня була Евдокия Пэтровна Альтшулер?

– Мама, – заверил ее Илья Наумович, – поверьте мне, нет ничего плохого в том, чтобы стать из Горемыки Альтшулером.

– Ты мэни щэ помамкай тут, – окрысилась на него Алена Тарасовна. – Я тоби таку мамку дам... Дунэчко, богыня моя, – она чуть ли не слэзно обратилась за последней поддержкой к дочери, – скажи хоч ты шо-нэбудь.

Дуня вышла из комнаты.

– От! – обрадованно заявила Алена Тарасовна. – Зрозумив, байстриук? Нэ хочэ вона с тобою розмовляты...

В комнату снова вошла Дуня. В руках она держала иголку и нитку.

– Давайте я вам пуговицу прышью, – сказала она, подходя к Илье Наумовичу. – А то вона у вас болтається.

Она оторвала от пиджака Ильи Наумовича болтавшуюся на нитке пуговицу и, чуть прижавшись к гостю, принялась неторопливо пришивать ее обратно.

– Рятуйтэ, – только и проговорила Алена Тарасовна. – Ой, люды рятуйтэ, мэни плохо... Дайтэ мэни вальерьянки чы я зараз всех повбываю...

– Мама, зачем вам валерьянка, когда есть водка, – улыбнулся Илья Наумович. – Папа, налейте ей. Мама, выпейте и успокойтесь.

Алена Тарасовна не то, чтобы успокоилась, но залпом опрокинула свою рюмку.

– Выпейте еще, не мелочитесь, – улынулся Илья Наумович. – Давайте пить и радоваться. Я же вижу, какая у вас огромная душа.

– С чего ты взяв, опудало, шо у меня огромная душа?

– Ну, не может же такое роскошное тело совсем пустовать. Чем-то ж вы его заполняете помимо борща. Ваше ж сердце должно прыгать от восторга при виде нас с Дунечкой. – Он нежно прильнул к своей избраннице, которая привычно зарделась, но даже не подумала от него отстраниться. – Вы мне лучше скажите, где вы еще видели такое счастье?

– В гробу, – ответила Алена Тарасовна. – В гробу я бачыла такое щастя.

– Мама, не спешите в свой гроб, пожалейте землекопов. В этом маленьком городке на вас не хватит скорбной земли. Лучше послушайте свое сердце. Что оно вам говорит?

– Воно мэни гворыць взяты дрын и отдубасить тебя поперек твоейи наглойи спыны! Дунэчко, богыня моя, – Алена Тарасовна с последней надеждой глянула на дочь, – он жэ старый, нэкрасывый еврэй. Якбы шэ еврэй як еврэй був, а то ж юродивый! Дарма шо Альтшулер, а живэ в грымерной пры клубе.

– И я там жыты буду, – тихо сказала Дуня.

Алена Тарасовна охнула и схватилась за сердце.

– А знаете, мама, вы таки правы, – проговорил Илья Наумович, с изумлением разглядывая Дуню. – Ваша дочь действительно богиня.

Свадьбу сыграли через полтора месяца всё в том же обеденном зале санатория. На Илье Наумовиче был новый черный костюм, где все пуговицы были соблюдены в строгости, Дуня в белом свадебном платье и фате казалась если не богинею, то очень весомым воплощением небесного на земле, отец Петро Васильевич был торжественен и решителен до непривычности, зато Алена Тарасовна выглядела бледной тенью самой себя. За короткий этот срок она почти совершенно лишилась власти над дочерью, и даже муж ее, безвольный и безропотный, вдруг точно ожил и встрепенулся, стал временами позволять себе несогласие и уж Бог весь откуда завел моду стучать на нее по столу своей курячьей лапкой. Оживленнее всех выглядел Павлуша, которого Илья Наумович взял в свидетели. Страшно гордый доверенной ему ролью, Павлуша важничал, раздувал щеки и смертельно надоедал гостям, на все лады расхваливая жениха.

– Бэспрэдельно культурна людына, – говорил он. – Даже як по морди тоби хлопнэ, так нэ абы як, з усиейи дури, а интеллегантно, з пониманием.

Илья Наумович меж тем отыскал в толпе гостей солидную фигуру главы городского руководства, извинившись перед остальными, отвел того в сторонку и не без лукавства заметил:

– Вот ведь, Иван Данилович, как оно бывает – приезжаешь нести культурное, а взамен находишь божественное.

– Це вы про шо, Илья Наумович? – удивился глава.

– Да про жену мою, про Дунечку.

– А, це так, – согласился глава.

– Значит, одобряете?
– Кого?
– Да женитьбу нашу.
– Дуже своєвремне решение, – кивнул Иван Данилович.
– А раз так, то надо бы поддержать божественное и культурное материальным.
– Илья Наумович, – взмолилось первое лицо, – вы щось такэ кажэтэ, шо у мэнэ голова скрыпыть от ваших слов. Вы чога хочэтэ?
– Да пустяка. Маленького ключика от дверцы в счастливую жизнь. Согласитесь, не может же молодая советская семья ютиться в гримерке при Доме Культуры.
– Ага! – Иван Данилович прищурился. – А от у мэнэ до вас встрэчный вопрос: комиссия когда прыйидэ?
– Какая комиссия? – удивился Илья Наумович.
– С Киева. От министерства культуры.
– А на шо она вам?
– Та мэни она нэ на шо. Це ж вы мэнэ всё врэмья ею лякалы, колы деньги на клуб выколачувалы.
– А при чем тут квартира?
– З одного боку як бы и нэ пры чем. А з другого так пры чем, шо я и нэ знаю...
– Иван Данилович, – Илья Наумович прижал руки к груди, – даю вам слово, что когда у нас с Дунечкой родитя сын, мы назовем его Иваном, в вашу честь.
– А хоч Мао Цзэдуном назовите, – ответил глава. – Нэмае квартал.
– А в хрущевке?
– Нэмае. А на шо вам кварталыра? У тещи с тестем живить. Он у них цила хата.
– А вы бы, Иван Данилович, захотели с такой тещей жить?
– А на шо мэни хотеть з нэю жить? У мэнэ своя теща е – дай йий Бог здоровья у Чернигивський области.
– А вы представьте, что вас перевели в Черниговскую область и к теще подселили.
– Знаетэ шо, – обиделся Иван Данилович, – якшо у вас така больна фантазия, так вы соби нафантазируйте кварталыру и живить в ней. А мэни писля отаких вышних слов водкы трэба выпыты.
Иван Данилович в тот вечер и в самом деле крепко приударил за водкой, но многолетний партийный и руководящий стаж до того закалили его организм, что Илья Наумович, подкативший к нему по новой насчет квартиры, напоролся на категорический отказ, сделанный на сей раз в форме фамильярной до грубости, и напоследок к полному своему изумлению услышал, что с ним, Иваном Даниловичем, «оци кацапськи штучкы нэ пройдуть».
– Это вы мне? – на всякий случай переспросил Илья Наумович.
– А будь кому, – щедро ответил глава, закусывая маринованным грибочком. – У нас, слава Богу, уси нации равни.
Илья Наумович, погрузневший и совершенно ошеломленный, покинул Ивана Даниловича и вышел на длинный, идущий вдоль всего этажа балкон. На

балконе, опершись о колонну, стоял его свидетель Павлуша и с философским спокойствием лузгал семечки.

– Павлуша, – сказал Илья Наумович, – у тебя закурить есть?

– А вы хоба курытэ? – удивился Павлуша.

– Якбы курыв, свои булы б. Так есть у тебя сигареты?

– Нэма, Илья Наумовыч. Я оцю пакость николаы до рота нэ совав. Семочек хочэтэ?

– Нет, Павлуша, семочек не хочу.

– А чого цэ вы такой сумный, начэ у вас хата сгорела?

– А хоть бы и сгорела, Павлуша. Только вот гореть нечему. Не дают нам с Дуней хаты. Живите, говорят, в своем клубе. Или к теще переезжайте.

– Нэ дай Боже, – перекрестился полной жменей семечек Павлуша.

– Вот ты меня понимаешь. Это теперь она притихла, а как мы к ней переедем, и меня съест, и Дуню съест, и мужем Петром Васильевичем закусит.

– Вона така, – подтвердил Павлуша. – Аппэтыт добрый мае.

– А в гримерке клубной с молодой женой – как? – продолжал размышлять вслух Илья Наумович. – Невеста – одно дело, а жена... А дети пойдут...

– Дети – це хорошо, – сказал Павлуша.

– Кто ж спорит... Будут по клубу бегать и в гримерке на горшок ходить... Ладно, Павлуша, пойдём к гостям.

– Вы идите, – ответил Павлуша, – а я щэ трохы полузгаю.

Илья Наумович вернулся в зал. Гости продолжали угощаться и отплясывать, Дуня сидела печальная, а рядом с нею примостилась Алена Тарасовна и что-то яростно, делая страшные глаза, втолковывала дочери. Илья Наумович бросил на тещу такой свирепый взгляд, что та мгновенно осеклась, недовыплюнув отравленное слово, и на всякий случай ретировалась подальше.

– Скучаешь, богиня моя? – нежно спросил Илья Наумович у Дуни. – Бросил тебя пакостный муж, удрал куда-то и адреса не оставил?

– Та ну вас, Илья Наумовыч, – полуиспуганно–полужеманно ответила Дуня. – Скажэтэ такэ... Абы налякаты...

– Дунечка, – улыбнулся Илья Наумович, – ты так и будешь всю жизнь называть меня на «вы» и по имени-отчеству? Представь, родятся у нас детки, и ты при них станешь мне кричать: «Илья Наумович, идите кушать яичницу!» Они ж подумают, что я им посторонний.

– Та я щэ нэ звыкла, – покраснела Дуня.

– Ты меня, главное, сегодня ночью Ильей Наумовичем не назови. А то я так на брачном ложе подпрыгну, что весь наш Дом Культуры развалится.

При упоминании о брачном ложе Дуняша сделала вовсе свекольной.

– А мама-то твоя неправа, – продолжал Илья Наумович. – Зря она меня юродивым называла. Юродивые чудеса творили, кровопролитья останавливали. А твой муж обычной квартиры вымолить для нас не сумел. Баран он вислоухий, а не юродивый.

– Може, нэ про то молился? – сказала Дуня.

– А про что надо было?

– Ну, я нэ знаю... Та ничего, Ильшенька, як-нэбудь проживэмо.

Илья Наумович на мгновение застыл, глядя на Дуню.

– Беру свои слова назад, – проговорил он. – Твоя мать была права. Нет, не про меня – про тебя. Ты не просто богиня, ты всем богиням богиня. А пойдём-ка потанцуем. Свадьба у нас или как...

– Та шо з мэнэ за танцорыстка... Люды ж смиятыся будуть.

– И пусть смеются. Пусть смотрят на нас и смеются. На свадьбе должно быть весело.

Он взял Дуню за руку и повел ее в центр зала, где подвыпившее гости уже отплясывали какую-то фантастическую смесь гопака и черт знает чего под импровизации местного баяниста.

– Расступитесь-ка! – скомандовал Илья Наумович. – Молодые вальс танцевать будут. К слабонервным просьба удалиться. Маэстро, сделайте нам музыку. Баянист, глянув на молодых, выпил рюмку водки, перекрестился и заиграл «Амурские волны». Еще ни на одной свадьбе не было такого удивительного вальса. Маленький жених, обхватив невероятную в благородном дородстве невесту, кружил ее по залу, как отважный муравей, несущий на себе нечто непомерное и невообразимое. Ноша выглядела неподатливой, казалось, что она вот-вот раздавит муравья. Полы белого свадебного платья развевались, смахивая в кружении тарелки и рюмки со столов, опрокидывая стулья и тех из гостей, кто и так уже не слишком твердо держался на ногах. А потом случилось чудо: муравей и ноша слились вдруг в одно целое и превратились в маленькую барку под огромным белым парусом, которая смело рассекала поднявшиеся волны, то ныряя в них, то взлетая на самый гребень.

– Илюшенька, посады мэнэ куды-нэбудь, – прошептала Дуня, – бо мы тут зараз усэ розтрощым...

Илья Наумович бережно подвел Дуню к стоявшему у балконного окна стулу, усадил на него, галантно поцеловал ей руку, а затем нежно в губы. В балконное стекло постучали. Илья Наумович поднял голову и увидел в окне перепачканную физиономию Павлуши.

– Тебе чего? – одними губами произнес Илья Наумович.

Павлуша энергично зажестикულიровал, приглашая Илью Наумовича выйти к нему на балкон. Илья Наумович покачал головою. Павлуша повторил приглашение. Илья Наумович покрутил пальцем у виска.

– Дунечка, прости меня, – сказал он. – Я на секунду. Меня тут один сумасшедший в гости зовет.

– Кто? – испугалась Дуня. – Куды?

– Да Павлуша. На балкон. Нейметса ему чего-то. Я ненадолго.

Он еще раз поцеловал Дуню и вышел на балкон к Павлуше.

– Ну, чего тебе? – сердито спросил он.

– Я это... За сыгарэткы для вас збигав.

– Какими еще сигаретками?

– Так вы ж это... курыты хотилы.
– Да какие ж теперь сигареты? Закрыто всё.
– Ага... всё позакрывалы, куркули. Нэма сыгарэт, Илья Наумовыч. Може, семочек будете?
– Павлуша, дай тебе Бог здоровья, – покачал головой Илья Наумович. – Ладно, съшь свои семечки. Ты где так перемазлся?
– Так упав... колы за сыгарэтамы вам бигав, – ответил Павлуша, отсыпая Илье Наумовичу пригоршню семечек. – Така грязюка, така грязюка...
Они встали у балконных перил, лузгая семечки и сплевывая вниз шелуху. Небо над городком почернело и порябело от высыпавших на нем звезд. Тихо журчала извилистая речка, сонно шелестели деревья, а над их верхушками плыло красивое зарево.
– Это что там за огонь? – словно очнувшись, удивился Илья Наумович.
– Мабуть, горыть щось, – лениво ответил Павлуша.
– Так там же, вроде, наш Дом культуры стоит!
– Ну, знаычть, вин и горыть.
– Павлуша! – Илья Наумович строго глянул на молодого увальня. – Ну-ка, посмотри мне в глаза. Ты куда бегал?
– Так за сыгарэтамы ж вам.
– Какие еще к черту сигареты! Это ты клуб поджет?
– Скажетэ тоже... Чого це я клубы должен жечь? Шо я, зовсим дурный? Зато тэпэр вам квартиру дадут. Нэ можна ж так, шоб вы на вулицы жылы.
– Ты хоть понимаешь, что тебя посадят?
– Не, нэ посадять, – лицо Павлуши расплылось в улыбке. – У мэнэ це... алиби есть.
– Что еще за алиби?
– Так я ж у вас тут свидетель на свадьбе. Я ж нэ могу одною рукою буты свидетелем, а другою клуб жечь. Ой! – Павлуша внезапно сделал большие глаза и хлопнул себя огромной ладонью по губам. – А у вас там ничего ценного нэ було?
– Да ничего особенного, – усмехнулся Илья Наумович. – Зубная щетка, немного денег и моя сегодняшняя брачная ночь.
Павлуша убито покачал головой.
– Щетку я вам куплю, – сказал он.
– Обязательно, – кивнул Илья Наумович. – Павлуша, Павлуша... Даже не знаю, что мне делать – плакать, смеяться, назвать тебя идиотом, расцеловать тебя...
Пойдем, Павлуша, позвоним в пожарную часть.
– Думаэтэ, вже можна?
– Думаю, уже можно. – Он с нежностью глянул на Павлушу. – Счастлива земля, имеющая таких людей. Конечно, по-своему, но счастлива.

Историю с клубным пожаром удалось замять. Никому особо не хотелось расследовать это темное дело, и пожар приписали самовозгоранию от молнии и

летней засухи, хотя на дворе стоял октябрь и никаких гроз не наблюдалось. Глава руководства, в очередной раз изыскав внутренние резервы, выделил Илье Наумовичу и Дуне однокомнатную квартиру в хрущевской пятиэтажке. Через девять месяцев у них родился мальчик, которого, вопреки слову, данному когда-то Ивану Даниловичу, супруги Альтшулеры назвали вовсе не Ваней, а Павлушей. А когда глава обиженно попенял на это Илье Наумовичу, тот ответил, что, когда у них с Дуней родится дочка и потребуются дополнительная жилплощадь, они обязательно назовут девочку не иначе как в его, Ивана Даниловича, честь.

ВЕРНИСАЖ
ЖАСИНРЕВ



Решением Жюри международного ежегодника альманаха «Витражи» победителем международного конкурса на проект медали к ежегодной Литературной Премии им. Константина Бальмонта признана ЕКАТЕРИНА ЮКИНА.



Авторский проект Екатерины Юкиной:

ЕКАТЕРИНА ЮКИНА



Родилась и живет в Волгограде, с детства увлекалась живописью. Закончила Государственный Технический Университет, но ушла работать дизайнером в литературное издательство. Ее живописные работы сейчас в частных коллекциях Германии, США, Израиля.

*В 2009 г открыла своё дизайн-бюро "Красивые решения" (www.krdesign.ru)
Занимается дизайном полиграфии, айдентикой.*

Об авторах:

Виктор Дмитриевич Пивоваров

(К 80-летию художника)



Российский художник, представитель «неофициального» искусства, один из основоположников московского концептуализма. Родился 14 января 1937 года в Москве. Автор картин, альбомов, графических серий. Получил образование художника-графика в Московском Полиграфическом институте. С

1970 года занимается живописью и жанром концептуального альбома. С 1982 года живет в Праге.

Из прессы: «Пивоваров занимался поиском новых форм жизни для традиционной картины. Принимая образы казенных советских таблиц, графиков, детской иллюстрации, плаката или методического пособия, его картины на самом деле являются сакральными схемами, сложными символическими ребусами, которые зритель может разгадать в том числе и при помощи путеводителя, написанного самим художником». (стр. 367-369. Картины из личной коллекции Вадима Молодого).

Толстых Михаил Борисович



Родился в городе Херсоне. После окончания средней школы работал художником-оформителем и учился в изостудии города Херсона. В 1980 году окончил художественно-графический факультет Одесского пединститута. С 1981 году живёт в Херсоне, преподаёт, принимает участие в художественных

выставках как в своем городе, так и в других городах Украины. С начала 90-х годов Михаил Толстых начал писать картины сложного философско-религиозного содержания и привлек к себе большое внимание критики. Картины: «Храм», «Мостик», «Бычий глаз»(стр. 370-372)

Файна Зильп

Натюрморты (стр 373-374).



367















ОГЛАВЛЕНИЕ:

ПОЭЗИЯ

АНАТОЛИЙ АВРУТИН.....	4
ГРИГОРИЙ АМБУРГ.....	8
ЮРИЙ БЕЛИКОВ.....	10
ЛЕОНИД БОНДАРЬ.....	17
ИЛЬЯ БУДНИЦКИЙ.....	22
ЮРИЙ ВАЙСМАН.....	26
МАРИНА ВИКТОРОВА.....	28
ДМИТРИЙ ВОЛЖСКИЙ.....	33
ДЕНИС ГОЛУБИЦКИЙ.....	37
АЛЕКСАНДР ГРОЗУБИНСКИЙ.....	44
ОЛЬГА ГУЛЯЕВА.....	46
ИНГА ДАУГАВИЕТЕ.....	52
ЕКАТЕРИНА ЕГОРЕНКОВА.....	54
МАРГАРИТА ЗЕЛЕНСКАЯ.....	60
ФАИНА ЗИЛЬП.....	65
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ.....	70
ИРИНА ИВАНЧЕНКО.....	74
ЕВГЕНИЙ КАМЕНСКИЙ.....	80
ЕЛЕНА КРИКЛИВЕЦ.....	87
НАТАЛЬЯ КРОФТС.....	93
НОРА КРУК.....	98
ИРИНА КУЗНЕЦОВА.....	104
СЕРГЕЙ КУЗНЕЧИХИН.....	109
ЛЮСЯ КУЛИКОВСКАЯ.....	115
ХЕНРИХ ЛАМВОЛЬ.....	121
ЛЮДМИЛА МАТВЕЕВА.....	126
БОРИС МАРКОВСКИЙ.....	128
БЕРТА МИХАЙЛИЧ.....	134
ВАДИМ МОЛОДЫЙ.....	138
МИХАИЛ ПОЗДНЯКОВ.....	141
ВАЛЕРИЙ СИКОРСКИЙ.....	148
СЕРГЕЙ СЛЕПУХИН.....	153
АНАСТАСИЯ СОЙФЕР.....	159
АЛЕКС ТРУДЛЕР.....	164
ЗАЛМАН ШМЕЙЛИН.....	170
МИХАИЛ ЭТЕЛЬЗОН.....	176
МИХАИЛ ЯРОВОЙ.....	184

ПЕРЕВОДЫ (редактор Наталья Крофтс)

ГАЛИНА ЛАЗАРЕВА.....	188
ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ.....	193
ОЛЬГА КОЛЬЦОВА.....	202
ЯРОСЛАВ СТАРЦЕВ	209

ПРОЗА

ЕФИМ ГАММЕР.....	218
АЛЕКСАНДР ГРОЗУБИНСКИЙ.....	225
ЕКАТЕРИНА ДАНОВА.....	229
СЕРГЕЙ ЕРОФЕЕВСКИЙ.....	232
ВИКТОРИЯ ЕЛАНСКАЯ.....	237
АЛЕКСАНДР КУЗЬМЕНКОВ.....	240
ЛЮСЯ КУЛИКОВСКАЯ.....	260
МАКС НЕВОЛИШИН.....	263
ИРИНА (ЛЯЛЯ) НИСИНА.....	267
ЛЕОНИД ПОДОЛЬСКИЙ.....	273
ФЕДОР ОШЕВНЕВ.....	280
АЛИСА ХАНЦИС.....	285
ВАЛЕНТИНА ЧЕЛОВСКАЯ.....	290

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК (Потерянные страницы)

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ.....	297
(Предисловие: ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ)	

ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ, НАТАЛЬЯ КРОФТС.....	305
АЛЕКСАНДР КУЗЬМЕНКОВ.....	310
Диалог: ЮРИЙ БЕЛИКОВ – СЕРГЕЙ КУЗНЕЧИХИН.....	316
ГАЛИНА ЛАЗАРЕВА.....	334
СЕРГЕЙ ЛАЗО.....	339

«БОЛЬНО ТОЛЬКО, КОГДА СМЕЮСЬ...»

ЛЕВ ВАЙСФЕЛЬД.....	345
НАТАЛЬЯ РЕЗНИК.....	349
МАША РУБИНА.....	351
МИХАИЛ ЮДОВСКИЙ.....	355

ВЕРНИСАЖ	364
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НА ПРОЕКТ МЕДАЛИ.....	365
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ.....	366

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ЗАЛМАН ШМЕЙЛИН
АЛЕКСАНДР ГРОЗУБИНСКИЙ
ЮРИЙ ВАЙСМАН
ЛЕВ ВАЙСФЕЛЬД
ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ
ИНГА ДАУГАВИЕТЕ
НАТАЛЬЯ КРОФТС
ВАДИМ МОЛОДЫЙ
ИРМА УЛИЦКАЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

